

ВИЛЛИ БРЕДЕЛЬ

# ИСПЫТАНИЕ

Перевод с немецкого  
*А. Рудковской*

14908.  
306241.

ОГИЗ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
КРАСНОУФИМСК—1942

WILLI BREDEL  
DIE PRÜFUNG

## ПРЕДИСЛОВИЕ

1 марта 1933 года я был арестован. Накануне я выступал на социал-демократическом предвыборном собрании за единый антифашистский фронт.

До конца августа нас обслуживал прежний персонал Фульсбюттельской каторжной тюрьмы. Затем тюрьма была превращена в концентрационный лагерь. Караульную службу приняли: Отряд особого назначения и Гамбургский охранный отряд моряков<sup>1</sup>.

Я пробыл в заключении почти тринадцать месяцев, из них одиннадцать — в одиночке. То, что я описываю, я сам пережил и видел, кое-что я узнал от самих охранников, кое-что — от хорошо известных мне товарищей по заключению. В этом романе нет вымышленных лиц. Имена охранников — подлинные, так же как и имена коменданта лагеря и заместника

---

<sup>1</sup> *Охранные, или защитные, отряды* (SchutzStaffeln, сокращенно SS) — полувойсковая фашистская организация, специальной задачей которой являлась персональная охрана фашистских лидеров. После прихода фашистов к власти охранные отряды дали основные кадры средних и высших чинов новой полиции. В настоящее время охранные отряды играют роль жандармерии.

центрального правительства. Имена заключенных я изменил.

Даже в одиночном заключении мне передавали записки, в которых сообщалось о судьбе других заключенных. В соседней одиночке сидел товарищ, с которым мы во время войны и революционных событий были вместе в Гамбургском союзе рабочей молодежи. Однажды, когда я, после неоднократных избиений, был вновь избит, он простучал мне, что я должен выдержать во что бы то ни стало, чтобы потом описать, как фашисты обращаются с беззащитными рабочими. Вскоре этот товарищ повесился, чтобы избавиться от бесконечных истязаний.

*Вилли Бредель*

*Героям  
гамбургского пролетариата, каз-  
ненным в Гамбурге.*

*Товарищам,  
томящимся в Фульсбюттельском  
концентрационном лагере и тюрь-  
мах Гамбурга.*

*Товарищам,  
которые, незирая на смертель-  
ную опасность и террор, продол-  
жают бороться за победу рабочего  
класса.*

## АРЕСТ

Скорый поезд Франкфурт-на-Майне — Гамбург — Альтона подходит к Гамбургу. Начинается новая полоса деятельности человека, который стоит сейчас в проходе вагона и смотрит в окно. Он едет из Берлина, но выбрал не прямой путь, а в объезд — на Ганновер.

Гамбург! Будет ли и здесь его работа сопровождаться обычным успехом? Перед ним трудная задача. Нужны выдержка и осторожность. В последнее время в Хемнице земля пылала под его ногами. Эти четыре месяца работа в Саксонии шла в атмосфере непрерывной травли, под постоянной угрозой предательства. Но не дрогнули ряды революционных рабочих, их не сломили ни истязания, ни аресты, ни казни; организация живет; работа продолжается... Правда, пришлось выдержать не один удар. Шпики проваливали связь, выдавали лучших работников. Иногда их сразу разоблачали, но бывало, что под маской друзей и соратников они втирались в доверие и на протяжении недель, месяцев подтачивали организацию. Многие товарищи под гнетом жестокого террора теряли мужество и отказывались работать в подпольи. Распадались ячейки, срывалась политическая работа. Какого

труда стоило снова пустить в ход конспиративный аппарат! Скольких жертв!.. Но дело налажено.

Так быто в Хемнице.

А теперь — Гамбург.

Поезд грохочет по железному мосту через Южную Эльбу.

Человек никогда не был в Гамбурге. И вот теперь он подъезжает к этому городу с радостным любопытством и с чувством какой-то смутной тоски и тревоги. Напрасно он убеждает себя, что в Гамбурге — крупном порту с миллионным населением — легче вести подпольную работу, чем в таком среднем промышленном городе, как Хемниц, — в это жаркое августовское утро он никак не может побороть легкой внутренней дрожи...

Мимо мелькают пастбища, небольшие поля, приземистые, как обычно в Нижней Саксонии, крестьянские домики с высокими обомшелыми соломенными крышами. А рядом неуклюжие корпуса новых многоэтажных строений.

Визг тормозов. Короткий пронзительный свисток. Поезд дает толчки и, замедляя ход, проходит через Вильгельмсбург. Пассажиры зашевелились. Одни хватают свои чемоданы и перебрасывают на руку пальто, другие протискиваются к окнам — посмотреть на гавань.

Двумя далеко уходящими рядами лежат бок-о-бок могучие спящие чудовища — океанские пароходы, стальными тросами прикованные к черным сваям. Высоко поднялись над водою их пустые подводные части. Огромные краны, прислонившись к каменной набережной, неподвижно уставились в сверкающее небо. Уже давно начался рабочий день, но длинный ряд навесов

зияет пустотой. Людей почти не видно. Работают только на судах, пришвартованных у самой пристани.

— Разве в Гамбурге сегодня праздник? — простодушно спрашивает кто-то из пассажиров у окна.

— Да с тех пор, как кризис, в Гамбурге что ни день, то праздник, — отвечает пожилой человек.

Раздается смех.

— Однако положение уже существенно улучшилось, — серьезно вступает в разговор бледный господин в пенсне и гамашах. — Кто следит за газетами, тому это совершенно ясно. Вот, например, еще несколько месяцев назад тоннаж судов, стоящих в Гамбургской гавани, составлял семьсот тысяч тонн, а сейчас — всего четыреста.

— Так ведь то по газетам, а вы поглядите-ка на гавань!

— Да, милостивый государь, но я прошу вас не забывать, что о таких вещах можно судить лишь на основании статистических данных, а отнюдь не на глаз.

На целые километры тянутся правильные ряды складов и магазинов, лес кранов, сеть рельсов, по которым грузы подвозятся прямо к судам, верфи с высокими эллингами и мощными доками, — как все еще величественна эта заброшенная, безмолвная гавань!

Остались позади мост, рабочее предместье, сортировочная станция, газометр, спортивные площадки. В вагоне торопливые сборы, суета. Самые нетерпеливые уже пробрались к двери. Но вокзала еще не видно.

Виадук... и вдруг между кирпичных стен кры-



того рынка — груды влажной зелени. Жаром пылает на солнце красное, золотисто-желтое, синее: овощные и фруктовые лавки. А рядом дома-великаны. Один похож на огромный океанский пароход: выпуклые фронтоны с плоской, как палуба, надстройкой выступают далеко вперед наподобие корабельного носа. Другой, как огромный сверкающий кристалл, брошен среди неубранных обломков разрушенного старого города. Здесь должно было возникнуть новое гамбургское Сити, но кризис одним взмахом перечеркнул весь план.

Но вот и главный вокзал. Человек входит в купе. Ему незачем торопиться: он выйдет дальше, на остановке Даммгорбангоф.

Суэта и давка... зовут, машут... приветствия, поцелуи... Проталкиваются через толпу, обливаясь потом, нагруженные чемоданами носильщики. Выкрикивая, бегут вдоль поезда газетчики с тележками. В толпе пассажиров выделяются штурмовики и железнодорожные полицейские.

Огромные своды вокзала наполнены пыхтением и шипением паровоза. Поезд стоит шесть минут.

Странно! Не успел незнакомец очутиться в Гамбурге, как тревога вдруг исчезла, снова вернулись бодрость духа и вера в свои силы.

«К чорту! — подумал он. — Гамбург — великолепное поле деятельности. Недаром же гамбургские рабочие славятся своими крепкими революционными традициями».

*А ьстс р.*

Незнакомец беззвучно повторяет — он запомнил наизусть: «Без десяти три, пристань Альстер на Юнгфернштиге. Оттуда на пароходе «Сибилла» в Мюлленкамп».

В проходе стоят еще два пассажира.

— Виноват, — обращается он к одному, — не скажете ли, как пройти на Юнгфернштиг?

— Пожалуйста! Да вот прямо против нас — проспект вдоль Альстера.

— Благодарю!

Он видит у набережной белые парходики. Значит, это и есть та парходная станция на Юнгфернштиге, где ему нужно быть.

Что за город! Эти чудесные башни! Эти огромные торговые здания! Эта величественная гавань с ее морскими гигантами! Это озеро посреди города с белыми пассажирскими парходиками! Гамбург!

...Придет время, когда все это будет наше. В торговых зданиях вожди будут работать над великим планом социалистического строительства Германии. Оживет гавань. Суда не будут в бездействии покрываться ржавчиной, а понесут по всему миру произведения социалистической промышленности...

Все будет принадлежать нам. В прекрасных виллах и парках на берегу озера будут отдыхать инвалиды труда и беззаботно расти дети пролетариата.

Наци украли у профсоюзов их последние парусные и гребные лодки. Ничего! Когда-нибудь все лодки — и гребные, и парусные, и моторные — будут наши. Они отняли у рабочих профсоюзные дома и рабочие общежития. Но наступит время, когда прекраснейшие здания будут отданы под рабочие клубы. Они топчут рабочие знамена в грязи и сжигают их. Но они дождутся, когда над крышами всех этих домов, на всех этих мачтах взвоятся красные флаги.

На остановке Даммторбангоф приезжий выходит из вагона и сдает свой багаж на хранение. Еще нет одиннадцати, до назначенного времени остается несколько часов. Он успел бы еще побывать на Реепербан, в портовом рабочем квартале С.-Паули. Пройти по аллее между Ботаническим садом и Зоопарком.

Глухо доносится шум большого города. Не так удушлив жаркий день под тенью старых лип. От Ботанического сада веет свежестью и прохладой.

...Прежде всего надо наладить связь с большими заводами. Главное — с «Бломом и Фосом» и в рфью «Вулкан». Потом — с портовыми рабочими, с рабочими государственных предприятий, с железнодорожниками. Говорят, на некоторых заводах уже опять работают по-настоящему, например, на металлической фабрике Менка и Гамброка в Альтоне, на каучуковом заводе Кальмон в Бармбеке, на табачной фабрике Реемтсма в Баренфельде... Интересно, много ли еще выходит заводских газет... Сохранилась ли связь между отдельными частями города... Должно быть, аппарат связи сильно пострадал от массовых арестов. Ведь в один только день арестовано триста человек актива. Тяжелый удар. Надо снова подбирать кадры, работать с новыми, неопытными товарищами. Адский труд! Но это должно быть сделано...

«А если и меня арестуют?.. Тогда то же будет делать другсй!»

Дорога идет мимо старого кладбища. Могильные памятники почернели и кое-где покрылись мхом; могилы заросли.

Вдруг человек остановился. Перед ним громадное, ооонсенное стеной красное здание. Тюрьма.

Прямо против кладбища, посреди города. Должно быть, дом предварительного заключения.

Он прислоняется к кладбищенской ограде и смотрит на бесчисленные решетчатые окна.

Быть может, за каждой такой решеткой сидят товарищи. Одни живут лишь надеждой на революцию, другие глядят уже в глаза верной смерти... Ведь в Гамбурге и в домах предварительного заключения бывают случаи казни.

Безмолвно мрачное здание, за стенами, за решетками которого трепещут тысячи сердец, пылают тысячи голов, тысячи мужчин и женщин ждут избавления...

Часовой с винтовкой шагает вдоль стены. Мимо идет рабочий. Не поднимая поникшей головы, он украдкой бросает взгляд на тюремные окна.

Улица, от которой приезжий удаляется теперь такими быстрыми шагами, называется Кладбищенской.

Люди столпились у Колоннады, чтобы под ее прохладными сводами укрыться от беспощадного солнца. Тощий, потный человек, Готфрид Мизике — владелец мужского конфекциона — бежит вприпрыжку мимо прохожих, нервно шарит правой рукой в кармане брюк, кривляется и хихикает. Кто смотрит на него с насмешкой, кто — с презрением. Мизике счастлив, Мизике в восторге, он готов обнять весь мир. Вот так удача! Он сам себе не верит, что у него в кармане такой заказ. Два года он еле-еле перебивался от сезона до сезона: безнадежно замороженный, пропащий капитал. И вдруг... «Нет, вот подвезло, так подвезло! Наличными денежками, чистоганом... в такое время... при таком застое! Мизике,

Мизике! Единый, вездесущий и всемогущий бог тебя не оставил! Этот барончик, с такой тупой физиономией, весь в шрамах—прекрасный малый! Восемнадцать коробок галстуков за раз ему сплавил. Да что я говорю сплавил! Не сплавил, а выгодно продал! Неслыханно выгодно! И только потому, что этот,— ну, как еще его там?.. Мизике вдруг останавливается, вытаскивает торчащий из кармана сюртука модный журнал, быстро перелистывает его и смотрит благодарным, умиленным взором на портрет плешивого мужчины. Барон фон Кальдунг-Оленгаузен! Милейший человек! Мизике совсем расчувствовался. Восемнадцать коробок, сто восемь дюжин. Почти тысяча четыреста марок. При таком застое! Ну, кто поверит! Мизике захлебывается от избытка счастья.

Он не замечает чудесного летнего дня, не видит оглядывающихся на него прохожих. Он даже не чувствует томящего зноя, от которого вспотел, как мышь, и который еще так недавно проклинал.

Мизике вышел из галлерей. Перед ним сверкает небольшое Альстерское озеро и пестреет на солнце яркими женскими платьями зеленая аллея Юнгфернштига. Как радовала его всегда эта картина! А сегодня он смотрит на нее какими-то невидящими глазами.

...Тысяча четыреста марок. Это вам не фунг изюму! По теперешним временам—это целое состояние. Ведь они уже давно вышли из моды и могли с успехом проваляться еще несколько сезонов. Мизике снова с благодарностью вспоминает барона. И что это ему вздумалось ввести опять в моду эти крупные горохи, большие клетки и широкие полоски! Ведь надо же так кстати! Конечно, это только подставное лицо, за кото-

рым скрываются какие-нибудь фабриканты: архимиллионер Бендикс или даже спекулянт Алерзон. Теперь нехватает только, чтобы вернулась мода на шелковые кашне и чтобы можно было спустить все эти шелковые косыночки, которые лежат у нас целую вечность...

— Ах, пардон, сударыня! — И про себя: «У, королева! Не видит, куда прет!»

Пожилая дама, которую замечтавшийся Мизике со всего размаху столкнул на мостовую, ничего не сказала, но немного отойдя, обернулась и прошипела:

— Нахальный еврей!

...Ну, пусть теперь Бринкман заткнется, — продолжал Мизике разговаривать сам с собою, — просто надоело!.. И он представил себе плотного мужчину с поднятыми перед лицом большими, как тарелки, руками и толстыми, как сосиски, растопыренными пальцами: «Ну, когда же вы вернете мои деньги?..» — Такой гвалт из-за каких-то несчастных двухсот шестидесяти марок. Он прямо глаза вытаращит, когда я ему денежки на стол выложу. «Ну, вот вам ваши деньги... дорогой мой!» — И Мизике заранее предвкушает торжество благородного должника. — Вот удивится-то! Впрочем... если дать и половину, он не меньше обрадуется.

Мизике торопливо бежит мимо сверкающего белизной павильона, мимо искусственных пальм и пахучих кустов можжевельника. Там, за нарядными, покрытыми белыми скатертями столиками благодушествует элегантный гамбургский полусвет. Мизике останавливается на минутку и прислушивается к звукам капеллы. Нет, сегодня ему не до музыки.

И вдруг новая мысль, которая почти испугала

его: «Только бы она ничего не узнала». Хорошо, что он во-время вспомнил, а то ведь, того и гляди, проговорился бы на радостях. И тогда ей понадобилось бы и новое осеннее пальто и шляпка или ботинки. Он отлично знает, что в таких случаях вдруг сразу все нужно, и деньги исчезают, как дым... Да, хорошо, что он во-время вспомнил. Конечно, придется притворяться, делать попрежнему озабоченное лицо и даже иногда тяжело вздыхать...

Мизике присоединяется к толпе, ожидающей пароход, который, сделав широкий поворот, направляется сюда от Ломбардсбрюке. Рядом с ним стоит рослый мужчина и смотрит на развернувшуюся перед ним панораму изумленными и пытливыми глазами приезжего.

Мизике питает слабость к рослым и крепким людям. Он внимательно осматривает соседа, и ему очень хочется заговорить с ним. У незнакомца в самом деле привлекательная внешность. Он хорошо сложен. Под светлой шляпой густые с проседью волосы. Крупный нос и большой энергичный рот придают лицу особую характерность. На гладкой коже еле заметны густые тонкие морщинки у глаз и в углах рта. Мизике дает ему лет тридцать пять; по всей вероятности, управляющий или доверенный торговой фирмы. Незнакомец переводит взгляд к стройной церковной башне с позеленевшим медным шпилем. На мгновение их глаза встречаются, и Мизике спешит этим воспользоваться.

— Простите, вы, должно быть, не здешний?..

— Добрый день! Какая прекрасная погода!

Но этот уклончивый ответ только подогревает желание Мизике продолжать уже начатый раз-

говор. И когда незнакомец снова поворачивается к залитой солнцем башне, он тоже смотрит в ту сторону и поясняет:

— Петрикирхе.

Тот благодарит кивком головы.

— Готический стиль. Северная, так называемая кирпичная готика. Наполеону эта церковь служила конюшней, а потом сгорела — дотла. Знаете, во время большого гамбургского пожара. Теперь она восстановлена. Точь-в-точь по оригиналу.

— Да, действительно, чудесное здание.

— А вот та, другая, рядом, — Якобикирхе. Старая, совсем древняя.

К пристани причаливает белый плоский пароходик. На носу надпись: «Сибилла». Пронзительный гудок, высоко взлетает взбитая винтом водяная пена. Пассажиры спешат к сходням. Матрос, спрыгнув на берег, укрепляет канат и кричит:

— Юнгфернштиг! Конечная станция!

Мизике не отстает от незнакомца, хотя не может не заметить, что тот меньше всего заинтересован знакомством с ним. Человек спокойно направляется к задней палубе парохода — и очень удивлен, когда, закрывая выходящую на палубу дверь каюты, видит, что Мизике идет за ним.

— Здесь по крайней мере прохладно, — говорит Мизике немного смущенно.

Другие пассажиры — молоденькая девушка и женщина с двумя ребятишками — мальчиком и девочкой — рассказываются на полукруглой скамье у борта парохода. Мальчуган, лет восьми, то и дело пристает к матери с вопросами. Пышущая здоровьем девушка вынимает из ручного чемоданчика аккуратно обернутую в бумагу книгу.



Мизике хочет продолжать разговор, но не знает, с чего начать. Говорить о пустяках неловко.

Звонок. Матрос отдаёт причал. Раздается свисток, машина начинает работать, и пароход медленно отваливает от пристани.

Незнакомец стоит прислонившись спиной к двери каюты и смотрит на исчезающую из виду Альстерпроменаде. И чем дальше от берега, тем отчетливее становятся очертания башен, тем величественнее высятся они над городом.

— Великолепны эти бесчисленные старые башни!

Восклицание обращено к Мизике. Тот жадно подхватывает:

— Что, хорошо? Да? — и радуется, как ребенок, у которого похвалили игрушку.

— Вот эта — фигурная — башня ратуши. А за ней Николаикирхе. Видите, какой мрачный, угрюмый дядя. Как-то не подходит, совсем даже не подходит к общему виду нашего города. А та, подальше — церковь святой Катарины. Хороша? Взгляните, как блестит и сверкает ее шпиль. Ведь купол — золотой, чистого золота, из сокровищ Штертебеккера<sup>1</sup>. Очень старая, совсем старушка.

Мизике говорит с таким воодушевлением, что его слушает не только незнакомец, но и дети, которые уставились на него с полуоткрытыми ртами. Даже девушка поглядывает из-за книги.

— А посмотрите туда подальше, направо, — это наш Михель!

— Ах, да, знаменитый Михель!.. Ну, а вот те здания — это что, торговые фирмы?

---

<sup>1</sup> Морской разбойник, живший в конце XIV века (Примеч. переводчика.)

— Конторы и гостиницы. Вот там—правление пароходного общества «Гамбург—Америка» Ничего себе ящичек. Что? А на противоположном берегу—гостиница «Четыре времени года». И дальше все сплошь конторы, банки, магазины.

Пароход приближается к Ломбардсбрюке. У понтона стоит дородная женщина в кричащем светлом костюме и несколько мужчин. Приезжий осматривает новых пассажиров, вынимает из бокового кармана небольшую зеленую тетрадь, быстро перелистывает и зажимает в правой руке.

Мизике зовет его к краю палубы посмотреть на расстилающееся перед ними озеро Аусен-Альстер.

— Благодарю вас, я уже видел из окна поезда.

«Вот как!—соображает Мизике,—значит, он из Киля или, может быть, откуда-нибудь подальше: из Копенгагена или Скандинавии».

Мизике спрашивает.

— Нет, я с противоположной стороны, но проехал до Даммтора!

— Ах, вот это вы хорошо сделали!— обрадовался Мизике.— Все, кто приезжает сюда в первый раз, должны ехать до Даммтора. Тогда сразу виден Альстер, а потом вас встречают радужные скверы Даммтора, Ботанический сад, Зоопарк...

Грузный каменный мост становится все меньше и меньше. Над ним и над уходящими вдаль домами поднимаются к небу высокие башни. Вся картина заключена, как в раму, в зеленое кольцо старых лип и каштанов, которые окаймляют берег сверкающего на солнце Альстера. Тихо покачиваются пестрые шляпки, ждут ветра белоснежные паруса, скользят мимо стройные гонч-

ные яхты. По обоим берегам раскинулись нарядные парки. Серебристая зелень плакучих ив смешивается с темной синеватой хвоей пышно выросшейся пихты. Рядом с узловатым причудливой формы дубом медная крона красного бука и тяжелая листва каштанов. В гуще деревьев мелькают белые, желтые, голубовато-серые фасады вилл, вытурные фронтоны и башни.

Мизике наконец умолк. Он с наслаждением вдыхает ароматный легкий ветерок. И радуется лебедям, спокойно скользящим рядом с пароходом. Он чувствует, что окружающая красота действует и на приезжего, и счастлив вдвойне.

— Мамочка, мамочка, смотри, вон штурмовики в стальных шлемах!

— Да, мой мальчик, это часовые.

— А зачем часовые?

— Это дом наместника, вот они его и охраняют.

Стало быть, там, на пригорке за высокими дубами, вилла наместника центрального правительства. Недурное местечко. И человек долго, задумчиво смотрит в ту сторону.

Постепенно русло Альстера суживается. Берега сближаются. Еще несколько сот метров — и Альстер, минуя красный кирпичный мост, превращается в небольшую благодатную речку, чинно пересекающую Уленхорст.

Городской центр с его бесчисленными башнями уходит в неясную даль. Пароход направляется к знаменитому Уленхорстскому поплавку — месту отдохновения владельцев альстерских вилл.

В первый раз бросает приезжий внимательный взгляд на палубу и оглядывает пассажиров.

У Мизике уже истощились все темы для разговора, и он снова вспоминает о трех коробках

залежавшихся шелковых кашне. Уж не разослать ли завтра письменные предложения?

— Что Мюлленкамп — следующая станция?

— Нет, через одну, — говорит Мизике. — Да ведь я тоже выхожу в Мюлленкампе. Вам в какую сторону?

Приезжий замялся:

— Мне... Я хочу пройти к городскому саду.

— Ну, мне, к сожалению, в противоположную сторону.

«Чудак!» — подумал приезжий и посмотрел на него внимательнее.

Маленькое скуластое лицо, круто выступающий вперед лоб, кустами разросшиеся густые брови, большие, обведенные темной тенью, круглые глаза. Сова да и только! Короткий широкий нос и сжатые запекшиеся губы еще усиливают это сходство. Однако он не кажется злым: глаза его глядят тепло и человечно. Костюм сильно поношен. Полосатые брюки висят, как водосточные трубы. На голове небрежно нахлобученная, потерявшая форму серовато-зеленая шляпа.

Мизике чувствует на себе взгляд незнакомца, и ему хочется отвлечь его внимание.

— Скажите, вы долго пробудете в Гамбурге?

— Нет, не думаю!

— Да, но городской парк стоит посмотреть. И не забудьте самого главного: гавань, зверинец Гагенбека и Ольсдорфское кладбище.

— Если успею.

— Ну, что вы! Раз вы уже здесь... — даже рассердился Мизике. — Это оскорбление для Гамбурга. Так вот только повертеться, посмотреть туда, сюда, и — обратно? Для этого, знаете ли, Гамбург слишком хорош!

Человек улыбнулся:

— Поверьте, я сделаю все, от меня зависящее.

— Да ведь я это так... не в укор вам.

— Знаю, знаю!

Пароход идет по боковому рукаву Альстера, под каменными сводами моста, мимо садов, дач, мимо лодочных пристаней и поворачивает прямо к спуску оживленной улицы—Мюлленкамп.

Человек вдруг заторопился. Приподнял шляпу, кивнул Мизике, поспешно протиснулся между входящими и быстро взбежал по ступенькам.

Мизике посмотрел ему вслед и медленно побрел в противоположную сторону. Он почти огорчен тем, что так скоро пришлось расстаться с новым знакомым. Но вскоре мысли Мизике снова заняты делами. Ну, теперь, как бы не выдать себя, надо сделать озабоченное лицо. Он знает, что трудно будет скрывать свою радость, но ничего не поделаешь. Слишком дорого придется расплачиваться за откровенность, правдивость и супружескую честность. Ну, а что касается Бринкмана, так тот будет доволен, если и сто марок получит в счет старого долга. Только не заноситься!..

Мизике хочет войти в подъезд дома, где он живет, как кто-то его останавливает:

— Вы арестованы, следуйте за мной!

— Что вам угодно?

Мизике не испуган, он просто удивлен.

— Следуйте за мной — и как можно незаметнее.

— В чем дело? Кто вы такой?

Вместо ответа человек, загородивший ему вход в дом, поднимает руку. В ней сверкает металл.

— Вы агент уголовного розыска?

— Да!

— Что вам от меня надо?

— Об этом вы узнаете в отделении.

— Но это ни на что не похоже. Меня ждет жена... Вы увидите, что это ошибка, простая ошибка!

Мизике идет следом, сердитый, ничего не понимая. Он быстро восстанавливает в памяти свои последние сделки, но при всем желании не может вспомнить ничего неблагоприятного. «Уж не донесла ли на меня старуха, которую я толкнул у Колоннады?.. Нет, не может быть...»

Приезжий не знает местности, но идет по улице быстрым уверенным шагом, не оглядываясь. Перед ним голая, унылая щель между двумя рядами усеянных балконами домов. Здесь, на расстоянии менее ста шагов от Альстера, от вилл и садов — серый раскаленный камень, удушливая жара, тошнотворная вонь консервной фабрики.

— Франц!

К нему подходит человек.

— Иозеф! — отвечает он тихо.

— Как дела?

— Ни к чорту!

— Ты на какой станции сел?

— У Ломбардсбрюке! Я тебя сразу увидел.

— С тобой еще вошло несколько человек...

— Ерунда!

Приезжий сгибает вдвое зеленую тетрадь, которую он до сих пор держал в руке, и прячет ее в боковой карман.

— Так ты думаешь, все в порядке?

— Ну, ясно!

— А здесь у вас как?

— Сейчас ужасная неразбериха! Все связи порваны.

— Много провалов?

— Почти весь областной комитет, чуть ли не все районное руководство и инструктора.

— Чудовищное безобразие!

— А что слышно в Берлине?

— Об этом после.

Дойдя до конца Мюлленкампа, они хотят перейти через площадь, но три человека преграждают им путь.

— Руки из карманов! Вы арестованы!

Все трое с револьверами в руках.

Приезжий медленно, очень медленно поворачивает голову в сторону своего спутника. Тот стоит бледный, как полотно, и смотрит на него широко открытыми глазами.

— При попытке к бегству — будем стрелять!

Они молча повинуются.

## ДОПРОС

Тихо и скромно струится Альстер по лугам и лесам Гамбургской области мимо Попенбюттеля, Фульсбюттеля и Альстердорфа, чтобы затем вдруг неожиданно разлиться широким озером посреди домов большого города. После Юнгфернштага, обузданный шлюзами, он снова суживается. И теперь, узкий и незаметный, грязный и ленивый, течет, пересекая деловые кварталы городского центра. Его чернильные воды струятся меж голыми отвесными берегами, которые образуются здесь покрытыми плесенью фундаментами задних стен новых многоэтажных торговых зданий. Отсюда по всему центру расходятся бесчисленные узкие каналы.

Недалеко от впадения в Эльбу Альстер проходит между двумя огромными, совершенно не похожими друг на друга по архитектуре, гранитными зданиями. Картина резко меняется. Исчезли высокие голые стены банков, контор и магазинов. В темные воды глядятся низкие, покосившиеся от старости склады с выбитыми тусклыми окнами, ржавыми кранами и лебедками, с остроконечными черепичными крышами. Они тянутся здесь длинной вереницей, подпирая друг друга.

Давно уже гамбургские купцы переселились из этих нор в высокие, светлые, просторные здания. Дряхлые прадедовские склады, подпираемые по мере надобности громадными балками, постепенно рушатся. Зияют огромными брешами разрушавшиеся в течение сотни лет и осыпавшиеся в воду стены, вырваны оконные рамы и двери, свешиваются с крыш оторванные желоба, развалились печные трубы. И несмотря на это, в большинстве стареньких, сморщенных, растрепанных ветром и непогодой домишек еще теплится жизнь. В покосившихся оконцах мерцает по вечерам тусклый свет керосиновой лампы. За устало сгорбившимися стенами, под осевшими крышами живут люди.

Два высоких гранитных здания у Альстера стоят на границе между центром и старым городом. Они отделяют город биржи, ратуши, церквей, банков, магазинов и павильонов, город широких улиц и аллей — от города узких, темных и грязных улочек, с затхлыми, пропитанными миазмами домами, город богатства и ликующего разврата — от города нужды и печальных пороков. Гранитные здания — это новая и старая ратуши, президиум гамбургской полиции.



Когда-то хватало одного старого надменного великана. Но росла торговля Гамбурга, росли эксплуатация и дивиденды, росла нужда portовых рабочих, росло рабочее движение, росли его силы. Должен был разрастись и полицейпрезидиум. И вот на противоположном берегу Альстера появилось новое здание. Их соединили друг с другом высоким крытым мостом, который получил название «Моста вздохов».

В одной из подвальных камер старой ратуши сидит Готфрид Мизике, сидит один-одинешенек. Раннее утро. Его привезли сюда с первым транспортом.

Мизике все еще не может притти в себя. Всю ночь он провел без сна в подвале полицейского участка на Гумбольдтштрассе. Еще вечером должен был притти за ним конвой. Но вот уже четырнадцать часов он напрасно ждет его, изнывая от нетерпения. Деревянные нары так омерзительно грязны, что он не решился лечь. Закутавшись в одеяло, которое бросит ему полицейский, он до утра проходил взад и вперед по камере, мучительно ломая голову над тем, что могло послужить поводом к его аресту. Снова восставливал он в памяти свои сделки за последние месяцы и находил, что они безупречны. Он никому не должен, кроме Бринкмана, которому собирался уплатить в ближайшее время. Наверное, кто-нибудь донес на него. Не могли же арестовать только за то, что он еврей?

Мизике думал о Белле, своей жене, и представлял себе, как она волнуется. Нехорошо. Но есть еще кое-что похуже: необходимо доставить на место эти восемнадцать коробок с галстуками.

Ведь иначе дело провалится. Потом уж опять не наладишь. И откуда это свалилось на него? В чем он провинился? В эту долгую, мучительную ночь он готов был кричать, бесноваться, рычать. И чтобы подавить муку, время от времени прерывал бессмысленное хождение и в отчаянии прижимался головой к толстой двери. Скорее бы утро! Утром все выяснится, не может не выясниться... Утром за ним пришли, но с тем, чтобы доставить в «Зеленом Августе»<sup>1</sup> в ратушу. И вот сидит он сейчас в подвале и ждет. Теперь уж не долго, скоро все выяснится. Скоро его освободят.

Мизике присел на одну из скамеек, стоящих вдоль стен, и, как загипнотизированный, смотрит на дверь. Вот придут и освободят. Но никто не идет. Слышны лишь шаркающие шаги дежурного надзирателя.

Мизике начинает осторожно осматриваться. Большая комната, в которой нет ничего, кроме скамей. Грязные, исцарапанные стены омерзительны. Подняв глаза, он видит выведенные каракулями гнусные надписи, какие часто попадают в общественных уборных. Тут же свастика, политические лозунги. Эти стены вызывают в нем чисто физическое отвращение.

Но вот шум в коридоре. Топот, слова команды. Мизике прислушивается. Вызывают фамилии. Он подкрался к двери, дрожит от волнения и чувствует себя преступником. После каждого вызова слышно: «Здесь!»

Есть и женщины. Должно быть, новые арестанты.

---

<sup>1</sup> Автомобиль для перевозки арестованных. (Примеч. переводчика.)

Вдруг в замке поворачивается ключ. Мизике в ужасе отскакивает. Входят два...четыре... пять человек. Они не обращают на него никакого внимания. Четыре молодых, пятый пожилой, с лишним растительности и изборозженным шрамами угрюмым лицом. Один из них швыряет шапку на скамью: «Дермо этакое!» Двое начинают бесцельно ходить по камере. Старик осматривает стены.

— Если эта собака не будет брехать, то сойдет. У меня бумажки в порядке, *alibi* доказано...

— Да, если! — язвит другой.

— Ну, ладно, он у меня увидит! Я ему еще покажу! Будет каяться, да поздно. Никакой пощады! Все на чистую воду выведу.

— Доносить! А еще друг закадычный! Такое дельце вместе обделали! Да разве можно сейчас на кого-нибудь полагаться!

Мизике смотрит и удивляется: детское, неиспорченное лицо — и такая расхлябанная походка, грубая речь.

— Ты на что рассчитываешь?

— Рассчитываешь, рассчитываешь! Ни на что не рассчитываю. Плевать мне на все!

Против Мизике сидит коренастый рабочий в широких штанах из грубого бархата. Он облокотился на колени, сжал голову руками и уставился в одну точку.

Немного погодя прибыли новые; сначала трое, а затем сразу девять человек. Шум, оживление. Мизике наблюдает, слушает, смотрит. Много молодежи. Некоторые кричат, беззаботно хохочут, подтрунивают друг над другом, влезают на стульчак и смотрят в окно. Кто-то подходит к двери и начинает барабанить в нее кулаком. Отворяют.

— В чем дело?

— Как там насчет кофею? Все живёты под-  
вело!

— Сейчас! — захлопывает дверь надзиратель.

— Давно пора, вишь, сколько народу набра-  
лось.

Мизике ничего не понимает. И еще больше по-  
ражен, когда угрюмый надзиратель возвра-  
щается, смотрит поверх очков и спрашивает:

— Сколько вас тут?

— Шестнадцать человек!

— Нет, восемнадцать! На восемнадцать чело-  
век!

Роздали кружки. Дежурный в стальном шле-  
ме дает каждому по куску черного хлеба и чер-  
пает из ведра дымящийся кофе.

— Разве вы еще не получали хлеб?

— Я? Когда? Будет врать-то!

Когда тюремщики вышли и все усиленно за-  
чавкали, кто-то заметил:

— А ведь ты и вправду два куска тяпнул.

— Ну, ясно! А ты, небось, с одного сьт!

Мизике проголодался. А сейчас давится и да-  
вится. И наконец бросает. Три руки жадно про-  
тягиваются за его хлебом. Горячий кофе отдает  
затхлой горечью, но он пьет, стараясь подавить  
отвращение. Необходимо согреть желудок.

— Ты за что сюда попал?

Мизике долго думает.

— При всем желании — не могу сказать!

— Да ну, ладно, чего тут стесняться!

— Честное слово, не знаю!

— Правильно, дружище, — вмешался другой, —  
так на том и стой! Здесь в общей камере не  
совсем чисто. Много чего зря болтают.

Хуже всего эта ужасная неопределенность,  
это ожидание, отнимающее последние силы. Ми-

Мизике всю ночь не спал, не умывался, не ел. Тупая давящая боль в мозгу все усиливается. В камере становится тяжело дышать. Полуоткрытого окна слишком мало. Воздух пропитан вонью из отхожего места. Мизике весь съезжился и с минуты на минуту ожидает, что его вызовут. А как только вызовут, так и освободят, — в этом он несколько не сомневается. Его внимание привлекает молодой человек в франтовском, сшитом на заказ — в талию — сером костюме с прямыми, подбитыми ватой плечами и тщательно отутюженными брюками. Он безустали бегаёт по камере от стены к окну и от окна к стене. Какое неприятное лицо: маленькое, продолговатое, с детским носиком и колючими глазками. Русые волосы над низким лбом приглажены на прямой пробор.

— Разрешите присоединиться? — спрашивает Мизике. Он сидит здесь почти пять часов и немного освоился.

— Не возражаю!

Теперь они вместе бегают от стены к окну, от окна к стене. Мизике ждёт, чтобы его спутник заговорил первый. Но тот, повидимому, и не думает. Скоро к ним присоединяется третий — стройный, приличный на вид человек, в дождевике и в шляпе с опущенными полями. Он начинает рассказывать. У него была связь с пожилой женщиной. Когда он остался без службы, она ему помогала. Но он разлюбил её и решил уйти. Тогда она донесла на него как на сутенера. Он клянется, что все это лишь ослепление ревности.

Во время рассказа спутник Мизике молчит, ходит со скучающим видом и только посвистывает сквозь зубы. Но немного погодя смеется:

— Все они, бестии, на один лад!

— Что ты? Разве тоже из-за бабы попал?

— Ну, нет! Да я с бабами и не вожусь.

Они бегают так быстро, что Мизике еле поспевает за ними. Но его разбирает любопытство, и, слушая о чужой беде, он забывает свою.

— Я? Я думаю освободиться не раньше как в тридцать седьмом!

Мизике вздрогнул, как будто его хлестнули. С ужасом смотрит он на своего спутника.

— Здорово! — сухо заметил третий. — А за что?

— Магазинную кассу очистил! Нападение и грабеж!

— Ах, — вырвалось у ни в чем неповинного сутенера, как будто он замарал руки. — Неприятно!

У Мизике холод по спине пробежал. Вздвигнутый, семенит он за ними, боясь упустить хоть слово.

— Главное — я давно и думать позабыл. Месяцев семь прошло. Незадача!

— Да, брат, как бы не было хуже. Теперь такие приговоры выносят, что волосы дыбом становятся! Стоит громко чихнуть на улице — и пожалуйста в тюрьму!

Отворяется дверь. Все выжидательно смотря.

— Зауэр! — кричат из коридора.

Рабочий в бархатных штанах грузно подымается и идет к двери:

— Вас зовут Зауэр? Отто Зауэр?

— Да.

— Так идите.

Дверь затворилась. Тройка снова ходит. Джентльмен-грабитель, как мысленно назвал его Мизике, попрежнему — руки в карманах и пошвыстывает. К той заминке, которая с ним вышла, он решил, повидимому, отнестись иронически.

— Ну, а стоило ли по крайней мере?

— Какое там! И ста марок не набралось! — И он махнул рукой. — Один конфуз! Слава богу, что старик жив остался, а то было бы совсем дрянь дело.

Для Мизике это уж слишком. Он делает вид, что устал, отходит и, усевшись на прежнее место, украдкой наблюдает за ними. И вдруг он совершенно ясно осознает, где он находится. Боже праведный, хоть бы скорее его вызвали!

В коридоре загремели посудой. Время обедать. Беспокойство растет. Слышны вопросы: что дадут? как кормят? присылают ли пищу из дома предварительного заключения, или здесь своя кухня? Кго-то уверяет, что пища доставляется из ближайшей столовой общественного призрения.

Куриль нечего. Все клячат друг друга. Жадно следят за переходящим изо рта в рот коротеньким окурком. Воздух невыносимый — запах уборной, пота, табачный дым. У двери вместо плевательницы большой плоский ящик с песком, покрытым харкотиной. Мизике старается не смотреть туда и, если нечаянно взглянет, чувствует позыв на рвоту.

Раздают чашки для еды. Арестованные становятся у двери, каждый со своей миской. Дают лапшу.

Мизике усердно хлебает. Он нашел даже маленькие кусочки мяса, да и на вкус суп лучше, чем он ожидал. Со всех скамеек слышно молчаливое торопливое чавканье на все лады. Мизике не спешит. Он успел сделать только три глотка, а уже вокруг скребут ложками по дну чашек. Те двое уже проглотили свою порцию.

Во время еды отворилась вдруг дверь. Шатаясь, входит молодой рабочий. Он согнулся, как

будто несет какой-то невидимый груз. Левый глаз посинел, распух и кровоточит. Все оборачиваются и перестают есть.

— Ах, бедняга, да что же это они с тобой сделали!

Рабочий остановился, тяжело дыша, дико уставившись на окружающих до жути неподвижными глазами.

— Живодеры! — наконец прохрипел он.

Мизике тоже чоднялся. Растерянно смотрит на избитого. Только теперь заметил он большое кровавое пятно на шее и кровь на левом ухе.

— Чего они хотели от тебя?

— Чтоб я назвал кого следует.

— Не смеешь никого выдавать! — раздался голос со скамьи.

— Заткнись, идиот! — цыкает на него другой. — Как раз на шпика нарвешься.

Избитый расстегнул пояс и спустил брюки. Ягодицы и бедра были покрыты кровоподтеками, под приподнятой рубашкой — вся спина в синих багровых рубцах шириной в руку.

— Здорово они тебя отделали! В комнате сто три, а?

Тот только кивнул и, сжав зубы, напялил брюки. У большинства сразу пропал аппетит. У Мизике — тоже. Два парня тотчас же набросились на его едва начатую порцию.

Мизике на воле часто слышал об избиениях в ратуше. Но об этом рассказывали главным образом коммунисты, — а разве им можно верить? Вот теперь он видит собственными глазами. И что тот мог такого натворить, что его так отделали? Ему бы очень хотелось знать, но он не решается спросить. Спрашивает кто-то другой



— Я руководил группой в боевом союзе. Мы распространяли летучки. Меня сцапали, и теперь хотят знать, кто остальные.

— Кто сейчас попал сюда по политическому делу, тому не поздоровится.

Мизике оглянулся на говорившего. Глубоко заложив руки в карманы, за ним стоял тот самый, что за сто марок чуть не убил человека.

— Меня, — спокойно заявил он, — и калачом в политику не заманишь. Я еще с ума не спятил!

Около избитого рабочего осталось человека три-четыре. Они заставляют его рассказывать по нескольку раз, как выглядят те, кто его избивал, и чем били. Остальные, разделившись на группы, громко и возбужденно рассказывают что-то друг другу, спорят и ругаются.

Мизике слышит невероятные, чудовищные вещи. Один уверяет, что он видел в Отряде особого назначения, как четыре здоровенных штурмовика набросились на человека лет шестидесяти и стали выколачивать из него показания ножками от стула и резиновыми палками. Другой якобы совершенно точно знает, что несколько дней тому назад штурмовики выбили некоему Фрицу Вольгасту правый глаз. Кто-то рассказывает, что во время его допроса была избита молодая девушка:

— Какой-то штурмовик вошел в комнату разгоряченный и возбужденный и крикнул другому: «Ничего не говорит, стерва!» — «Так, может быть, она и в самом деле ничего не знает», — заметил тот. «Должна знаты! Он не мог убежать, не сказав ей — куда. Пусть она мне очки не втирает! Вот мы ей за это задницу, как карту, и расписали. Что твоя Африка — страна чернокожих! Проклятые садисты!

«Ну, — думает про себя Мизике, — всему верить нельзя. Как всегда, преувеличивают. Наци, конечно, обращаются с своими противниками не особенно нежно, но все же это люди, немцы, гамбургцы, а не дикие звери. Ведь это солдаты, а солдат не поднимет руки на девушку или женщину. Ну, этого высекли, — так ведь кто знает, какие там за ним дела водятся? Здесь он, конечно, об этом распространяться не станет. А уж что-нибудь да было. Никто так, зря человека уродовать не будет...» Мизике смотрит, слушает, но остается при своем мнении и рад, что не имеет с этими людьми ничего общего.

На скамье рядом с Мизике сидят еще трое. Страшно толстый парень по прозвищу «Волдырь» — остряк и балагур. Только что задали ему вопрос, как он устроивается, когда бывает с женщиной, — куда он свое брюхо деваает, — и он собирался уже наглядно это показать, как отворилась дверь и вызвали Мизике.

— Вы Готфрид Мизике?

— Да! — От радости его даже в жар бросило. Наконец-то, наконец!

И когда дверь за ним затворилась, у него была только одна мысль: «Никогда сюда не возвращаться!»

— Подождите здесь!

Мизике стоит в коридоре. Перед ним длинный ряд узких шкапов. Странно! Неужели здесь столько служащих? В конце коридора двое штатских, с бумагами подмышкой. Один из них длинный, прямой, как палка, в высоком воротничке, с остриженными бобриком волосами, медленно подходит к нему.

— Мизике?

— Да

— Пожалуйте!

Мизике взволнованно бежит за ним. «Слава богу! Слава богу!» — думает он, выражая так переполняющую его в эти мгновения радость.

Они входят в маленькую комнату. Окна с решетками, ничего — кроме высокой конторки и стула.

— Садитесь!

Мизике садится. Комиссар, не торопясь, раскладывает бумаги, что-то перелистывает, искоса бросает на него испытующий взгляд и снова перелистывает. Потом закуривает. Мизике не спускает с него глаз и удивляется таким долгим приготовлениям. Он думал, что комиссар только извинится пред ним и отпустит. К чему такая проволочка?

— Вас зовут Иозеф Готфрид Мизике?

— Да.

— Родились шестого февраля тысяча восемьсот семьдесят девятого года?

— Совершенно верно.

— В Гейлингенгафене?

— Да.

— Еврей?

— Да.

— В браке с Сабиной Гольдшмидт?

— Да.

— Тоже еврейка?

— Да.

— Род занятий — купец, адрес Гофвег, сто семнадцать?

— Да.

— Раньше под судом не были?

— Нет!

— Так... А теперь скажите, готовы ли вы совершенно откровенно отвечать на все мои вопросы?

— Безусловно, господин комиссар!

— Это будет в ваших интересах. Итак, с какого времени состоите вы членом коммунистической партии?

— Простите, как вы сказали? — Мизике не верит своим ушам.

— С каких пор вы член коммунистической партии?

— Я... я не член... коммунистической партии!

У Мизике горло перехватило. Чего от него хотят?

— Я им никогда не был! — добавляет он и думает: какой нелепый вопрос! Какое отношение он может иметь к коммунистам и к их партии?

Комиссар смотрит сверху прямо в глаза холодно и недоверчиво.

— Вы мне обещали говорить правду.

— Это правда, господин комиссар!

— Вы же хотели дать деньги для коммунистической партии!

— Я?.. Я — деньги... для коммунистической партии? Ой, что вы, господин комиссар! Нет, у меня нет денег для политики!

— Еще раз советую вам — в ваших же собственных интересах — говорить мне правду, господин Мизике.

— Я готов. Вы только спрашивайте, господин комиссар.

— Вы член коммунистической партии?

— Нет!

— Вы хотели дать деньги для нелегальной коммунистической партии?

— Никогда!

— Очень жаль, но в таком случае я должен буду отказаться от вопроса.

Мизике смотрит испуганно в серые испытующие глаза.

— Вы, может быть, будете также отрицать, что были вчера на палубе парохода «Сибилла»?

— Наоборот! Я почти каждый день езжу с альстерским пароходом.

— Ах, так! Но вы, конечно, не были никогда знакомы с тем господином, с которым вы разговаривали вчера на пароходе?

— С этим? Нет! Это какой-то приезжий. Я его не знаю.

Комиссар слегка наклоняется к Мизике и шопотом убеждает его:

— Лучше скажите сразу всю правду, господин Мизике, для вас же лучше. Я только исполняю свой долг. Если не скажете, я должен буду передать дело дальше. Отпираться бесполезно, верьте мне!

Мизике слушает, и его бросает то в жар, то в холод. Он никак не может понять, к чему это выпытывание, эти предостережения и советы, но чувствует, что ему грозит что-то недоброе. И он начинает робко умолять:

— Почтеннейший господин комиссар, поверьте, я не тот, кого вы ищете! Это, наверное, ошибка. Я никогда политикой не занимался. Никогда никакого отношения к коммунистам не имел. Уверяю вас! Вы ошибаетесь!

Мизике видит, что он попал, как в западню, и нет выхода. Незнакомец... деньги... коммунистическая партия... У него голова идет кругом. Но надо держать себя в руках, — все должно выясниться.

— Господин комиссар, это в самом деле только случайное стечение обстоятельств. Я с этим приезжим не имею ничего общего. Я лишь обратил его внимание на некоторые достопримечательности нашего города. Да ведь я даже и не

могу быть коммунистом. Подумайте, у меня торговля. Я ведь не рабочий!

— Ну, есть люди и почище вас, да коммунисты. А вы, как еврей... В последний раз! Вы настаиваете на ваших показаниях?

— Конечно, господин комиссар!

— Известна ли вам по крайней мере фамилия Тецлин?

— Нет, господин комиссар, такой не слыхал.

— Ну, тогда можете идти обратно. Подождите, я вас провожу.

— А когда... когда меня выпустят?

— Это решаю не я.

Комиссар сердито собирает бумаги, сует их подмышку и выходит из комнаты. Мизике идет за ним.

— Вам нужно было сразу говорить, все как было.

— Да ведь я сказал.

— Ну, как угодно!

В коридоре комиссар передает Мизике человеку в форме. Мизике робко кланяется. Комиссар кивает и идет обратно. Мизике снова запирают в общей камере, куда еще несколько минут назад он думал никогда больше не возвращаться. В лицо пахнуло вонью, табачным дымом, и все показалось сейчас еще отвратительнее, чем раньше. И желтая лампочка, тускло освещающая комнату, и настороженные взгляды людей, которые устало бродят взад и вперед, и открытый и постоянно занятый клозет, и загаженные стены — все такое омерзительное, отталкивающее, жуткое. У него дыхание захватывает.

Мизике отмахивается от обступивших его арестантов. Он слишком взволнован, ошеломлен, чтобы отвечать на вопросы, тем более, что его

спрашивают как раз о том, над чем он сам напрасно ломает голову. Он в ужасе. Он чувствует себя жертвой какой-то непоправимой ошибки. Он замешан в какое-то преступление! его считают соучастником. Мизике хорошо знает, что значит для еврея быть заподозренным в политическом преступлении. Доказать полную свою непричастность труднее, чем он предполагал. Неизвестный — преступник. Боже мой, вот уже совсем не похож! Напротив. И кто этот Тецлин? Мизике никогда не слышал о таком. Он хотел дать деньги?! Коммунистам?! Какая нелепость! И какая тут связь между всем этим? Мизике бьется над разгадкой. И вдруг он приходит в бешенство. Почему жена ничего не предпринимает? Почему родственники не выяснят дело в полиции и не потребуют, чтобы его освободили? За что он должен погибать здесь, в этой клоаке? Почему никто не засвидетельствует его невиновность? Почему никто не возьмет его на поруки?

— А что, они прилично обращались с вами?

Об этом спрашивают его уже третий или четвертый.

— Да, вполне прилично.

— Ну, брат, это тебе еще посчастливилось. Ведь помимо всего ты — еврей.

Только этого не хватало! Достаточно, что его здесь держат, как какого-то преступника... Неужели ему придется еще одну ночь провести в этой мерзкой камере, среди этих людей, в этом смраде? Немыслимо! Это было бы ужасно! И Мизике не слышит вопросов, не видит устремленных на него взглядов, сторонится всех и один бегаёт по камере. От беспомощности, омерзения и страха он готов реветь, как ребенок.

Теперь стали чаще вызывать по именам и водить

арестованных на допрос. Водили и франтоватого магазинного вора, который тоже вернулся обратно. Он охотно рассказывает:

— Ведь все равно дело провалилось, так я взял да и сознался. Теперь по крайней мере мне зачтется предварительное заключение, и я на хорошем счету у начальства.

Рыжий парикмахер, уже отбывший наказание за эксгибиционизм и теперь вторично арестованный за то же, подходит к Мизике и шепчет:

— Послушай, они говорят, что меня кастрируют, что сейчас есть такой закон. Неужели они в самом деле это делают?

— Оставьте вы меня, наконец, в покое! — кричит Мизике на рыжекудрого, с белым девичьим личиком, юношу.

— Нет, они не будут тебя кастрировать, — отвечает кто-то другой, услышав вопрос. — Они тебе только хвост отрежут.

Парикмахер растерялся. Он не верит, что существует такой закон. Он думал, что национал-социализм политическое движение, а он ведь не политический преступник. Никто не имеет права его кастрировать. Он вообще не понимает, какое национал-социализму до этого дело! Во всех других отношениях он тоже национал-социалист. С 1931 года он всегда подавал голос за национал-социалистов, и ни на одном собрании, на которых он когда-либо бывал, и речи не было о кастрации.

— Это меня моя старуха выдала, — говорит пожилой мужчина. — Дайте мне только домой вернуться, я покажу ей, где раки зимуют!..

— Что она на тебя наплела?

— Да мальчишка хотел к гитлеровцам, а я был против. Я ему сказал: если ты наденешь ко-



ричневую рубашку, я и тебя вышвырну и твою мать вдогонку. Вот теперь я и сижу здесь за эту самую коричневую рубашку. Нет, дайте мне только отсюда выбраться!

— Мизике! Готфрид Мизике!

— Здесь!

Мизике так погружен в мысли, что даже не слышит своего имени. У двери стоят штурмовик и надзиратель.

— Заснул, что ли?

— Нет, я не спал.

Штурмовик презрительно меряет его взглядом с ног до головы, что-то бормочет и как бы с отвращением отворачивается. Мизике стоит и ждет. Они шепчутся и искоса на него поглядывают. Штурмовик вынимает револьвер и начинает его вертеть, затем спокойно подходит к Мизике.

— При малейшей попытке к бегству пристрелю на месте, понял?

Еще бы не понять? Но в чем дело? Зачем ему бежать? Куда это его ведут?..

— Ну, пошли!

Надзиратель запирает дверь. Мизике идет за штурмовиком вверх по лестнице, через длинный коридор. В окна виден Альстерский канал. Штурмовик молча шагает с револьвером. Мизике осмеливается наконец спросить:

— Господин караульный, куда вы меня ведете?

— Молчать! — слышит он в ответ.

Поднявшись по винтовой лестнице, они очутились в здании старой ратуши и через галерею над «Мостом вздохов» прошли в новую ратушу. Попадавшиеся им навстречу люди с

любопытством оглядывали арестованного. Отсюда снова через маленькую дверцу по длинному коридору и через площадку прошли в здание, где незадолго до этого помещался жилищный отдел. Теперь Мизике знает, куда его ведут: в Отряд особого назначения. Он оцепенел от ужаса. Об этом отряде рассказывали такое, что волосы становились дыбом. Избиение входит в порядок дня. Всего несколько недель тому назад здесь рабочий выбросился из окна, и труп его долго лежал на улице. Здесь находится наводящая ужас комната 103, та самая, где и сегодня утром избили рабочего.

Штурмовик, злорадно ухмыляясь, смотрит на дрожащего человека и с важным видом взвешивает на руке своей револьвер.

— Ну, ну, шевели циркулем!

И Мизике карабкается выше по лестнице. Откуда-то слышится граммофон. Проходя по пустому запущенному коридору, Мизике заглядывает в кое-где открытые двери. Навстречу им попадают люди в форме штурмовиков и охранников. Гулко раздается топот высоких сапог.

— Откуда ты выудил эту сволочь?

— Оттуда, напротив. Курт хочет его допросить.

— Может порадоваться. Курт как раз в подходящем настроении!

Мизике охватывает смертельный ужас. Он весь холодеет, на лбу выступают крупные капли холодного пота. Теперь он уверен, что это его последний путь и что его убьют. Он уже больше не спрашивает себя: почему? за что? у него одно желание — жить! жить! Только не умереть! Он уже не думает о том, что он невиновен, что он жертва какой-то роковой ошибки, он думает об

одном: только бы не умереть! Жить! Этот мрачный запущенный дом с ветхими лестницами и обвалившимися перилами, с испачканными краской, загаженными стенами, с гулкими коридорами, пустыми комнатами, зияющими дверями, гнусавые звуки граммофона, свирепые, громко топающие солдаты-охранники в стальных шлемах, с винтовками — все это лишало его последней надежды. Кончено! Кончено!

У Мизике в голове мутится. Лишь на секунду мелькает неясный образ Беллы. Широко открытые глаза, полуоткрытый рот. Да, так будет она стоять тогда, когда все будет кончено. А Карл Кролль, а добрый старый толстый Иозеф Мендес! Что они скажут! Что они скажут!

— Стой тут!

Мизике испуганно вздрагивает. Он становится у двери и просящими, как у собаки, глазами смотрит в серое лицо под стальным шлемом.

— Лицом к стене, идиот! Ближе! Еще ближе! И берегись, если пошевелинешься!

Мизике стоит так плотно к стене, что носки ботинок уперлись в плинтус и нос дотрагивается до штукатурки. Штурмовик уходит в комнату. Мизике немножко расправляет члены. Он осторожно смотрит направо, налево: в коридоре никого. Налево — лестница. «Что, если бы сейчас убежать?» Его начинает дергать. По всему телу дрожь. Беги! Беги же! Вниз по лестнице! А там в подъезд и дальше. Голова кружится. Шатаясь, он прислонился лицом к стене. Нет, нехватает ни сил, ни нервов. Он прилип к стене коридора, как муха к клейкой бумаге. Все кончено, все кончено! Зачем его не оставили в камере? Ведь его уже допрашивали. Почему именно он должен умереть? Белла! Все кончено!

— Ступай сюда!

Дрожа все телом, Мизике переступает порог.

Вокруг стола стоят шесть человек в форме охранников. Конвойный становится у двери, все еще держа в руке револьвер.

— Подойди сюда! Ну!

Мизике берет себя в руки и подходит к человеку с тупым квадратным лицом. Боязливо, быстро осматривается. В комнате ничего, кроме стола. На грязном полу клочки бумаги, окурки.

— Как зовут?

— Готфрид Мизике.

— Громче, сволочь! И добавлять: «господин караульный».

— Готфрид Мизике, господин караульный!

— Еврей?

— Да, господин караульный!

— Точно так, а не «да».

— Точно так, господин караульный!

— Коммунист?

— Нет, господин караульный!

— Врешь, мерзавец!

— Я не коммунист, господин караульный!

Не успел Мизике сообразить, как кто-то сжал ему горло, другой схватил его за правую руку, повернул и рванул в сторону. Грубым пинком, от которого из груди Мизике вырвался звериный вой, его швырнули на стол. И тут же стали бить по ягодицам, по спине, по ногам. Одни удары звонко шлепали по телу, другие падали тяжело и глухо и, казалось, приходились по самым костям. Первая мысль — откуда столько бьющих его людей и откуда у них взялись орудия для избиения? Но вдруг тупой удар по крестцу. Он взвыл. Он гост... воет... Все яростнее сы-

плются удары. Жгучая боль в левом боку. Безумный, неистовый крик. Удары прекращаются. Мизике лежит ничком, боясь шевельнуться. И только хрипит.

— Прочь со стола, сволочь!

Мизике хочет слезть и ищет руками опоры. Охранникам это, очевидно, кажется слишком медленным, один из них хватает его за ногу и сдергивает со стола. Он еле успевает уцепиться за край доски.

— Повернись! Ты коммунист?

Мизике хочет сказать, объяснить, просить пощады: был два года на фронте, женат, никогда не интересовался политикой, — но звуки застревают в горле. Все так и плывет перед глазами. Спина горит. При малейшем движении страшно колет в левом боку.

— Ну, отвечай! Бродяга!

Мизике только качает головой.

Его снова бросают на стол. Еще не бьют, а он уже кричит. Впивается в стол ногтями, прижимается к нему лицом и воет, как иступленный. Постепенно вой переходит в стон и жалобное всхлипывание.

— Если не сознаешься, будем бить до смерти!

Перед ним совсем близко искаженное злобой лицо; охранник тыльной стороной руки вытирает выступившую на губах пену.

Мизике готов на все. Только бы перестали бить.

— Ты коммунист?

Мизике кивает.

— Ты хотел дать коммунистам деньги?

Мизике кивает.

— Ион Тецлин должен был устроить курьеру проезд в Копенгаген?

Мизике кивает.

От страшного удара в лицо Мизике падает на пол.

— Зачем же ты, собака, раньше лгал?

Не заботясь больше о потерявшем сознание, начальник отряда с людьми выходит из комнаты. Плетки и квадратную ножку от стола прячут за дверь. Конвойный, прислонившись к косяку двери, глядит им вслед.

— Я бы мог драть их по дюжине в день.

— Вот уж нужно правду сказать: Родебек был не чета этому. Того мы целый час допрашивали: Курт, Альвин, Отто, я, — и он не сказал ни слова. Даже ни разу не крикнул. Характер у малого! Железо!

— А ведь у самого кровь изо рта хлынула! Фанатик! Дикий фанатик!

— А Карстен или Корстен, как его там?.. вот тоже молодец был. Шенкеру заехал прямо в рожу. Тот с удовольствием отправил бы его на тот свет.

— Да, там есть крепкие ребята. Их бы к нам следовало. А такую слезливую тварь, как этот еврей, надо сечь, пока не издохнет!

Разговаривая таким образом, охранники из Отряда особого назначения доходят до караульной — комнаты в конце коридора. Начальник отряда Курт Дузеншен входит первым. Кругленькая, упитанная девушка лет двадцати, чересчур полногрудая, с белокурыми завитушками, сидит за длинным столом перед пишущей машинкой. Она встречает вошедших вопросом:

— Ну что, сознался?

— Понятно, сознался. И со страху в штаны наклал!

Дузеншен делает официальное лицо и приказывает:

— Надо немедленно составить донесение наверх. Кауфман хочет лично присутствовать при допросе Торстена и Тецлина. Это — важные преступники.

Девушка заправляет в машинку бумагу и подкладывает под себя два толстых справочника. Охранники тут же: кто стоит, кто сидит на пустом столе или на подоконнике.

— Чья это, собственно, работа? — спрашивает кто-то.

— Работа Тео. Насколько мне известно, это Кайзер обратил его внимание на Тецлина. Целых два месяца Тео следил за ним — и наконец только вчера сцапал. Оказался — самый настоящий.

— Наверняка премию получит.

— Да еще, пожалуй, в гору пойдет.

Дузеншен диктует машинистке:

— «После первоначального заперательства еврей Готфрид Мизике показал: 1) что он член коммунистической партии; 2) что он снабжал коммунистической партии деньги на подпольную работу...» Нет, не так, — прервал он диктовку, — ведь он же еще не давал, он только хотел дать. Значит, надо сказать: хотел снабжать деньги... Да не галдите вы там, наконец! Ничего не сообразишь, такой гам! Значит, хотел давать деньги... Ну, пиши: «хотел снабжать деньги коммунистической партии на подпольную работу; 3) что ему известно, что Тецлин хотел устроить курьеру проезд в Копенгаген».

— А ведь он, в сущности, очень быстро соблаговолил сознаться, — заметил кто-то.

Охранник Гармс — старший отделенный, — недоучившийся студент, сын еще недавно хорошо зарабатывавшего владельца такси, сидит на по-

доконнике, болтает ногами и посмеивается по поводу донесения Дузеншена. «Ах, господи,— думает он,— раз ты уже начальник отряда, так должен уметь по крайней мере правильно составить три немецкие фразы. Ведь это ж просто неприлично, что он там наворотил! И кто только сейчас не попадает в большие люди! Начальник отряда! Неужели несколько ножевых ран и убитый коммунист могут квалифицировать человека в качестве начальника? Что, если те, наверху, прочтут такое донесение? Просто скандал!»

Гармс, скрестив руки, внимательно рассматривает Дузеншена, его куцую, приземистую фигуру, одутловатое четырехугольное лицо, изуродованный ударом кулака, искривленный нос, низкий заросший лоб, взъерошенные волосы.

Тот кончил свой доклад и с нарочитой деловитостью обратился к присутствующим:

— И чтобы нынче вечером все были на месте, будет здорово занятно! — и, взяв доклад, выходит из комнаты.

— Ну и умора!

— Эх, брат Руди, заткнись ты лучше! И что ты вечно придираешься? Курт — чудесная душа. Наплевать на его немецкий язык! Зато он — парень хоть куда!

«Ну, конечно, — думает Гармс, — Ридель и Дузеншен — два сапога пара. Этот тоже скоро в начальники отряда пролезет. Наверно, все передаст Дузеншену... все, до мельчайших подробностей. Ну, да наплевать! Только срамит нас всех. Недавно на допросе доктора Кольтвица, социал-демократа, он учил его всякой ерунде, затем в присутствии других важно спрашивает: «Ну, чему я тебя выучил?» Еврей, не сморгнув глазом, ответил: «Вы учили меня делать мост,



прыгать и ползать по коридору». А эта скотина Дузеншен даже ничего не заметил. И это начальник! Ну, и дела!..»

Гармс не может удержаться от замечания:

— Тому, кто пишет доклады, следовало бы хоть малость подучиться грамоте.

— Так ты бы сам продиктовал.

— С какой же стати? Я ведь не начальник отряда!

В этот момент с шумом влетел долговязый морской штурмовик Тейч:

— Айда вниз! Мы там занялись с одним моряком из красных, отбивается, как бешеный.

Все вскакивают, орут, гогочут: «Идем смотреть на парня! Ну, и отчаянная голова, должно быть!» — и бросаются к двери.

— Захватите плети и ножку от стола! — кричит Ридель и мчится по лестнице, перескакивая через три ступеньки.

С тех пор как Гейнриха Торстена доставили в ратушу, он сидит в «боксе». «Боксы» — это те небольшие, узкие клетушки, которые Мизике принял за шкапы. Они в самом деле не больше обыкновенного шкапа — в полметра шириной и чуть глубже. Двери такого шкапа сверху продырявлены. Это единственное отверстие для притока воздуха.

В таком шкапу Торстен сидит, скорчившись, уже почти тринадцать часов. В полдень караульный просунул ему сюда миску лапши, а под вечер — чаю и кусок черного хлеба. Он еще ни разу не выходил из своего ящика. Гейнриху Торстену совершенно ясно, что эта мера — только начало предстоящих ему испытаний. Им известно,

кто он, и они, конечно, захотят узнать все, что знает он. В течение многих месяцев допускал он возможность ареста и, думая о нем, всегда чувствовал легкую дрожь. Он всегда говорил себе, что если дойдет до этого, то ему не сдобровать. И теперь как-то странно, что он так спокоен, так владеет собой. Он знает, что до него этот путь был уделом самых лучших, самых сильных. И они прошли его, не теряя мужества.

Чертовски не повезло! Не успел приехать, как арестован. Должно быть, Тецлин вел дело страшно легкомысленно. Не следовало, пожалуй, сразу устанавливать связь. Ну, да что толку теперь упрекать себя! Надо пройти этот путь до конца... Торстен думает о товарищах: как испугаются они, когда узнают, что он арестован. Всего несколько недель назад здесь был провален весь подпольный аппарат — свыше трехсот товарищей. А теперь еще Тецлин и он. Всюду шпики. Из-за каждого угла подстерегает предательство.

Трудно придется товарищам в эти ближайшие недели и месяцы. А Гейнрих Торстен теперь в отпуску, и это единственный отпуск, который может получить посвятивший себя классовой борьбе. Впрочем, и в тюрьме и в концентрационном лагере пропасть работы. Отпуск, настоящий отпуск наступает для нас только в могиле. Может быть, я уже на краю ее. Кто знает, что принесет завтрашний день?

А Анна? А крошка Маргарет? У Гейнриха Торстена есть жена и ребенок. У него свой очаг, своя семья.

Анна! Тяжко приходится нашим женам, — ах, как тяжело! Сейчас сидит она в своей маленькой квартирке в Эйслебене и с тревогой думает о муже, который идет где-то опасными подпольными

пугами. Уже много месяцев как она одна со своими вечными спутниками. Имя им — тоска и тревога. Да, тяжело нашим женам. А между тем они такие же борцы, как и мы, а иногда еще с большим мужеством, еще более стойко переносят лишения. Но об их героизме никто не говорит, их подвиги незаметны. И мало кто знает им цену.

Анна! Никогда еще Гейнрих Торстен не испытывал такого глубокого чувства нежности к жене, как в эти мгновенья. Он видит ее перед собой, эту маленькую, решительную, храбрую женщину, с которой он живет уже шестнадцать лет. Что же дала им совместная жизнь? Он вскоре вступил в партию. Борьба в Рурской области, демонстрации, собрания, тюрьмы, рейхстаг, разъезды с целью пропаганды, выборы, подпольная работа — вот вехи его бытия. Но их брак совсем особенный. Горение в политической работе сохранило их молодыми, борьба в рядах рабочего класса придала их браку более глубокий смысл. Больше, гораздо больше получили они от жизни, гораздо больше дали друг другу радости, больше любви, чем те, которые день за днем, ночь за ночью влачат друг подле друга цепи мертвящей привычки.

Гейнриху Торстену не о чем сожалеть, он не даром прожил свою жизнь. Это была хорошая, правильная жизнь. Если бы пришлось жить еще раз, он прожил бы ее точно так же. Сожаленья достойны те, кто терпит лишения без луча надежды, кто не наслаждается жизнью, а лишь терпеливо ее переносит, для кого она не согрета радостью борьбы за социализм. Сожаленья достойны невежественные, малодушные, примирившиеся! Нет, его жизнь была прекрасна.

Тринадцать часов сидит Гейнрих Торстен в шкапу. У него мало надежды прожить еще

хотя бы день, и снова перед ним проходит вся его жизнь. Тринадцать часов корчится Торстен в ящике и не знает, долго ли еще ему так мучиться. Уже поздно; другие арестанты давно переведены в дом предварительного заключения. Медленно бродит по коридору ночной часовой.

Днем еще было сносно, бодрствовал слух. Мимо то и дело проходили какие-то люди. Переговаривались караульные. Кого-то вызывали. Толпились у входа вновь прибывшие и уходящие. Жизнь не совсем замирала. Но в эти вечерние часы в огромном каменном подвале безлюдно, пустынно и тихо, как в могиле. Общие камеры пусты, умолк шум, и только через каждые полчаса мимо неслышно проходит часовой в войлочных туфлях.

Жутко в такие часы в этом стоячем гробу.

Торстен стучит кулаком в дверь. Моментально подбегает часовой, но не решается открыть дверь шкапа.

— Эй, в чем дело? Не шуметь!

— Забыли про меня, что ли?

— У нас никого не забудут. Стало быть, так надо.

— Скажите хотя бы, зачем одного меня держат в этой клетке? Что же, я просижу здесь всю ночь?

— Этого я вам тоже не скажу, — не знаю.

И Торстен слышит, как часовой медленно уходит. По крайней мере теперь он знает, что здесь кто-то есть. Немного погодя, снова приближаются мягкие шаги. Торстен слышит, как кто-то произносит шопотом его имя, и прижимается лицом к отдушине.

— Послушайте, говорят, что вас сегодня же вечером будут допрашивать! Вас и Тецлина.

Начальник тайной государственной полиции хочет сам быть.

— Спасибо, — шепчет Торстен. — А Тецлин тоже в клетке?

— Нет. Он, кажется, там, наверху, в Отряде особого назначения.

Торстен облегченно вздыхает. Сегодня их, пожалуй, не будут бить, раз присутствует сам начальник гестапо<sup>1</sup>.

Значит, они хотят его по-настоящему допрашивать. На что они, собственно, рассчитывают? Надо полагать, что Тецлин держится стойко...

Ах, он все еще в том же деревянном ящике, но уже чувствует себя гораздо лучше. И только теперь ему ясно, что его мучил страх перед истязаниями. Странно, как будто и клетка совсем не такая уж узкая. Можно для разнообразия постоять и даже поднять вверх руки. И если придется провести здесь ночь, так и то пустяки. Может быть, сторож еще что-нибудь ему скажет. Хорошо бы передать весточку Тецлину. Начальник гестапо! Собственной персоной! Великолепно! Возможно, что это вызвано слухами об истязаниях. Ведь не будут же они обращаться со мной, как с мальчишкой. Ну вот, еще раз, не смогря ни на что, повезло.

Проходит еще несколько часов. Незадолго до полуночи рядом, в соседнем коридоре, раздается топот и шум. Торстен напряженно прислушивается. Звонок. Идут. Часовой отворяет тяжелые двери. Торстен ясно слышит свое имя. Под сводами гулко раздается топот подкованных железом сапог. Дверь открывается. Торстен моргает, ослепленный желтым светом коридор-

<sup>1</sup> *Geheime Staatspolizei* — государственная тайная полиция. (Примеч. переводчика.)

ной лампы, и поднимается. Рядом с часовым три человека в форме охранников. Один из них вынимает из-за пояса револьвер.

— Выходите!

Они с любопытством оглядывают арестанта, и повидимому, удивлены. Торстен с гордым видом выходит из темного ящика и прямо и пристально смотрит им в лицо.

Его ведут в том же направлении, в котором лишь несколько часов тому назад прошел Мизике. Два охранника по бокам, третий — с револьвером в руках — позади. Все молчат. Когда они проходят пустынным темным коридором старой ратуши, в одной из комнат раздается вдруг женский крик, короткий и пронзительный. И снова все тихо. Караульные идут, как будто ничего не слышали. Из новой ратуши через подъезд они выходят в красное кирпичное здание бывшего жилищного отдела и останавливаются в коридоре первого этажа.

— Стать лицом к стене!

Из ближайшей комнаты выходят еще охранники, с ними начальник отряда Дузеншен. С важным, напыщенным видом подходит он к Торстену и, встав вплотную сзади, дергает его за рукав:

— Повернись! Ты, значит, был депутатом рейхстага? От коммунистов? Отвечай!

Торстен поворачивается. Перед ним, расставив ноги, стоит коренастый человек с иссиня-багровым, обрюзгшим лицом. Пьяница. И скотина. Злобная скотина. Торстен смотрит на него свысока и молчит.

— Ты что? Не желаешь отвечать или не понимаешь? Ведь это ты был депутатом рейхстага?

Торстен молчит. Дузеншен впивается в него прищуренными глазами и вдруг громко хохочет:

— Ну, любезный, погоди, мы тебя выучим говорить! — и так хохочет, что мясистая шея наливается кровью.

Но смех деланный, судорожный. Даже охранники замечают это и не смеются, а молча, пристально смотрят на арестанта.

У подъезда раздается:

— Смирно!

Движение. Одергивают рубашки, оправляют шапки. Дузеншен бросает на своих людей предостерегающий взгляд, как будто говорит: смотрите, не осрамите меня!

Входит высшее охранное и штурмовое начальство и несколько штатских.

— Смирно!

Щелкнули каблуки, вытянулись тела, взметнулись кверху правые руки. Не удостоив приветствие даже взглядом, высокие гости проходят мимо, в комнату для допроса.

Блестящее шествие: коричневая замша, красные и синие ленточки на коричневых фуражках, лакированная амуниция, тяжелые кобуры, кокетливо болтающиеся кортики, поблескивающие при матовом свете коридорных ламп высокие черные и коричневые сапоги, нашивки, ордена.

Два охранника в стальных шлемах становятся у входа.

Начальник отряда Дузеншен входит в комнату вместе с прибывшими. Часовые перешептываются, и Торстен слышит, как несколько раз упоминается имя Кауфмана.

Из двери высовывается красная бычья голова Дузеншена. Он взволнованно зовет:

-- Торстен, сюда!

Заключенный входит, не торопясь, в большую, совершенно пустую комнату. Полукругом стоят офицеры и штатские. Высокий человек с круглой лысой головой подзывает Торстена. Торстен подходит. Сознание, что на него устремлено столько враждебных глаз, заставляет его еще больше подтянуться.

— Торстен, мы знаем, кто вы и по чьему поручению вы прибыли в Гамбург. Знаем, какое задание вы должны были выполнить здесь. Отпираться бесполезно. Мы хотим еще знать: первое — кто вас прислал из Берлина, — имена, разумеется; второе — имена тех, кто теперь возглавляет здешнее руководство; третье — кто такой Карбе, расписку которого мы у вас нашли. Предупреждаю, что нам уже почти все известно, но мы хотим иметь от вас подтверждение и доказательство вашей доброй воли. Еврей Мизике и Тецлин уже сознались.

Торстен пристально смотрит на говорящего. Затем оглядывается вокруг, и взгляд его падает на человека, который кажется ему знакомым. Среднего роста, довольно плотный, в светлом летнем пальто и в серой шляпе с опущенными полями. Торстен уверен, что где-то встречал это круглое бритое невыразительное лицо. Но где?

Он делает над собой усилие и отвечает:

— Господа, я сказал вам, кто я, и указал место моего постоянного жительства. Это все, что я могу сказать.

Тогда к нему подходит, медленно ковыляя, грузный человек с искусственной ногой — комиссар по уголовным делам. Он, отчеканивая, спрашивает:



— Вы этим хотите сказать, что отказываетесь от дальнейших показаний?

— Совершенно верно, господин комиссар! Ведь вам известны мои политические убеждения. Какого мнения были бы вы о человеке, который, будучи на моем месте, стал бы выдавать товарищей?

— Здесь дело не в морали. Дело в Германии. Советую вам — отвечайте на мои вопросы возможно правдивее.

— Весьма сожалею, господин комиссар.

— Ты сожалеешь? — в бешенстве рывкнул комиссар и придвинул свою большую голову к самому лицу Торстена. — Ты сожалеешь?!

И в тот же миг Торстен почувствовал удар между носом и верхней губой. Застигнутый врасплох, он пошатнулся.

— Ты должен не сожалеть, а отвечать!

— С этого момента я не скажу ни слова.

На мгновение в комнате воцаряется мертвая тишина. Все смотрят на Торстена.

— Жалкий маньяк! — прошипел побледневший от ярости лысый комиссар и взял протянутый ему длинный черный футляр. Не спеша открыл замок.

Все смотрят на него, смотрит и Торстен. Он не представляет себе, что может храниться в футляре. Комиссар вынимает темный, толщиной в руку, резиновый жгут с изящно отделанной рукояткой. Вытянув голову вперед и впиваясь в Торстена заплаканными жиром глазами, он спрашивает:

— Ты будешь говорить?

Торстен изумлен. Он понял, что это означает, и молчит.

— Ты будешь давать показания?

Торстен стоит, как вкопанный

Нагнись!

Он бледнеет, но не шевелится

— Нагнись! — снова кричит комиссар. — Нагнись, говорят тебе, скотина! Нагнись!

Растерянно смотрит Торстен на неподвижных молчаливых зрителей. Взгляд его снова останавливается на человеке в светлом пальто. Их глаза встречаются. В них ненависть.

К Торстену бросаются три охранника. Один пригибает его голову книзу, другие два хватают за руки и с силой выворачивают их кверху. Он сгибается от боли. Комиссар медленно выставляет вперед прямую, как палка, ногу, тщательно прицеливается и с размаху бьет Торстена по задку. Тяжелый, глухой удар. У Торстена вырывается стон. А тот снова подвигает негнущуюся ногу и наносит второй удар... третий... четвертый... пятый... Торстен хрипит. От боли и стыда кровь бросается ему в голову, в мозгу свинцовая тяжесть.

Но вот руки его освободились, пальцы, сжимавшие горло, разжались. Торстен медленно выпрямляется. Все плывет перед глазами. Он напрягает все силы, с трудом глотает слюну и, немного очнувшись, видит вокруг себя все те же лица. Все стоит молча, не шевелясь. Человек в летнем пальто, отделившись от группы, подходит к нему.

— Торстен, я против подобных методов, но что прикажете делать? Все равно дело проиграно. Скажите, кто такой Карбе, и больше вас не будут бить.

Теперь Торстен узнал, кто стоит перед ним. Это наместник центрального правительства — Кауфман. Они знают друг друга по рейхстагу. Оба были депутатами последнего созыва. В морду

следовало бы дать такому мерзавцу, плюнуть в лицо.

— Но если вы будете упрямы, то пеняйте на себя. У нас упрямы побольше вашего!

Торстен не спускает глаз с выхоленного толстощекого человека, от которого зависят здесь жизнь и смерть. Но не говорит ни слова.

Пожав плечами и холодно улыбнувшись, наместник поворачивается к нему спиной и отходит. И тотчас же палачи снова накидываются на Торстена. Отчаянным напряжением он отбрасывает их, сам подходит к палачу-комиссару, еще раз окидывает взглядом всех, что стоят здесь, как восковые фигуры из паноптикума, еще раз смотрит в круглое, мальчишески незрелое лицо наместника и... нагибается перед комиссаром. Как он ни сжимает челюсти, безумная боль от сотрясающих тело хорошо рассчитанных ударов выталкивает из его груди животные крики, заглушенные стоны и хрип. После восьмого удара он бессильно валится на колени, лицом в пол.

— Ведро воды! — кричит Дузеншен и суетится вокруг упавшего. Поворачивает его лицом к свету, разжимает веки. «Уж не притворяется ли?»

— Ну, и отчаянный же, — шепчет своему соседу командир штурмового полка Эллернгузен из штаба наместника.

— Следовало бы прекратить, — отвечает тот. От него все равно ничего не добьешься.

— Что вы! — возмущен Эллернгузен. — Мы должны заставить его говорить.

Охранник приносит ведро воды и ставит подле лежащего Торстена. Два охранника высоко подымают его, третий окунает головой в ведро.

Тело Торстена судорожно вздрагивает, голова поднимается, слабо болтаясь. Челюсти начинают стучать.

— Еще раз! — командует Дузеншен.

И Торстена снова погружают в ведро. Скоро начинают подергиваться ноги, тело извивается. Когда голову Торстена вынимают из воды, она ужасна: глаза выкатились из орбит, мокрые пряди волос свисают на лицо, полуоткрытый рот жадно ловит воздух.

Хромой комиссар дергает его за полы.

— Еще не кончено, мой мальчик, это только начало. Если ты не ответишь на наши вопросы, будем продолжать так всю ночь, пока не издохнешь. Понял? Ты семейный?

Торстен слабо кивает головой.

— Ну, так не валяй дурака! Чего ради ты жертвуешь собою? Твой товарищ Тецлин гораздо благоразумнее. Он назвал нам давшего ему поручение, и мы сразу оставили его в покое. Ваш финансист еврей Мизике тоже быстро сдался. Ну, довольно! Скажи, и дело с концом!

Торстен все еще не может стоять без поддержки. Он медленно приходит в себя, освобождается из рук охранников и, качаясь, направляется к комиссару. Можно подумать, что он хочет говорить, но он лишь долго смотрит ему в глаза и молчит. В комнате — ни звука. Комиссар выхватывает из рук охранников резиновую палку и, теряя самообладание, рычит:

— Нагнись! Нагнись, сволочь!

Под первым же ударом Торстен со стоном падает.

— Воды! — кричит Дузеншен.

И снова бесчувственного Торстена окунают головой в ведро.

Наместник выходит вперед:

— Я думаю, господа, что сегодня мы никаких результатов не добьемся: Идемте!

— Ничего подобного еще не бывало, — шепчет Эллернгузен. — Чем крупнее добыча, тем меньше результатов. Во всяком случае, Тецлин выдал связи. Через них можно будет действовать дальше.

Наместник и его свита выходят из комнаты. Машины уже у подъезда, шоферы включают моторы.

— Я думаю, что как только будет устроен лагерь, работа пойдет лучше.

— Я в этом уверен, — отвечает наместнику командир штурмового полка Эллернгузен.

Пока начальство размещается в машинах, Эллернгузен подходит к Дузеншену:

— Если он сообразоволил заговорить, то будет чрезвычайно приятно, — и выразительно смотрит на Торстена.

— Рад стараться! — Дузеншен щелкает каблуками.

Не успели машины выехать из подъезда, как Дузеншен мчится обратно по коридору. Арестованный лежит ничком, распростертый на полу.

— Отделенный Ридель!

— Слушаю!

— Во что бы то ни стало сегодня же ночью заставить эту сволочь говорить!

— Слушаю! — а сам выразительно указывает на лежащего на полу Торстена, словно желая сказать: «Этого? Но ведь он уже готов».

— Конечно, пусть сначала придет в себя. Вообще делай, как знаешь.

И начальник отряда со свирепым видом выходит из комнаты.

Два охранника перетаскивают Торстена в угол

Один из них, шутки ради, поливает ему водой лицо. Торстен не приходит в себя. Наконец охраннику это надоедает и он присоединяется к остальным, которые сидят на полу и мирно беседуют.

Проходит около часу, и Торстен медленно начинает возвращаться к жизни. Тогда охранники поднимают его и тащат по коридору, по темной каменной лестнице, вниз, в подвал. Ноги Торстена безжизненно болтаются, глаза и губы вздулись, все лицо превратилось в одну сплошную кровавую массу.

— Я бы лучше перевел его в дом предварительного заключения. Как бы не пришлось ответить!

— Да ведь он ни одним членом пошевелинуть не может. Куда уж ему бежать! — отвечает Дузеншен. Мне бы хотелось еще раз допросить его, небось станет сговорчивей!

— Дай ему денек оправиться, — знаешь, часто после этого все идет, как по маслу.

Над крышами спящего города чуть брезжит свет. К Отряду особого назначения подают машину. Охранники укладывают туда Торстена.

— До скорого свиданья! — кричит ему вслед Дузеншен.

Дежурные надзиратели дома предварительного заключения, принимая Торстена, качают головой. Бережно ведут его в одну из камер первого этажа. Один хлопчет о перевязке, другой наливает ему из своего термоса теплого кофе. И оставляют его одного.

Торстен не спит. Его лихорадит, он бредит и, уткнувшись в стену ничего не видящими глазами, что-то бессмысленно бормочет

Рядом в одиночке Ион Тецлин. Он тоже не спит и в носках бегает по камере взад и вперед: шесть шагов от окна к двери, шесть — от двери к окну. Сильный свет прожекторов, установленных в тюремном дворе, освещает стены тюрьмы, освещает и его камеру. Часовой уже несколько раз заглядывал к нему. Видел, что он беспокойно мечется по камере, но ничего не говорит. В открытое окно веет прохладная августовская ночь, и здесь, в камерах, наравне с землей, даже холодно, но голова горит, как в огне.

Как это могло случиться, что он до такой степени потерял голову и вел себя, как подлец?

...Какой же ты коммунист, Ион Тецлин? Подлый ты негодяй! Десять лет работаешь в партии, десять лет, десять лет! И отдаешь в руки полиции своего парторга, выдаешь имя своего товарища по работе, имя хорошего, мужественного бойца. Все доверяли тебе, все видели в тебе твердого, как сталь, большевика, все тебя любили, Ион, а ты выдал своего руководителя врагам, натравил псов на след друга. Десять лет ты в партии, Ион. Правда, они били тебя, мучили, пытали, но ты ведь хорошо знаешь, что приходилось терпеть другим революционерам. Они страдали, но не стали предателями. Ты хорошо знаешь, что многие даже перед лицом смерти не выдавали своих товарищей, и, когда их пытали смертными пытками, они плевали в лицо палачам. Ион Тецлин выдал своего руководителя. Ион Тецлин — предатель. Десять лет был коммунистом, десять лет! В двадцать третьем году боролся в Бармбеке. Как это могло случиться?! Как это могло случиться?!

Ион Тецлин — портовый рабочий, широкоплечий великан, обливаясь потом и тяжело дыша, ходит взад и вперед по залитой призрачным светом камере.

На рассвете слышит он, что в камеру рядом кого-то привели, и догадывается, что это арестованный вместе с ним берлинец. Забыв о часовом, о страже, он цепляется за решетку открытого окна и зовет: «Франц, Франц!»

И слышит в ответ тихое: «Иозеф!» и слабый стук в стену.

Тецлин висит на окне, смотрит, не отрываясь, в яркий свет прожектора, на высокую темную стену позади, из-за которой видны верхушки деревьев, растущих вокруг городского вала, чуть освещенные слабым предутренним светом. Еще царит ночная тишина. Часовой совершает свой обход. Мысли Тецлина упорно вертятся вокруг одного и того же. И вдруг из груди вырывается крик:

— Я выдал товарища, слышишь, слышишь, я выдал товарища! Ты можешь понять это, ты? Я его выдал!

Вокруг все тихо. Из соседней камеры нет ответа. Тецлин стучит в стену:

— Ты слышишь? Слышишь?

Ни ответа, ни стука.

Тецлин снова цепляется за решетку, прижимается к ней пылающим лицом и кричит:

— Они били тебя?

— Да, — слышится рядом.

— Ты... ты... давал показания?

— Нет!

Тецлин отпрянул от решетки. Безмолвно смотрит он в яркий свет прожектора, на темную стену, раскидистые деревья, на бледное пред-



рассветное небо. Потом медленно отходит от окна, шаг за шагом, пока не упирается спиной в дверь, и стоит там, не отрываясь взглядом от окна.

Готфрид Мизике после допроса был переведен в дом предварительного заключения, на чердак, на так называемую «Воробьиную вышку». Когда-то в этих чердачных помещениях хранился всякий старый хлам, но так как после прихода к власти Гитлера массовые аресты вызвали совершенно невероятное переполнение тюрем, то администрация решила использовать чердаки под общие камеры.

Мизике и еще пять прибывших с ним заключенных вошли в большую, переполненную людьми камеру. Пахло удушливым жаром. Не успели запереть за ними дверь, как раздались громкие приветствия. У некоторых оказались здесь знакомые, их окружили и закидали вопросами. Мизике никто не знал.

По стенам длинными рядами стояли походные кровати, между ними — столы, за которыми шла игра в карты и шахматы. Какой-то юноша указал Мизике свободную койку. Мизике положил на нее шляпу. На некоторых койках уже лежали, и на его вопрос юноша объяснил, что это те, которых избили. О том, что и его били, Мизике промолчал. На него полился целый поток вопросов, но он чувствовал, что и здесь не верят, что он невиновен.

Этот первый вечер на «Воробьиной вышке» совершенно потрясает Мизике. Ведь это не только его первый день в тюрьме, но и первый день среди коммунистов. Вместе с ним прибыло два члена агитпропгруппы, и теперь здесь из этой группы

сидят уже пять человек. Немного погода, карты и шашки убираются, столы сдвигаются в ряд со скамьями, и агитпроптруппа начинает импровизированный концерт.

Мизике все кажется необычайно странным. Он осматривает зрителей. Все пролетарии. Много молодежи, большинство одеты очень бедно: штопаные фуфайки, ветхие, без воротничков сорочки, узкие, протертые и обтрепанные брюки. — Безработные, — думает Мизике. Только двое одеты получше. Мизике удивляет та спайка, которая чувствуется между заключенными, товарищеский тон в разговоре, выдержка, с которой они переносят заключение, страстный интерес к политическим спорам, точный и сдержанный язык.

Особенно удивляют Мизике те пять молодых рабочих, которые стоят у простенка между двух дверей. Они разыгрывают скэтчи, поют хлесткие куплеты, декламируют бодрые, полные страсти стихи. — Странные люди — эти коммунисты, загадочные люди! — думает Мизике. — На улицах они орут и буянят, нападают на полицейских, преследуют инакомыслящих, а в тюрьме ведут себя чинно и культурно, читают вслух классиков, поют куплеты, высмеивают невежество и вызывают к разуму.

Белокурый юноша в красном свитере читает стихотворение Гервега, и его большие ясные глаза горят.

В ком сердце есть еще — оно  
Лишь в ненависти бьется.  
В нас жар разжечь немудрено, —  
Ведь топливо найдется.  
Везде и всюду должно нам  
Завет свободы видеть:  
«Любить уже довольно вам, —  
Учитесь ненавидеть!»

И только чтец кончил, как оттуда, где лежали избитые, эхом ответил чей-то страшный, как в бреду, крик:

— Ненавидеть!

Только одно это слово. Но казалось, что в нем вылились страдание и ненависть всех замученных в тюрьмах Германии.

У узников замерло дыхание. Избитый со стоном упал на постель. Концерт прекратился.

Скамьи и столы расставили по местам, и в камере наступила тишина. В этот вечер никто уже не дотрагивался до шахмат и карт...

Светает. Мизике все еще ворочается без сна на своей постели. Со всех сторон слышится громкое дыхание и храп. Кто-то из избитых тихо стонет во сне. Перед Мизике снова проходят события прошедшего дня: грязный подвал в полицейском участке... омерзительная общая камера в ратуше... первый допрос комиссара... порка в Отряде особого назначения... невероятное, дикое издевательство... А что принесет ему завтрашний день? Ах, Мизике совсем уже не думает о своих галстуках, о тысяче четырехстах марках и о Бринкмане, который хочет получить с него долг. Он живет в каком-то новом мире, его волнуют новые вопросы, он ждет опасностей, которых раньше не знал. Он думает о своей Белле. То с негодованием, то с нежностью. Почему она до сих пор еще не разыскала его, почему не поставила она всех на ноги, чтобы его освободить?

Мучаясь ужасными воспоминаниями и страшась будущего, то сомневаясь, то снова надеясь, дрожа от отвращения и недоумевая, Мизике наконец погружается в сон, первый сон после двадцати четырех часов.

Утром в полицейском участке при доме предварительного заключения поднимается страшное волнение.

Торстен начинает ощущать свои избитые члены, стряхивает с себя тяжелый, кошмарный сон и прислушивается к суете в коридоре и соседней камере. Он слышит, что зовут санитаря, и думает: «Что случилось?»

Спустя несколько минут в камеру Торстена входят два полицейских.

— Нам очень жаль, но получено распоряжение от гестапо.

Торстена связывают, руки за спину:

— Это делается для вашей же безопасности, — поясняет один из полицейских, — чтобы вы ничего над собой не сделали. Ваш сосед по камере Тецлин сегодня ночью повесился.

## КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ

— Левой! Левой! Левой! Два, три, четыре... Ногу держать не умеете, свиньи! Небось, в красных фронтовиках выходило... Держись прямо! Что ты качаешься, как загулявшая девка?

Словно злая овчарка, бежит начальник взвода Тейч по тюремному двору за марширующими в две колонны арестантами. Каждому выдали в цейхгаузе по два одеяла, жилет, брюки, куртку — старую, поношенную, коричневую в черную полосу, арестантскую одежду — шапку, пару тяжелых солдатских сапог, простыню и полотенце. С этими вещами подмышкой вновь прибывшие идут военным строем через многочисленные дворы старой каторжной тюрьмы.

Первые дни сентября, а жарко, как в августе.

Над землей тяжело нависла пронизанная солнцем молочная мгла. Каким-то чудом, несмотря на зной, еще не пожелтела листва на деревьях по ту сторону тюремной стены. Эта зелень — оазис для измученных глаз. Но высокая грязно-красная стена отделяет узников от летнего убора грушевых и вишневых деревьев.

— Левой! Левой! Левой! — шагают колонны мимо старых, загаженных и ветхих корпусов каторжной тюрьмы, уже давно предназначенной гамбургским городским муниципалитетом на слом.

— Левой! Левой!

Начальник взвода Тейч шагает вдоль рядов, подбегает то к одному, то к другому, кто, по его мнению, недостаточно хорошо марширует, и кому ногой поддаст, кому даст тумака, подзатыльника, кричит, беснуется.

Так проходят колонны по жаре и пыли мимо места, где заключенные сносят дом, в котором помещался когда-то тюремный лазарет. Они стоят в своих полосатых арестантских костюмах на полуразрушенных стенах, выбивают киркой кирпичи и сбрасывают их в вагонетки. Кирпичи сортируются на длинных столах.

Наблюдающие за работой охранники забрались в тенистые места. Марширующие обмениваются с работающими немymi взглядами: ищут знакомых, товарищей...

— Отделение... ногу выше!.. Стой!

Подходят к воротам. Один из конвойных, в стальном шлеме и с винтовкой, дергает звонок. Часовой за воротами отворяет.

— Отделение, равняйся! Марш!

Перед ними еще один тюремный двор. Здесь обнаженные до пояса заключенные работают

лопатами. Расставлены измерительные приборы; заросшая сорной травой площадь разрыхляется и планируется. Перед входом в тюрьму укладывается дерном клумба в форме свастики.

— Отделение, ногу выбрасывать! Носок выше!.. Стой! Левое плечо вперед! Направо! Вещи сложить! Равняйся! Не шевелиться и не дышать!

Тейч идет в караульную, которая находится в нижнем этаже корпуса. За прибывшими наблюдает из окна кое-кто из охранников, среди них Рудольф Гармс, бывший студент.

Тейч входит в комнату.

— Хейль Гитлер!

— Хейль Гитлер!

— На этот раз много интеллигентов, Руди, позаймись-ка с ними историей!

— Правильно, дружище! — поддерживает Ридель.

— Давай-ка вызовем штучки три-четыре. Я до сих пор не могу забыть дурацких физиономий, что были в последней партии.

Старший начальник отделения Гармс, начальник отделения Ридель, старший взводный Майзель и взводный Тейч выходят из караульной. Заключенные неподвижно стоят под палящим солнцем; у некоторых текут по лицу крупные капли пота. Караульные-охранники осматривают одного за другим.

— Пальцы разжать! Пятки вместе! Прямо смотреть!

Гармс выбирает одного наудачу.

— Ты почему сюда попал?

— Я продавал запрещенную газету.

— Какую?

— «Гамбургер Фольксцейтунг».

— А ты?

— Н-не знаю, господин караульный.

— Как это ты не знаешь?

— На меня, наверное, донесли, господин караульный. Я вывесил пятого марта красный флаг. Больше ничего.

— Придется тебе пораздумать над этим делом, я тебя еще раз спрошу... Ты?

— Я за нелегальную работу для RGO<sup>1</sup>.

— Ты какую работу вел?

— Я собирал взносы.

— У кого?

— От номера 2017 до номера 2022!

— Я спрашиваю, как звали тех, от кого ты получал!

— Да я и сам не знаю.

— А, вот как! Ну, так тебе тоже придется еще подумать.

Гармс станвится перед выстроившимся отделением и командует:

— Работники умственного труда, — налево выходи!

Вышло трое.

— Ты кто?

— Врач.

— Врач? Фамилия?

— Доктор Калькраух.

— Почему здесь?

— У меня нашли иностранные газеты.

— Так, так! Вот ты какая птица! Помаленьку родину предавал! А?

— Нет.

— Молчать! Понял?... Ты кто такой?

— Профессиональный служащий.

---

<sup>1</sup> *Revolutionäre - Gewerkschafts - Opposition* (Красная пр оппозиция)

— А ты?

— Конторский ученик.

— Больше служащих нет? — спросил Гармс остальных.

— Есть! Я.

— И я.

— Ну, гоп-гон, выходи! Вся пятерка туда — к стене! В ряд! Пошевеливайся!

Гармс становится в позу фельдфебеля и с важным видом обращается к первому с краю, доктору Калькрауху:

— Кто был Ленин?

Заклоченный сначала удивленно смотрит на спрашивающего, а затем вопросительно — на остальных караульных, которые стоят вокруг него и язвительно ухмыляются.

— Ну, скоро ты там?

— Ленин? Ленин? — доктор старается придумать самый простой и точный ответ. — Ленин? Ленин был председателем Совета Народных Комиссаров в СССР.

Бац! — раздается звонкая пощечина.

Гармс переходит к следующему — профсоюзному служащему.

— Кто был Ленин?

— Вождь коммунистов.

Бац! — звенит вторая пощечина.

Очередь за конторщиком:

— Кто был Ленин?

Тот в испуге, с минуты на минуту ожидая пощечины, бормочет:

— Ленин... Ленин был... Я не знаю!

Бац! Бац! Две пощечины одна за другой. Гармс считает, что нужно знать, кто был Ленин.

Спрашивает обоих служащих. Один отвечает:

— Ленин был учредителем Советов.



Другой:

— Ленин был еврей.

Пощечина и тому и другому.

— Кто ответит правильно, может сесть туда, в тень, под стеной.

Игра в вопросы и ответы начинается сначала.

— Кто был Ленин?

Доктор думает: что ему, собственно, нужно? И «еврей» уже говорили, и тоже невпопад. Наконец нашелся:

— Враг Германии!

Но не успел сказать, как недоучка-студент снова бьет его по лицу.

Профсоюзник думает так долго, что ему попадает раньше, чем он успевает что-либо ответить.

Конторщик выпаливает, заикаясь:

— Ленин был... был... ужасный человек!

Даже Гармс улыбается:

— Как это ужасный человек? Точнее!

— Он был... ре... революционер!

Бац! — и конторщик отлетает на несколько шагов.

— Кто был Ленин?

Один из служащих получил вторую пощечину за то, что сказал «коммунист», другой — за то, что бормотал что-то совсем невнятное.

— Ах вы!.. — рычит старший начальник отделения Гармс. — Не знаете, кто был Ленин? Так я вам скажу!

И Гармс выкрикивает грубые ругательства.

— Равняйся! И чтоб ни один не шевельнулся, а то буду гонять по двору, пока вода в заднице не закипит!

Больше часа стоят заключенные под палящим солнцем. Уже прошли в тюрьму рабочие команды. Привезли на открытом грузовике обед в цин-

ковых кубах и теперь возвращаются обратно с пустой посудой. Рядом с доктором стоит худой, изможденный человек в потертом пальто. Врач знает, что это инвалид войны, и видит, как он шатается, преодолевая дурноту, но не имеет права помочь ему, поддержать его, не смеет двинуться с места.

Ридель выходит из караульной, смотрит на заключенного в потертом пальто и подходит к нему.

— Тебе, может быть, трудно стоять?

— Да, господин караульный.

— Ну, так давай для разнообразия побегаем... Вокруг двора, марш, марш!

— Господин караульный, я...

— Не разговаривать! Ну! Живо! Поторапливайся!

Инвалид бежит. Тюремный двор — большая площадь. Под ногами пыльный песок; ни деревца, ни кустика, защищающих от солнца. Тридцать заключенных должны смотреть, как их товарища гоняют по жаре вокруг двора.

— Живей, живей! — подгоняет Ридель. — А ну-ка подстегни этого ленивого пса! — кричит он стоящему у стены часовому.

Задышающийся, с серо-зеленым лицом, он добегают.

— И это, по-твоему, называется бежать? Еще круг! Пошел!

— Господин караульный, я...

— Ах, собака! Ты еще разговаривать!.. Руди! — зовет он в окно караульной. — Кинь-ка мне хлыст!

Арестованный прижимает руки к груди и снова бежит вокруг двора. Часовой у стены снимает ружье и прицеливается. Но ничего не помогает,

загнанный в изнеможении опускается у стены. Ридель кричит, он грозит, что заставит его еще три раза обежать двор. Тот собирается с последними силами и, свесив голову, прижав руки к груди, уже не бежит, а бредет, шатаясь, еле передвигая ноги. Не дойдя до товарищей, которые не спускали с него глаз, он валится на землю.

Ридель бросается к нему, как бешеная собака, толкает ногой в бок и орет:

— Вставай! Вставай! Симулянт, мокрая курица!

Но тот, еле переводя дыхание, шепчет.

— Я... инвалид... войны...

Ридель ошеломлен.

— Ты инвалид войны? — И он вглядывается в человека, который лежит у его ног и жадно глотает воздух. — Куда ты ранен?

Тогда стоящий в первой шеренге доктор Калькраух выходит на шаг вперед и рапортует:

— Арестованный Иоган Нагель был два раза тяжело контужен и отравлен газами. У него только половина легкого.

Ридель еще некоторое время стоит и изумленно смотрит на инвалида. Он знает, что на него направлены тридцать пар глаз. Медленно подходит стоявший у стены часовой.

Ридель подзывает врача и еще двух арестованных.

— Возьмите его!

Товарищи несут Иогана Нагеля в тень. Он дышит тяжело, с легким свистом.

Уже сменились часовые, вернулась с обеда рабочая команда, а арестованные все еще стоят на дворе под жгучими лучами солнца. Четыре часа стоят они так на одном месте. Тело устало, голова отяжелела, судорожно сжимается от го-

лода желудок, во рту пересохло. Они завидуют товарищам, которые работают с лопатами и кирками, которые могут копать, вывозить мусор. Им тоже жарко, и с них ручьями льет пот, но они не стоят навтыжку праздну на солнце. Даже выносливые пролетарии начинают шататься. Какой-то молодой рабочий, в блузе с большим отложным воротником, с нежным девичьим лицом, падает. Стоящие рядом подхватывают его и поддерживают.

Наконец является судебный чиновник в новой, с иголки, форме тюремного ведомства и командует:

— Вещи взять! Марш!

Арестованные взбираются, шатаясь, по каменной лестнице. В широком прохладном коридоре их снова выстраивают. Но для них это отдых послетаккой жары; все облегченновздыхают полной грудью и расправляют утомленное тело.

— Те, кого я буду вызывать, замечайте, в какую группу включены. Адольф Ратье, Гергардт Бушин, Эгон Гринке, Герман Дреус, Вальдемар Лозе, Вальтер Энгельберт, Вильгельм Бьяллаш, Иоганнес Кольцен, Фридрих Бекенмайер, Вальтер Нейман, Эрнст Фоллер, Артур Зенгер, Отто Штенке, Вилли Ауэрбах, Фридрих Туракс, Оттомар Кац, Гейнрих Ширман, Эрвин Дарлинг, Фриц Ремзен — группа первая. Дальше! Курт Краних. Эрих Бекер, Ганс Келлер, Адольф Реймерс, Иозеф Шпильке, Кристоф Траут, Альберт Шмидт, Ульрих Гармс. Эти войдут во вторую группу. Эмиль Шпираль, Карл Фишер и Вальтер Крейбель — в третью... Кто Шпираль?

— Здесь!

— За что попал?

— За столкновение на Адмиралитетсштрассе.

— Фишер!  
— Я.  
— Ты за что?  
— Я член организации красных моряков.  
— Кто Крейбель?  
— Здесь! Я.  
— За что?  
— Я был редактором газеты «Фольксцейтунг».  
— Гм! Значит ты один из преступных заправил учреждения на Валентинскамп<sup>1</sup>.

Арестованные строятся по группам. Первая группа будет размещена в общей камере, группа вторая — в одиночках, группа третья — в погребѣ, в темных карцерах.

После того как тюрьма запирается на ночь, караульные всех отделений собираются в караулке в нижнем этаже, играют в скат, читают газеты и за кружкой пива бросают кости. Когда нет Цирбеса, хороводит старший начальник взвода Майзель. Майзеля больше всего огорчает его маленький несолдатский рост. Только благодаря связям он, за несколько месяцев до захвата власти, попал в морской штурмовой отряд. После окончания училища он был юнгой на корабле, где его толкали, ругали и били. С тех пор он решил, что лучше самому бить, чем быть битым. Для него особенное наслаждение бить больших, сильных мужчин. Его ночные налеты на одиночки наводят ужас, и многие из его товарищей даже отказываются принимать в них участие,

---

<sup>1</sup> *Valentinskamp* — улица в Гамбурге, где находится дом, в котором помещались различные учреждения местной коммунистической организации.

так как он не знает границ. Служака он примерный: ловок, аккуратен, до педантизма исполнительен. Сам повинуется начальству и требует повиновения от подчиненных.

Как самому маленькому из всего караульного отряда ему дали прозвище Пеппи. Он приходит в бешенство, когда слышит его от подчиненного, и покорно улыбается, когда его употребляет начальник.

Ридель узнал из документов, что арестованный Иоган Нагель, участник войны, получил Железный крест первой и второй степени, был четыре раза ранен — один раз тяжело. Нагель — семейный и арестован по пустячному делу: собирал взносы для «Союза инвалидов труда и войны». И этого ветерана войны он гонял и мучил, пока тот не свалился.

Ридель был воспитан в родительском доме в строго националистическом духе. Его отец погиб в 1917 году во Франции и мать в память мужа продолжала воспитание своего сына в патриотическом духе. Она собирала, между прочим, все посвященные войне патриотические сочинения. И когда маленький Жорж превратился в юношу Георга, эти книги стали его единственным чтением. Преклонение перед солдатчиной привело его к Адольфу Гитлеру.

Ридель очень удручен и мучается угрызениями совести.

Майзель посмеивается над Риделем, который явно избегает сегодня товарищей, говорит, что Ридель сентиментален, как старая баба, и мягкотел, как соци.

— Советую тебе сказать ему это в глаза, — предлагает Кениг, караульный из отделения «БЗ».

— Ты думаешь, я боюсь его, что ли?

Кениг не отвечает, отворачивается и спрашивает:

— Кто сыграет со мной в скат?

Играющие садятся за маленький столик, берут карты и оставляют надувшегося Майзеля одного у окна. Даже Ленцер, который во всем держит его руку, отходит от него и берет газету.

Майзель стоит у окна и наблюдает за товарищами. Рот искривлен гадкой, презрительной улыбкой. Входит Ридель.

Что это? Бахвальство, упрямство, вызов или воинственный задор? Майзель встречает Риделя словами:

— Да, Жорж, этот Нагель... ну, ты знаешь какой... Он только что умер!

Ридель останавливается, как громом пораженный. Кажется, у него вся кровь отлила от лица. Все оглядываются на Майзеля, но не говорят ни слова.

— Правда?— спрашивает потрясенный Ридель и выбегает из комнаты.

— Ты что, совсем спятил? — первый приходит в себя Кениг.

— Да-а, это ты зря!

Ленцер ограничивается этим замечанием и продолжает читать.

Майзель краснеет, как рак, и чувствует, что даже шея налилась кровью. Чорт возьми! Какую скверную штуку он выкинул. Не стоило этого делать. Они все сегодня какие-то странные. Ну, наплевать! Вот еще сентиментальный слюнтяй!

Немного спустя в комнату возвращается Ридель. Майзель все еще стоит у окна. Тот направляется прямо к нему.

— Что это значит?

— Ладно, я пошутил.

— Ты называешь это шуткой?

— Да, я называю это шуткой. А вообще тебе, ей-богу, не помешало бы проявлять побольше боевой беспощадности и твердости!

Ридель размахнулся, ударил и свалил Майзеля вместе со стулом. Тот вскочил, бледный, как полотно, и хотел вытащить из кармана револьвер, но не успел, так как Ридель бросился к нему и одним ударом снова сбил его с ног. Майзель растянулся, как пласт.

В это время Кениг, Ленцер и оба караульных из отделения «Б» вскочили со своих мест и бросились к дерущимся.

— Будет вам! Нашли из-за кого драться!

Их розняли.

— погоди, молодчик, мы еще сочтемся! — крикнул Ридель вслед Майзелю, который, вне себя от бешенства, выбежал из комнаты.

Прошла неделя, как Гейнрих Торстен сидит в темном карцере. Его больше не допрашивали. После самоубийства Иона Тецлина он пролежал еще день в полицейском участке при доме предварительного заключения, а затем его перевели в концентрационный лагерь в Фульсбюттель. С первого же дня бросили в темную и надели наручники.

В темной, как и во всех прочих камерах, есть решетчатое окно; но здесь, в погребе, его закрывают досками, и в комнату не проникает ни один луч. Раз в три дня, когда дают горячее, караульный убирает на двадцать минут деревянные ставни; все остальное время заключенный проводит в темноте.



После первых часов беспомощного блуждания глаза привыкли, и Торстен уже ясно различал тюфяк, кувшин с водой и стульчак. Несмотря на это, он испытывал такое ощущение, как будто ослеп. Первые два дня он бродил какой-то бесчувственный и оцепенелый и думал только о своих избитых членах. Он обтирался холодной водой, делал, поскольку позволяли наручники, массаж, утром и вечером гимнастику.

После трех темных дней и ночей Торстен стал волноваться. Как долго могут они продержаться человека в темноте? Три дня? Неделью? Дольше... невозможно. Какие зверские идеи приходят людям в голову! Но хвала всему, что закаляет человека! Только бы не пасть духом.

Когда он в этой вечной темноте кружил вдоль стен своей камеры, его начинали осаждать беспорядочные мысли, воспоминания, причудливые идеи. Первые дни он отдавался их произвольному течению, но затем стал приучаться мыслить дисциплинированно, стал регулировать свою внутреннюю жизнь. Он давал себе задания и самым тщательным образом их выполнял.

Первое задание был доклад на тему — от изречения кайзера: «Я не знаю больше никаких партий, я знаю только немцев!», до заявления Гитлера: «Я не знаю больше никаких партий, кроме германской национал - социалистской партии!»

Два темных, как ночь, дня Торстен готовился. Он подбирал в памяти материалы: исторические события, личные переживания, высказывания руководящих политических деятелей. Затем принялся за построение доклада, разделив его на отдельные части соответственно послевоенным периодам.

Он представил себе зал, переполненный членами коммунистической и социал-демократической партий Германии, перед которыми ему поручено было выступить.

Торстен говорил с девяти часов утра до двенадцати дня и с трех до пяти. Он убежден, что это был самый основательный и самый лучший доклад в его жизни.

Но потом опять наступали часы, когда ему казалось, что он сойдет с ума. Временами никакие попытки отвлечься не помогали, и он, задыхаясь, бегал во тьме по камере, не в силах ни обуздать, ни собрать свои дикие, неукротимые мысли.

Он призвал на помощь литературу. Торстен до войны был членом «Молодой гвардии» — рабочей молодежной организации того времени; там он получил интерес к художественной литературе, прочел «Фауста», прочел Шекспира и Гебеля, романы Бальзака, Золя, Толстого.

Сегодня Торстен с большим, но вместе с тем радостным напряжением восстановил в памяти надгробную речь Марка Антония, которую он много лет тому назад знал наизусть. Он уже три раза продекламировал ее с начала до конца и радуется этому, как ребенок. А теперь он хочет вспомнить «Благочестивую Елену» Буша.

Но вот он слышит, как в коридор приводят трех новых арестованных. Одного помещают в камеру рядом. Теперь будет занято одиннадцать темных камер.

Вновь прибывший беспокоится мечется по своей камере, как попавшая в клетку мышь. Кто он? Молодой или старый, товарищ или беспартийный? Били его или, быть может, только пригрозили? Ужасно, когда человека так совершенно

неожиданно, бросают в темную дыру и он лишен малейшего представления о том, сколько времени ему придется в ней пробыть.

Новичок перестал бегать. Торстен невольно прислушивается. Что он теперь делает? О чем он может думать? Торстен медленно кружит по камере. С «Благочестивой Еленой» сегодня уж ничего не выйдет.

Новичок стучит в стену. Тихо, чуть слышно. Стучит правильными интервалами. Эта игра доставляет ему, повидимому, удовольствие. Бедняга, не прошло и часу, как он здесь, и уже так волнуется.

Наверху в отделении кальфакторы<sup>1</sup> тащат ведра с чаем. Сейчас принесут ужин. Вот и еще день прошел. Новичок продолжает стучать, но уже гораздо громче. Как бы караульный не поймал его за этим делом. Да, это весьма беспокойный жилец.

Кальфактор уже спускается с лестницы, а тот все стучит. Тогда Торстен ударяет в стену наручниками. Стук прекращается. Как раз вовремя: караульный уже внизу и открывает первую камеру.

Дежурит охранник Ленцер. Если бы Торстен этого не знал, то он мог бы услышать; уже с первой камеры начинается крик, и чем дальше, тем он становится громче. Вот Ленцер подошел к соседу.

— Не можешь, гадина, отрапортовать о себе? Когда дверь отпирается, должен крикнуть: арестованный такой-то! А потом стать у окна руки по швам. Как зовут?

---

<sup>1</sup> Лица, исполняющие различные работы по обслуживанию заключенных, назначаемые администрацией тюрьмы из среды самих заключенных.

— Арестованный Крейбель.  
— Громче, чего шепчешь!  
— Арестованный Крейбель!  
— Еще громче! Чтоб слышно было по всему зданию!

— *Ар. стованный Крейбель!*

— Ну, вот и прекрасно!

Один кальфактор подает Крейбелю кусок черствого черного хлеба, другой зачерпнул из ведра горячего чая и наливает в жестяную кружку.

Новичок шурится на желтый электрический свет из коридора.

Как только караульный запер дверь, Крейбель прижимается к ней и прислушивается. Его сосед рапортует:

— Заключенный Торстен!

Услышав это имя, Крейбель подпрыгивает от радости. Рядом с ним Торстен, депутат рейхстага Торстен, о котором говорят, что от него не удалось добиться ни одного слова. Чорт возьми! надо добраться до него во что бы то ни стало. Есть же какой-нибудь способ связаться друг с другом. О, проклятая стена!

Торстен никак не может понять странного поведения соседа. Этот Крейбель, судя по голосу, долже! быть молодым. Торстен, у которого караульный снял наручники, еще наслаждается горячим чаем, как за стеной снова слышится стук. Торстен не обращает внимания, но затем начинает опасаться, что может войти Ленцер, чтобы опять надеть наручники, и заметить, что стучат. И Торстен несколько раз сильно ударяет в стену. Стук тотчас же прекращается.

Продолжительный свисток. Караульный Ленцер орет:

— «А — один!» По койкам! Семь часов! Время сна!

Торстен снимает с соломенного тюфяка два одеяла, перетряхивает солому и начинает раздеваться. Наливает полный таз холодной воды и обтирается. Обычно он перед сном делает несколько гимнастических упражнений; сегодня же из-за нового соседа так и не пришлось. Кстати, что это он сразу успокоился? Может быть, не следовало так сердито стучать в стену.

Торстен лежит на своем соломенном тюфяке. Семь часов. На дворе еще совсем светло. Семь часов. В это время люди идут в театр, кино; в это время начинаются собрания, заседания. Еще, наверное, и солнце не совсем скрылось. Как чудесны эти дни перехода от лета к осени! Поспевают плоды, листва начинает отливать золотом. Ах, не надо думать об этом! Не надо!

Старший начальник взвода Майзель, начальник взвода Тейч и матрос-штурмовик Нусбек входят в караульную. Там сидят только Ленцер и Кениг.

— Роберт, пойдешь с нами? Мы хотим проведать Кольтвица,— обращается Майзель к Ленцеру.

— Ступай сам, мне неохота.

— А ты?— спрашивает он Кенига.

— Да этот Кольтвиц еще от предыдущей порки не оправился.

— Вот важное дело! Эту еврейскую сволочь нужно каждый день пороть.

Но Кениг отказывается.

Майзель снова глядит волком. Он чувствует, что де-

ло неладно. Уж не замышляют ли они против него заговор? Ну, он этого дожидаться не станет. Он себя в обиду не даст. И не прощаясь, он уходит со своими спутниками.

— Ишь, озверевший хам!— ворчит Кениг.— Я бы на твоём месте вообще не позволял пороть людей у себя в отделении помимо приказа.

— Ба, ведь дело идет об этом еврее из Любека!

— Безразлично. Попробовал бы этот Майзель сунуться в мое отделение!

— Ты знаешь, он бы меня со свету сжил, если бы я ему сказал хоть слово. Да и не желаю я ему мешать,— по мне, пускай перебьет всю эту сволочь.

Торстен лежит в полудремоте с закрытыми глазами — и вдруг вскакивает от шума и топота над головой. Совсем, как третьего дня. Опять кого-то бьют. Он напряженно прислушивается. На одно мгновение все стихает. А затем начинают доноситься звуки непрерывно хлопающих ударов. Один за другим. Хлоп-хлоп! И странно: ни крика, ни стопа. Хлоп-хлоп! Хлоп-хлоп! Должно быть, бьют вдвоем, попеременно. Но почему избиваемый не кричит, не воеет? Кто может выдержать молча такие страдания? А там безустали: хлоп-хлоп! Хлоп-хлоп!

Новый сосед, видно, тоже не спит и стучит в стену. Если те там, наверху, это услышат, то непременно наведаются сюда в подвал. Отчаянный парень! Видно, не сознает опасности. Торстен стучит нетерпеливо, стучит до тех пор, пока тот не прекращает.

Ужасный, животный крик. И снова мертвая тишина. Только слышно хлопанье ударов. Они

его там забьют до смерти. Это непрерывное «хлоп-хлоп! хлоп-хлоп!» может свести с ума.

У Торстена выступил на лбу холодный пот. Кто бы этому поверил! Ему вспоминается ночь в Отряде особого назначения. Перед ним весь штаб штурма и охраны во главе с наместником, тупые, холодные морды, похожий на разъяренного бульдога комиссар с протезом.

А наверху попрежнему: хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп... Пусть бы он лучше кричал. Самое ужасное — это тишина. Но Торстену кажется, как будто все-таки слышны стоны.

Хлоп-хлоп! Хлоп-хлоп! Торстену хочется зажечь уши, но он внушает себе, что это трусость. Хвала всему, что закаляет человека! Что же мы сделаем когда-нибудь с этой озверелой сволочью, которая с такой холодной жестокостью засекает людей до смерти? Что сделаем мы с ними, когда они в день расплаты попадутся нам в руки? Во всяком случае грядущая германская пролетарская революция не погибнет во имя гуманности. Ноябрь 1918 года не повторится.

Его новый сосед встал с постели и босиком ходит взволнованно по камере. Стучать он, очевидно, больше не решается. Бедняга, должно быть, совсем вне себя. В такие ночи никакие нервы не выдерживают. Ведь каждый заключенный может в любую минуту ждать этих палачей. Отданы на расправу двадцатилетним мальчишкам-охранникам!

Можно с ума сойти! Там, наверху, продолжают размеренно, как машина, колотить человека: хлоп-хлоп, хлоп-хлоп!.. И больше ничего не слышно, ничего! Ни стонов, ни жалоб, ни проклятий, ни слов, все только — хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп!..

А остальные? Ниоткуда не слышно ни звука. Они, как и Торстен, лежат на своих койках в холодном поту, дрожа всем телом, во власти бредовых кошмаров, охваченные исступленной жаждой мести.

Страшные, чудовищные видения проходят перед теми, кто в такие ночи лежит здесь, уставившись открытыми глазами в темноту.

На следующий день утром, при раздаче кофе, караульный Ленцер находит заключенного Кольтвица на полу посредине камеры раздетым. Он думает: «Значит, околел», но, подойдя ближе, видит, что тот еще жив.

— Эй ты, падаль, вставай! Что это еще за новая мода, а?

Кольтвиц пытается подняться, но не может. Он начинает плакать, всхлипывать.

Тогда Ленцер вспоминает:

— Ах вот что! Гм! Ну-ка, помогите мне его поднять.

Два кальфактора и Ленцер пробуют приподнять его. Кольтвиц начинает отчаянно кричать. Они оставляют его в прежнем положении, лицом вниз, на каменном полу.

— Однако ничего не поделаешь, мой милый! Нельзя же так оставаться. Ляг на койку! Я позову фельдшера. Ну, вставай, будь молодцом!

Теперь Кольтвиц может лежать целый день. Чтобы успокоить нервы, ему дали какие-то пилюли; на столике рядом со смоляным канатом присыпка для ран. Он обычно щиплет паклю, и в затхлой камере невыносимо пахнет смолой. Кольтвиц осторожно пробует лечь на левый бок; хотелось бы полежать на спине, если бы можно



было выдержать. Ягодицы превратились в какую-то иссиня-черную вздутую массу. Кровоподтеки причиняют страшную боль. Но ужаснее всего болит правая нога, — ушибли ножкой от скамейки коленную чашку. Пониже колена сильная опухоль, и малейшее движение вызывает боль.

Это уже третья ночь, как они за него взялись. Третья ночь! Он знает, что они хотят заставить его повеситься. Вот и канат. Было уже немало намеков. Но он не хочет; он хочет жить, он должен жить, жить для детей, для жены и детей. Только для них, и никогда уж больше — для товарищей.

Товарищи? Эти негодяи? Он, социал-демократ, редактор партийного органа, арестован таким же членом партии, полицей-президентом Мерлейном, и отдан в руки наци. Из-за чего? Почему? Только потому, что он был против унификации газеты. Только потому, что он для них слишком левый. И потому, что он еврей. Товарищи? Хороши товарищи!

Лебер. Этого наци, конечно, прикончат. Что там ни говорите: Лебер — боевая натура, не предатель. А те свиньи сейчас же перекинулись и отреклись и от него и от Лебера. Преподнесли наци газету, сорок тысяч марок наличными и себя в придачу — да и сидят там до сих пор. А что касается «Фольксботе», так вместо трех стрел на главном листе теперь красуется свастика.

Ох, мерзавцы! И для этого он отдал пятнадцать лет своей жизни? И за это его бьют до полу-смерти?.. Негодяи! И этот подлец Мерлейн! Сидит себе в своей вилле в Шлутупе и получает пенсию — пенсию предателя...

Кольтвиц с большим трудом переворачивается с одного бока на другой. На животе он больше

не может лежать. Правая нога неистово ноет. Но наконец ему удалось лечь почти на спину.

Еще не наступил полдень, а он уже с ужасом думает о вечере. Цирбес, который должен сменить Ленцера, — настоящий зверь. Неужели его могут бить в таком состоянии? Могут! Кольтвиц знает, знает на собственном опыте. Они опять завяжут ему лицо мокрым платком и будут бить, пока он не потеряет сознания. Конечно, Цирбес способен на это.

А может быть, и в самом деле сплести себе веревку?.. Не лучше ли самому покончить? Ведь они, пожалуй, будут бить его до тех пор, пока он до этого не дойдет. К чему тогда оттягивать?

Бледный, изнемогающий Кольтвиц волей-неволей посматривает на канат, на волокна, которые он надергал. Да есть ли какой-нибудь другой выход? И в чем он?

Рука сама собой тянется под тюфяк и достает оттуда письма — письма от жены. Он знает их наизусть. Он может повторить их от слова до слова, но ему хочется посмотреть на ее почерк; тогда она как будто тут же рядом с ним, он видит ее перед собою, понимает. Он вынимает одно из конверта и читает, читает и плачет...

«Дорогой мой, сейчас 9 часов вечера. Дети лежат уже в постельках, в доме наступила долгожданная тишина. Но это спокойствие, которое, как казалось, должно было быть так приятно после целого дня волнений, тоже мучительно. Мне нехватает тебя. Что бы я ни делала, о чем бы я ни думала, все недостает тебя. Ведь я раньше не была такой нерешительной, а сейчас мне все хочется сперва спросить тебя, чтобы ты мне посоветовал. Ах, Фриц, как подумать, что тебя держат за решеткой, как дикое, опасное животное, что тебя,

быть может, даже оскорбляют грубыми, бранными словами, не могу успокоиться. Какое, собственно, преступление совершили мы, что нас так наказывают? Но я не хочу больше мучить тебя своими заботами. Нам сейчас плохо, но придет время — и все снова будет хорошо. Не начать ли нам тогда новую прекрасную жизнь, подальше от этой гнусной политики? Зачем приносить себя в жертву другим, вероломным людям? Я знаю много такого, что могло бы доставить тебе радость, и я хочу тогда жить только для тебя. Я знаю, что раньше не всегда было так, я часто поступала эгоистично и скверно по отношению к тебе.

Знаешь, Фриц, любимый мой, несколько дней тому назад, когда я вот так думала о тебе, думала с такой глубокой, скрытой в самых сокровенных тайниках моей души нежностью, мне снова вспомнилась та песня Бетховена, которая нас когда-то сблизила, которая дала начало нашей любви, и теперь она все время не выходит у меня из памяти.

Помнишь ли ты ее еще? Напеваешь ли когда-нибудь про себя?

Люблю тебя, как ты меня,  
Как мы всегда любили.  
Ведь нет ни дня, чтоб ты и я  
Заботы не делили...

Напевай эту песню каждый вечер в 9 часов, тогда наши голоса и мысли встретятся, и, несмотря на тюремщиков, несмотря на стены, мы будем близко друг к другу...»

Кольтвиц смотрит, не отрываясь, влажными от слез глазами на дверь камеры и через нее далеко, туда, в родной Любек. Там, за городом, его домик с палисадником, в котором цветут темнокрасные и чайные розы и горят большие золотистые подсолнухи. Мальчики, должно

быть, лакомятся смородиной и крыжовником, а она хозяйничает в кухне, готовит обед.

Он вынимает еще одно письмо...

«Фриц, дорогой мой, я так давно ничего о тебе не знаю, но я предполагаю, что тебе запрещают писать. Здесь рассказывают, что у вас в лагере стало строже. Надеюсь, что тебе живется сравнительно сносно.

У Бенно неприятности в школе. Его дразнят и обижают. Большинству в классе уже запрещено с ним разговаривать. Помнишь, как господа податные инспекторы и школьные советники подсылали к нам своих детей, когда для того, чтобы пристроить их, нужна была твоя заручка в парламенте? А сейчас все совершенно изменилось. Теперь каждый в отдельности считает своей обязанностью бросить в тебя камнем.

Бенно, по-моему, реагирует на все это не совсем правильно. Он у нас смелый мальчик, конечно, но то, что он именно теперь гордится своим еврейским происхождением, мне неприятно. А он меня не слушает. «Мамочка, — говорит он, — они преследуют и презируют нас, потому, что мы евреи. Но они глупее меня, значит, я, именно я, имею право гордиться тем, что я еврей. И если бы я поступал иначе, я был бы предателем по отношению к отцу, который страдает больше, нежели мы». «Конечно, такой сын не может не радовать сердца, не правда ли? Но если бы он был немного скромнее, мне было бы приятней.

Вчера, во время уборки, мне попала в руки книга, которую ты очень любишь и которую ты часто мне читал: «Китайская лирика». Я стала пересматривать ее, и каждая строфа, каждый стих напоминали мне о счастливом, беззаботном времени. Два стихотворения мне кажутся особенно прекрасными и так подходят к моему теперешнему настроению. Ты, конечно, помнишь их:

Цветом померанца сыпал небосвод.  
Мы едва согреть свое успели ложе.  
Видел нас закат сплетенными, и что же?..  
Уж в разлуке нас застал восход.  
Никогда тебя я не забуду.  
Будь, как храбрый воин, на-чеку.  
В одиночестве льняной убор я тку,  
Подводить бровей уж больше я не буду.  
Взгляд мой вместе с ветром по саду блуждает.  
Много птичек там, и малых и больших,  
Парами всегда я вижу их,  
А тебя увижу ли — кто знает?

А это чудесное стихотворение Ли Тай-пе, которое, как я помню, ты так любишь и несколько раз читал мне. Ах, мне кажется, я была тогда истуканом и только сейчас могу прочувствовать каждое слово:

Солнечный закат окутал желтой пылью город.  
Вороны расселись по деревьям, каркают, качаясь.  
Вонна супруга юная прядет из шелка нити,  
Слышит крик вороний, видит, как устало  
Красные лучи на занавес ложатся.  
Руки замерли. Ее желанья  
К милому несутся в буйной пляске.  
К ложу одинокому она подходит,  
Слезы жаркие в молчаньи проливает.

Печальны и скорбны эти стихи, и такой же печалью и скорбью полна моя душа. Если бы я могла принять на себя хоть часть твоих страданий! Они разделены несправедливо: вся тяжесть их досталась тебе одному. Ведь мы живем в полном довольстве. Бедный мой! Но поверь, что не проходит ни одного мгновения, чтобы мы не вспоминали о тебе. Несмотря на все беды, я твердо убеждена, что мы выдержим это ужасное испытание. И тогда начнем жизнь сначала. Мы будем жить замкнуто, уединенно и будем счастливы...»

Кольтвиц не может больше читать, буквы плывут перед его глазами; он откладывает письмо и долго, как будто в забытьи, смотрит на

грязный, весь в трещинах, потолок. А потом бросается вниз лицом и плачет и всхлипывает.

Около полудня Кольтвиц подымается с матраса. Хотя у него есть разрешение от врача лежать в постели, но Цирбес вступает в дежурство, а Кольтвиц боится Цирбеса. Кожа на ягодице так натянута, что вот-вот лопнет; он чувствует толстые рубцы, какая-то тяжесть сковала ноги; правую он совсем не может вытянуть, — повидимому, повреждены сухожилия в коленной чашке.

Еще до раздачи обеда Цирбес в самом деле приходит к нему в камеру. Как ни старается Кольтвиц взять себя в руки, он весь дрожит.

Цирбес, бывший боцман военного флота, заведомый пьяница и страшный забияка, до 30 марта был хозяином трактирчика «Почтовый погребок», в котором собирались наци. Увидев перед собою дрожащего больного человека, он довольно ухмыляется...

— Ну, как? Вчера вечером они с тобой занимались?

Кольтвиц боится ловушки и отвечает:

— Нет, господин караульный.

— Не валяй дурака! Сними-ка штаны! Ну! Кольтвиц развязывает пояс и спускает брюки.

— Так, покажи! Повернись задом, идиот!

Кольтвиц показывает свое изуродованное тело.

— Это, голубчик, — скалит зубы Цирбес, — будет впредь твоя несмывающаяся краска. И мы уж позаботимся о том, чтобы она не сошла. Как только сотрется, так сейчас освежим.

Когда Цирбес уходит, Кольтвиц ложится на кровать. Он счастлив, что обошлось без побоев, но еще долго продолжает дрожать.

Старший взводный Майзель отворяет дверь в помещения № 1 и № 2 отделения «А1». Старший по комнате кричит:

— Смирно!

Все заключенные встают и становятся на-вытяжку.

— Приготовиться для прогулки!

В комнате начинается страшная возня. Обуваются, надевают казенную одежду, и старший по комнате командует:

— В две колонны по росту стройся! Марш!

Снова является Майзель; все стоят уже выстроившись. Он командует:

— Налево кругом... марш!

Вместе с соседней камерой все направляют-ся во двор.

— Левой! Левой! Левой! Два, три, четыре...

Майзель стоит посредине двора и заставляет заключенных широким кругом маршировать вокруг него.

— На восемьдесят сантиметров от передо-вого!

Майзель не кричит и не раздражается, но следит за каждым в отдельности. И горе тому, кого он приметит.

— Отделение!.. Отставить!.. Будете вы ноги подымать? Отделение!.. Отде-ле-ни-е! Стой!

Восемьдесят заключенных стоят, как стена. Майзель командует поворот направо, лицом к нему.

— Мы будем теперь упражняться ежедневно,— заявляет он,— и я скажу, для чего. Для того, чтобы выбить засевшего в каждом из вас сукина сына. А ну-ка, кто тут чувствует в себе этого сукина сына?

Все восемьдесят стоят, как вкопанные, и

молчат. Майзель высоко поднимает брови и улыбается. Он, взводный Майзель, берется выбить из этой сволочи засевшего в ней сукина сына. Восемьдесят человек по его команде становятся во фронт, бегают, прыгают и маршируют. Ему двадцать лет, — в рядах есть и пятидесятилетние. Вот это называется сделать карьеру! Майзель закладывает руки за спину и шагает перед фронтом.

— Дух противоречия, неповиновение начальству, дерзкое ослушание — все это дело сидящего в вас сукина сына! Подлые мысли, которые из предосторожности не всегда высказываются вслух, тоже дело сидящего в вас сукина сына! Так называемое собственное мнение — это самый верный признак того, что в человеке копошится сукин сын. Он притаился в каждом из вас! Я это знаю и хочу его выбить, выбить так, чтобы вы делали только то, что я хочу, и думали так, как я хочу!

Все молчат, и восемьдесят пар глаз уставились на него мертвым взглядом.

— Поняли вы меня, я вас спрашиваю?..

Некоторые робко бормочут:

— Точно так!..

— Инвалиды и те, которым больше сорока пяти, выйти вперед!

Восемь заключенных выходят.

— У тебя что? — обращается Майзель к одному, помоложе.

— У меня двойная паховая грыжа, господин караульный.

— Старики и инвалиды, стойте здесь, в середине! Остальные, смирно!.. На-лево... кругом! Ровным шагом... марш!

Как на казарменном плацу, маршируют за-



ключенные в строевом порядке на усыпанном песком дворе. Хотя уже и не так жарко, как было несколько дней тому назад, но в узкой, жесткой, застегнутой доверху арестантской одежде и в плотно сидящей на голове шапке тело быстро покрывается потом. Майзель голем расхаживает посреди двора.

— Беглым шагом, марш!.. Отставить!.. При беге руки держать на высоте груди! Беглым шагом, марш!.. Отставить! Как зовут... вот этот... одиннадцатый фланговый налево?.. Да, да, ты... Как?.. Мизике... После ко мне явиться... Беглым шагом, марш!.. Отставить! Третий фланговый с левой стороны — тоже после явиться... Беглым шагом, марш-марш!

Семьдесят два человека бегают по его команде в строевом порядке по двору. Счастливые минуты для старшего начальника взвода Майзеля!

Гармс и Ленцер одни в караульной; Гармс сидит на окне и полирует ногти; Ленцер приводит в порядок свой шкаф.

— Для чего ты брал вчера отпуск? — спрашивает Гармс между прочим.

— Был на танцульке в Форстгаузе.

— Я думал, ты у родных.

— Ну, я хожу туда только поневоле, то того встретишь, то другого, а родственники мои, в сущности, почти все против нас. Как только я приду, так они и молчат, как рыбы. Ничего от них не добьешься. В споры они не вступают, и если я что-нибудь скажу, не отвечают. Мой старик тоже наполовину с ними. Если бы не мать, я бы вообще перестал ходить домой.

— Значит, ты не получаешь из дому никакой поддержки?

— Какое там! Ни пфеннига.

— Выходит, дело дрянь. Как же ты изворачиваешься на свои двадцать марок?

— Паршиво! Но я думаю, что скоро прибавят. Не могут же они постоянно платить нам двадцать марок в неделю.

— Если бы я ничего не получал из дому, я, право, не знал бы, как обернуться. Ведь любой необходимый пустяк обходится не меньше двух-трех марок... Однако Пеппи горячо взялся за дело: парни запыхались, как молодые псы.

Гармс повернулся к окну, смотрит во двор и любит, как Майзель муштрует людей.

— Не дремать, передний!.. Левой! Два, три, четыре... Левой! Два, три, четыре... Ноги выше! Горизонтально подымать!.. Левой! Два, три, четыре... Левой! Два, три, четыре...

Семьдесят два уже пробежали пять раз вокруг двора; некоторые бегут из последних сил и е. е держатся на ногах. Непривычный бег вызывает колотье в боку, прилив крови к голове, боль в икрах. Как избавление слышат они команду: «Шагом!»

— Левой! Левой! Левой! Два, три, четыре...

Медленно собирают заключенные в спокойной маршировке новые силы. Легкие накачивают воздух, сердце стучит, как молоток.

— Левой! Левой! Левой! Два, три, четыре... Свободно размахивать руками!.. Держать шаг!

Гармс вдруг снова поворачивается к Ленцеру, который смазывает жиром свои сапоги.

— Если они говорят, что денег в обрез, то где же справедливость? Почему это Дузеншену платят в четыре раза больше, чем нашему брату? Почему, наконец. — и он понижает голос. —

Эммергузен так чудовищно много получает? Вот сообрази! Как государственный советник—тысячу марок в месяц, это по основному окладу. А сколько в качестве командира полка? Сколько в качестве коменданта лагеря? Это что-то не похоже, на то, чтоб было туго с деньгами.

— Ты прав, конечно, но только будь осторожен, приятель! Не с каждым можно говорить об этом. Например, Пеппи. Он тебя живо упечет. Можно иметь свое мнение, но надо держать язык за зубами. Те, что там повыше, все равно и не почешутся.

— Да, но пусть не болтают о всеобщей нужде и не говорят, что нужно потерпеть, поголодать, когда сами сидят у корыта. Из этого ничего хорошего не выйдет! Но ты, конечно, прав. Такие разговоры я веду только с тобой, а не со всяким.

— Поберегись и Риделя, он наушничает Дузеншену.

— Этого идиота все еще мучают угрызения совести из-за инвалида с Железным крестом и с половиной легкого.

— Мне тоже противны эти комедии. Коммунисты прикончили же нашего Дрекмана, нашего Гейнцельмана, нашего Блекера.

— Красные не признают сентиментов, и нам нечего церемониться с этими босяками.

— Это все только разговоры. Ридель хочет сделать карьеру. Он все наверх смотрит, в начальники метит.

— Тогда я не понимаю, кого он думает удивить своим поведением?..

Майзель не затянул время отдыха, он опять скомандовал:

— Беглый шаг!

Заключенные снова бегают вокруг двора, при-

жав руки к груди. До сих пор он взял на отметку шесть человек. Этим еще кое-что предстоит.

— Ша-г-ом!

С маршировкой дело что-то разладилось. Как Майзель ни старается подбодрить своим: «Левой! Два, три, четыре...» — заключенные задыхаются, пыхтят. Волочат ноги, кто как может. Майзель вспоминает о тех шестерых и решает заняться ими.

— Отделение... стой... Те, которым явиться, выходи вперед.

Все шесть выходят вперед, с ними Мизике, который от непривычных усилий весь позеленел. Испуганно поглядывает он на стоящего перед ним спокойного и даже как будто скучающего Майзеля. Что он скажет? Будет их проиhrать?

— В вас этот сукин сын особенно сильно бунтует, а поэтому необходим маленький добавочный урок! Смирно!..Тебе еще мало, свинья ты грязная?

Мизике хочет извиниться и не решается — словно язык прилип к гортани. Большими испуганными глазами смотрит он на начальника.

— Смирно!

Мизике из последних сил подтягивается.

— Беглым шагом... руки вверх... марш-марш!

Все шестеро бегут один за другим вдоль стены. С первых же шагов у истощенных и обессиленных людей начинает колотиться сердце, легкие отказываются дышать, ноги все больше наливаются свинцовой тяжестью.

— Ложись!

Мизике слышит, но удивленно озирается.

— Ложись! Слушаться команды! Ну, живо! Те, что перед ним и за ним, уже бросились

на землю; он тоже ложится. И теперь пошло раз за разом:

— Ложись!.. Вставай!.. Марш-марш!.. Ложись! Вставай!.. Марш-марш!.. Ложись!.. Вставай!.. Марш-марш!.. Ложись!.. Вставай!.. Марш-марш!..

Мизике машинально падает, вскакивает и снова падает. Он чувствует, как постепенно начинает кружиться голова. «Сейчас упаду в обморок», — думает он. Но он не теряет сознания; он снова бросается вниз и снова с отчаянным усилием вскакивает... падает... бежит дальше...

После того как они два раза обежали двор, падая и вставая, Майзель командует:

— Стой!

«Слава богу, слава богу!» — думает Мизике. Но не тут-то было!

С лицом, не выражающим ни ярости, ни злорадства, Майзель командует.

— Руки на бедра!.. Присесть на корточки! Сидеть!.. Теперь прыжки... Начинай!.. Не-выпрямляться!.. Прыгать, прыгать! Еще, еще!..

Все шестеро прыгают на корточках впереди товарищей, которые видят их страдание и ничем не могут им помочь. Мизике чувствует, что жизнь уходит из него, он прыгает, прыгает, прыгает... Вдруг он чувствует страшный позыв. Он не в силах удержаться. Одновременно его рвет. Он падает.

Майзель велит двум заключенным оттащить его в сторону. Остальные должны продолжать. Только после того как упало еще двое, Майзель велит трем оставшимся вернуться в строй.

Еще два раза проходят заключенные маршем вокруг двора, мимо лежащего у стены в песке

Мизике, и возвращаются в зал. Начальник отделения Цирбес принимает их, ухмыляясь.

Майзель подымается этажом выше — выбивать сукина сына из заключенных помещений № 3 и № 4.

На следующий день утром Цирбес вызывает Мизике из общей камеры.

— Что это ты опять выкинул?

— Что такое, господин караульный? — Мизике начинает дрожать.

— Тебя вызывают на допрос, к самому коменданту. Об остальном у него и узнаешь. Стань вон туда! Вон там!

Мизике становится лицом к стене у входа в караульную. В коридоре нет никого. В караульной громко разговаривают и хохочут. Что ему от него надо — этому коменданту? Может быть, те, с воли, все-таки что-нибудь предприняли? Почти три недели как он арестован. Три недели нет никаких известий от жены. И в эти три недели никто — ни гестапо, ни Отряд особого назначения — о нем и не вспомнили. И вдруг его хочет допрашивать комендант.

Ах, Мизике, неисправимый оптимист! Он чуточку надеется, надеется на хорошее. Ведь должна же в один прекрасный день обнаружиться его полная непричастность!

Из караульной выходит Нусбек. Он видит стоящего у двери Мизике, подбочивается и начинает орать:

— Не соблаговолит ли ты, сволочь паршивая, отойти по крайней мере метра на три от двери! Подслушиваешь? Шпионишь, гадина?!

Мизике в ужасе отскакивает на несколько

шагов от двери в сторону, продолжая смотреть в выбеленную стену коридора.

Нусбек обходит вокруг него на расстоянии и шипит.

— Жидовская дрянь!..

Уж не забыл ли про него Цирбес? Ведь комендант ждет. Мизике начинает беспокоиться. Он надеется на что-то и в то же время боится.

Надзиратель в синей форме приводит заключенного. Мизике осмеливается взглянуть на них сбоку. Заключенный кажется ему страшно знакомым.

— Станьте здесь! Нет, вам не нужно поворачиваться лицом к стене.

Надзиратель уходит в караульную. Мизике еще раз пристально смотрит на заключенного. Тот тоже смотрит на него и кивает.

— Все еще здесь? — спрашивает он шопотом.

Мизике кивает, но не может вспомнить, откуда он его знает.

— Я парикмахер.

Мизике кивает. И тихонько спрашивает:

— Кто ты?

— Да ведь ты знаешь — из ратуши, из большой камеры!

Мизике еще раз смотрит на него и теперь узнает: это магазинный вор. Да, это тот неприятный аристократ-преступник. Синяя арестантская одежда очень изменила его. И он здесь парикмахером?

— Где же ты сидишь?

— Наверху, в звездном здании, — теперь это следственная тюрьма.

— Вас тоже бьют?

— Нет, что ты? С ума спятил?

— А вам разрешается переписка?

— Да, каждое воскресенье, и раз в десять дней можно получать посылку.

— О, вам хорошо! Нам совсем не разрешают писать. Я до сих пор не получил известий от жены.

Ай-ай! Нусбек идет обратно, а заключенный стоит на том месте у двери, откуда прогнали Мизике. Нусбек кричит:

— Это дерьмо все еще стоит там?

И потом, обращаясь к уголовному:

— Что вы здесь делаете?

— Я парикмахер... Сверху... Надзиратель пошел туда.

— Ах, так? Не стойте так близко к двери. Станьте вон туда! Только с той свиньей не разговаривать!

Пришел ординарец из комендатуры. Прежде чем войти в караульную, он спрашивает:

— Кто здесь Мизике?

Мизике откликается.

Тогда он открывает дверь в караульную и кричит:

— Эй, Роберт, я беру Мизике с собой!

— Ладно! И лучше обратно не приводи!

Мизике вводят в небольшой кабинет коменданта.

Комендант лагеря, государственный советник Эллернгузен, в своей коричневой форме сидит в широком, удобном кресле за письменным столом. Возле него стоит Дузеншен. Сбоку письменного стола сидит какой-то господин, которого Мизике не знает. Все трое смотрят на него. Комендант берет карандаш, постукивает попеременно то очиненной, то тупой его стороной по бумаге и задает вопрос:



— Вы когда арестованы?

— Двадцать девятого августа, господин комендант.

— Что это вы дрожите?

— Я... я очень взволнован, господин комендант.

— Господин поверенный,— комендант указывает на посетителя в штатском,— будет вести ваше дело. Все ясно. Вы сознались, и на основании этого будет, очевидно, предъявлено обвинение.

— Но... все это... не соответствует.

— Что не соответствует?

— Я сказал неправду. Я вовсе не коммунист и на самом деле никогда не думал давать коммунистам деньги. Я никогда не занимался политикой. Никогда! Все это лишь какое-то злополучное стечение обстоятельств.

Теперь Мизике знает, что у него есть какие-то возможности, у него есть поверенный, он может, должен говорить откровенно. Он страшно волнуется и смотрит то на коменданта, то на поверенного.

— А зачем же вы сказали неправду?

Мизике не отвечает, но на мгновение взгляд его останавливается на неподвижном лице Дузеншена.

— Господин Мизике,— обращается к нему поверенный,— значит, вы отрицаете правильность протокола ваших показаний?

— Нет! То есть я тогда показал именно то, что записано в протоколе, но это не соответствует истине,— быстро, но осторожно отвечает спрашиваемый.

— Благодарю вас, господин комендант. Я начну дело.

— Итак, ваш клиент вам... больше не нужен?

— Нет.

— Можете идти!

Мизике хочет выйти из комнаты, но адвокат встает и с легким поклоном протягивает ему руку.

— Доктор Пойске. До свидания, господин Мизике. Привет от вашей супруги!

Мизике хватается его руку.

— О, благодарю вас, доктор! Тысячу раз благодарю!

Восемнадцать дней сидит Торстен в темноте. В погребе все темные камеры заняты. За восемнадцать дней прибыло семь арестованных, а было только трое.

Торстен замечает, что, несмотря на все усилия и упражнения, его физическая и духовная сопротивляемость ослабевает. Нервы не выдерживают. Приходится несколько раз в день обтираться холодной водой, кровь бросается в голову.

И как только выдерживают товарищи в других камерах? В каждой темной дыре сидит кто-нибудь, и почти ни звука не слышно. Все они, как и его беспокойный сосед, постепенно станут разбитыми и апатичными. Как это еще никто не дошел до исступления, не сошел с ума?

Торстен сидит, скорчившись, на тюфяке и думает о заключенных товарищах и о всех тех, которые, как и он, день и ночь сидят в беспросветной тьме и не видят конца этому. И самое ужасное — это неизвестность. Никто не знает, когда ему придется увидеть солнце. Никто не знает, увидит ли он его вообще. Как счастливы те, у которых светлые камеры! Одиночество

совсем не так тягостно. Но эта постоянная, вечная тьма!..

Начинаешь бояться собственных мыслей. Чуть только остановишься на чем-нибудь, чуть уйдешь в воспоминания или начнешь мечтать об исполнении в будущем какого-нибудь страстного желания, как вдруг все рушится при одной мысли: все это только для того, чтобы ~~у~~таться, обмануть себя, не думать о своей у~~т~~и...

Торстен серьезно озабочен своим соседом, который вот уж несколько дней, повидимому, совершенно удручен. Он уже прекратил этот бессмысленный стук. Он уже не бегает больше по камере. И как напряженно ни прислушивается Торстен, он больше не улавливает шума шагов. Юноша дошел, очевидно, до точки. Конечно, можно было заранее предвидеть, что темнота быстро сломит этого жизнерадостного друга. Ах, как велики жертвы, которые приходится приносить! Как ужасно медленно и беспомощно ги́нуть в одиночестве!

Если бы еще была какая-нибудь возможность объясняться друг с другом... Ведь Крейбель всегда стучал с какими-то правильными интервалами. Какой-то способ разговора посредством выстукивания существует, но надо знать ключ. Как догадаться, по какой системе он стучал?..

Торстен ломает голову... Азбука Морзе? Нет, это не то. Крейбель делал систематически одну коротенькую паузу и одну подлиннее. Сначала он стучал всегда два раза подряд. Затем еще два раза. Потом один раз и пять раз подряд. После этого три раза и после маленькой паузы снова три раза. А затем?.. Как это было? Он мысленно прислушивается к своей памяти, чтобы вспомнить этот ритм... Напрасно! Но в заключе-

ние, Торстен помнит, Крейбель стучал снова один раз и после маленькой паузы пять раз.

Да, стук повторялся обычно с такими промежутками. Это делалось неспроста.

Несомненно, здесь была какая-то система. Но какая?..

Неужели нет никаких произведений из жизни заключенных, в которых упоминалась, объяснялась бы система перестукивания? Ведь посредством нее заключенные переговаривались друг с другом...

Какие у нас есть описания тюремной жизни?.. Письма Розы Люксембург? Но он не помнит, чтобы там говорилось что-либо об этом тюремном языке. Макс Гельц, Плетнер и бывший анархист Зепп Эрстер тоже писали свои воспоминания о годах, проведенных в тюрьме, но там безусловно нет описания техники перестукивания.

А у русских большевиков? В мемуарах Соколова, Шаповалова?.. Торстен знаком с этими книгами, знает тоже, что много раз заключенным удавалось посредством стука вступать в разговор. Но как они стучали, по какой системе — этого, сколько ему помнится, он не читал.

А Вера Фигнер, эта такая стойкая, такая удивительная женщина из народников? «Двадцать лет Шлиссельбурга — ночь над Россией!..» Наверно, она писала в этой книге о стуке... Разве не посредством стука завязывалась в Шлиссельбургской крепости тюремная дружба между нею и Людмилой Волькенштейн!.. И не у нее ли он и видел таблицу перестукивания?..

Торстен вскакивает с тюфяка и начинает взволнованно шагать взад и вперед по темной камере.

...Какая вообще может быть система высту-

кивания? Выстукивают алфавит. *А* — один, *В* — два, *С* — три, и так далее. Но это невозможно, и сосед между двумя более длинными паузами постоянно стучал два раза.

Два раза?..

Два раза?..

Торстен волнуется все сильнее. Почему два раза?.. Значит, буквы должны быть разбиты на группы...

Каким образом?.. *А* и *В*, а под ними *С* и *Д*, под ними *Е* и...

Нет, это не похоже на то, как он стучал. Он никогда не стучал чаще, чем пять раз подряд. Вот если бы можно было проанализировать на каком-нибудь одном слове...

Торстен — как в лихорадке; он весь горит от нетерпения.

Сколько букв в алфавите? Двадцать шесть. Без йота — двадцать пять.

Двадцать пять!

Двадцать пять!

Пятью пять! Да, верно. Значит первая строчка: *a, b, c, d, e*. Да, так и в книге Фигнер. Конечно!.. Квадрат!.. Он ясно видит его перед собою...

	1	2	3	4	5
1	a	b	c	d	e
2	f	g	h	i	k
3	l	m	n	o	p
4	q	r	s	t	u
5	v	w	x	y	z

Что стучал этот юноша? Надо проверить, та ли это система.

Два раза и два раза — *G*. Один и пять раз—*E*. Три раза и три раза — *N*. Три и четыре раза—*O*. Наконец, один и пять — *E*. Ну, вот! *g-e-n-o-e*, *geno-e??* Ну, конечно! *Genosse!*<sup>1</sup>

Торстен стоит у стены, отделяющей его от Крейбеля. Там лежит юноша, в продолжение долгих дней тщетно старавшийся завязать с ним разговор. Торстен не понимал его. Ведь это так просто, а он сообразил только сегодня, после стольких дней,— сколько их уже прошло! Торстен не сентиментальный человек, но сейчас слезы стоят у него в глазах.

Он торжественно садится у стены и сильно ударяет в нее кулаком.

Из соседней камеры раздается в ответ два коротких стука.

И Торстен начинает выстукивать:

Пять раз	— и один раз	: <i>V</i>
Один раз	— и пять раз	: <i>E</i>
Четыре раза	— и два раза	: <i>R</i>
Четыре раза	— и три раза	: <i>S</i>
Четыре раза	— и четыре раза	: <i>T</i>
Один раз	— и один раз	: <i>A</i>
Три раза	— и три раза	: <i>N</i>
Один раз	— и четыре раза	: <i>D</i>
Один раз	— и пять раз	: <i>E</i>
Три раза	— и три раза	: <i>N</i> <sup>2</sup>

Торстен ждет от соседа дикого взрыва радости. Ничего подобного. За стеной совершенная тишина. Торстен затаил дыхание. Слышен тихий стук:

---

<sup>1</sup> Товариш

<sup>2</sup> Понял.

Один раз	— и пять раз	: E
Три раза	— и три раза	: N
Один раз	— и четыре раза	: D
Три раза	— и один раз	: L
Два раза	— и четыре раза	: J
Один раз	— и три раза	: C
Два раза	— и три раза	: H <sup>1</sup>

Торстен пылает от счастья и стыда. От стыда, что он заставил товарища так долго ждать. От счастья, что разобщенность и гнетущий мрак побеждены. От радости, которую вызвало это первое слово человека к человеку, товарища к товарищу.

А рядом в темной камере на полу сидит Крейбель и нежно гладит холодную каменную стену.

Доктор Фриц Кольтвиц сидит в камере за маленьким столом и щиплет паклю. Он должен делать по килограмму в день. Кольтвиц работает с самого утра и до сна и в последние дни вырабатывает полную норму. Его рабочий день точно распределен. Утром он очищает кусочки каната от смолы и треплет их об ножку столика. После полудня раздирает их на прикрепленном к столу стальном стержне и расщепляет пальцами на тонкие, как шерстинки, волокна, на паклю. Кило пакли — это большая куча.

Два вечера они его не трогают. Но он все-таки не спит, все время пугается, чуть послышится шум, звуки шагов, так и ждет, что они войдут. Правая нога все еще не в порядке. Надо держать ее согнутой, а то больно. Опухоль, однако, сошла. Он не решается обратиться к фельдшеру. Когда тот станет осматривать, он заметит следы

<sup>1</sup> Наконец!

побоев. Тогда караульные подумают, что он для того и обращался, чтобы дать знать, что его бьют.

Время после полудня. Кольтвиц щиплет паклю. Он радуется, что так много сделал; сегодня работа как-то спорится. Щипать паклю — это совсем не такая неприятная работа; и делом занят — и можно думать, о чем хочешь. Перед ним лежат кусочки смоляного каната, его сегодняшний урок.

Корабельный канат напоминает ему о пароходе «Тарагона», на котором он два года тому назад совершил поездку по Средиземному морю. Если бы тогда кто-нибудь предсказал ему, что два года спустя он будет сидеть в тюремной камере и щипать паклю, не совершив никакого преступления, а за то лишь, что он социал-демократ, — Кольтвиц счел бы его окончательно помешанным.

Он вспоминает об апельсиновых и оливковых рощах, пустынных горах, далеких морских видах — и вдруг слышит звуки входящего в замок ключа. Он вскакивает и, хромая, бросается к окну. Входит Ленцер.

— Арестованный Кольтвиц!

— Ну, гадина, как дела?

— Правая нога еще очень болит, господин дежурный, не могу разогнуть.

— Нужно обратиться к фельдшеру. Вот тебе письмо от супруги от любезной! Что это она у тебя стихи пишет?

— Нет, господин дежурный.

— Значит, это не ее стихи, что она тебе в письмах посылает?

— Нет, господин дежурный, это просто те стихи, что мы когда-то вместе читали.



Ленцер глядит на сутулого бледного еврея с гладким, блестящим черепом, смотрит в его большие темные глаза и прыскает со смеху:

— Вы вместе читали?—и довольно скалит зубы.— Ну, и любопытная была, должно быть, парочка!

Кольтвиц читает:

«Фриц, дорогой мой муж, я только сейчас после неудачи с доктором Беренсом повидалась с доктором Рушевенке. Он принял меня очень сердечно и обещал сделать все, что в его силах. Я ему рассказала о твоём предложении хлопотать перед гестапо об освобождении тебя под залог. Он считает это лишним и уверен, что тебя уже недолго продержат. Я ушла от него очень обнадеженная.

В последнее воскресенье я ездила с Бенно в Травемюнде. Был прекрасный день для купанья. Бенно все время говорил о своём папочке. Может быть, в следующее воскресенье мы уже вместе поедem к морю. Я так счастлива! Видишь, Фриц, все проходит, даже самое тяжёлое время!

Я была на приеме у доктора Кронбергера: меня беспокоят верхние зубы с правой стороны. Кронбергер много спрашивает о тебе и шлет тебе сердечный привет.

Третьего дня приходили безработные из Мейслинга. «Здорово, фрау Кольтвиц, как дела вашего мужа?» — «Ах,— говорю я,— пока хорошо!» Ну, они много кое-чего рассказали. На следующий день пришли помочь мне немножко в саду. Не правда ли, трогательно? Они с полудня до заката снимали груши и принесли мне большой букет цветов. Я, конечно, им насыпала корзину груш, хотя они настойчиво отказывались. Если ты осенью еще не вернешься домой, они обещали обработать наш сад. Но это глупости, ты скоро будешь с нами.

Прости, дорогой, что письмо так коротко. Я хочу с двенадцатичасовым поездом выехать в Гамбург, чтобы еще раз лично подать прошение в управление гестапо.

На прощанье еще несколько строк, я знаю, что они тебя радуют. К сожалению, это единственная радость, которую я могу тебе доставить.

Вширь неразумно раскинулись мы, словно плющ виноградный. С кольев сорвавшись, тянулись к солнцу ползучие лозы.

Стелемся мы по вселенной и, множась, кочуем и рыщем В землях, морях и горах, о Эфир-праотец, понапрасну, Ибо в садах твоя жизнь — беспокойная наша отрада. Бросимся мы и в прибой, и к привольным просторам равнины. Но ненасытны мы; бьются вокруг без конца неумолчно В киль валы; хоть и радуется сердце мощь бога морского, Век недовольно оно, век рвется в глубь океана.

Где волны колыханье легко, о, туда кто же в силах, К тем золотым берегам отогнать наш ночующий парус...<sup>1</sup>

Ну, дорогой, потерпи еще немного, чуточку! Твой Бенно шлет тебе привет и поцелуй, я — тоже. Ирена».

Какой счастливый день! Кольтвиц перечитал письмо три раза подряд, а потом еще раз, и смеется и плачет от радости. Видно по крайней мере, что близится конец. Не напрасно пережил он все эти ужасы. Каждая тварь цепляется за жизнь. Ведь жизнь так прекрасна! Эту прелесть и ценность жизни он, в сущности, только здесь впервые и узнал.

Ах! И Кольтвиц вытягивает руки в стороны и вверх, распрямляется, потягивается, так что все суставы хрустят. Как хотел бы он вырваться отсюда... на волю... подальше от людей... в далекие леса... на головокружительные вершины... Он будет лечить свою ногу у хорошего

---

<sup>1</sup> Гельдерлин, «An den Aether».

специалиста. И все будет хорошо. В сущности, ничего серьезного; небольшое растяжение сухожилия, и все.

А товарищи все-таки великолепные ребята! Приходят помогать жене. Да, это товарищи. настоящие друзья. А те, другие, которые цепляются за чиновничьи оклады и пенсионные кассы,— это отъявленные прохвосты! Ах, лучше забыть! Не думать об этом. Забыть! Забыть!

Вот хорошо, что он весь день так прилежно работал! Теперь он может ничего не делать. Кольтвиц ходит, ковыляя, вокруг своего рабочего стола. В голове его бродят самые смелые мысли.

— Смирно!

В камеру входят: начальник отряда Дузеншен, караульный отделения Цирбес и инспектор лагеря Реймерс.

Староста вскакивает и рапортует:

— «А—один», камера два, тридцать восемь человек, две койки свободны!

— Вольно!

Дузеншен делает несколько шагов.

— Слушайте! К вам прибудет новый коллега,— коллега хоть куда: один из социалистических бонз — Шнееман. Многие из вас знают его. У него на совести не только наши, но немало и ваших. Он неплохо доносил на вашего брата в полицию. У вас, таким образом, имеются все поводы к тому, чтобы принять его, как подобает. На все, что произойдет здесь в течение ближайших часов, я закрываю глаза.

Он поворачивается к Цирбесу и делает знак головой. Тот идет к двери и кричит:

— Сюда!

В камеру торопливо входит социал-демократ Шнееман: маленький, толстенький, круглоголовый, волосы бобриком. К нему обращаются тридцать восемь пар глаз. Многие из заключенных знают новичка: он не раз врывался со своим летучим полицейским отрядом на собрания коммунистов, срывал их, арестовывал присутствующих на них рабочих и передавал их в руки полиции.

Дузеншен неторопливо выходит из камеры. Он ухмыляется. Цирбес значительно смотрит то на заключенных, то на вновь прибывшего. И тоже ухмыляется. Последним уходит, скаля зубы, инспектор лагеря Реймерс.

Заключенные стоят еще некоторое время в нерешительности и смотрят на новичка. Тот бросает свой узелок с тюремными вещами, который он держал подмышкой, на пол.

Первый прерывает молчание моряк Кессельклеин; он поглаживает татуированные руки и говорит:

— Ну, мы это живым манером обделаем. Я уже давно ждал такого случая!

— Пусть сразу поворачивает оглобли, — горячится желторотый Али. — Выкрасить и выбросить! не желаем, чтобы такая свинья с нами сидела!

Волнение растет. Раздаются угрозы. Другие начинают уговаривать, унимать, призывать к спокойствию. Социал-демократ неподвижно стоит у двери. Он изумлен, испуган таким выражением ненависти к нему. Он не решается сдвинуться с места.

— Эй, дайте ему кто-нибудь в морду, этому сукиному сыну!

— Бейте предателя рабочих!

— Товарищи, так нельзя! Это никуда не годится!

Во все разрастающийся шум вмешивается Натан Вельзен, староста.

— Слушать! Товарищи! Нужно хорошенько подумать над тем, что мы делаем. Кто этот вновь пришедший — мы знаем. Всего, что он позволял себе по отношению к нам, здесь не перескажешь. Но я спрашиваю вас: правильно ли будет, если мы, коммунисты, станем здесь, в лагере, бить его по приказанию наци? Я думаю, что это неправильно! Это совсем не соответствует нашим большевистским убеждениям! Когда и как мы посчитаемся с этим молодцом — это мы сами решим. Мы не должны потворствовать кровавой работе наци даже тогда, когда нам бросают под ноги такого вот предателя рабочих. Это мое мнение. А теперь скажите ваше.

Долгое, нерешительное молчание. Одни одобрительно кивают, другие возбужденно ходят взад и вперед. Социал-демократ стоит смущенный, тяжело дыша, у двери, подле своего узелка и смотрит мимо устремленных на него взглядов.

Вельзен пользуется авторитетом у товарищей; они очень считают с его мнением. Он старый партийный работник, уже не в первый раз сидит в тюрьме. Наци назначили его старшим по камере для того, чтобы заставить его, еврея, отвечать за все нарушения порядка. Заключение угадали это намерение администрации и расстроили ее план путем добровольной строгой самодисциплины.

Мизике, который находится в этой же камере, что-то тихонько шепчет своему соседу по кровати. Тот кивает, встает и кричит:

— Мизике говорит дело!

— Что там? В чем дело? Ну, говори скорей! — подбадривает его Вельзен.

— Мизике думает, что они отомстят, если... если мы этого не сделаем. И в особенности тебе... они тебе отомстят!

Подобные же предположения начинают высказывать и другие.

— Это, товарищи, — возражает Вельзен, — никогда не должно удерживать нас от того, чтобы поступать правильно. И если они станут применять к нам репрессии, придется с этим смириться.

Снова продолжительное молчание.

Новичок стоит, как оцепенелый; лицо его посерело и осунулось.

— Я думаю, мы примем мое предложение, не правда ли?

Молчание заключенных выражает согласие.

— А теперь, Герман, покажи вновь прибывшему его койку. За каким столом есть свободное место? За третьим? Тогда примите его. Покрыть постель и надеть одежду!

Новичок приводит в порядок свою постель, надевает черную в коричневую полосу одежду и садится в стороне на табуретке у окна. Никто из тридцати восьми не обращает на него внимания. Лишь то один, то другой бросает на него украдкой мимолетный взгляд. Играют в шашки и в карты, как будто ничего не случилось. Ходят группами между столами и о чем-то спорят.

Через час приходят Дузеншен и Цирбес. Они тотчас же замечают, что социал-демократа не тронули.

— Вот те раз! Ты только погляди на них, — сдерживая ярость, шутит Дузеншен, — коммунистов и социал-демократа водой не разо-

льешь! А эти молодцы еще уверяют, что социал-демократы их враги. Значит, вы не желаете? Ну, ладно. Староста, построить всех в две колонны!

— В две колонны стройся, марш-марш!

Спустя несколько секунд тридцать девять заключенных выстраиваются перед начальником.

— Теперь давайте-ка мы вас хорошенько погоняем!

Ровным шагом проходят они через коридор во двор, и здесь начальник изливает свой бешеный гнев на все тридцать девять человек. Он гоняет их по двору, заставляет падать и вставать, падать и вставать, сгибать колени, прыгать вокруг двора, ползать на животе, опять бежать вокруг двора, снова ложиться и вставать, ложиться и вставать, пока, наконец, сам теряет голос, а заключенные доходят до полного изнеможения и совершенно обессиленные шатаются, как пьяные.

Два дня заключенные, подавив свой гнев и протест, продолжают сторониться социал-демократа Шнеемана. Они не причиняют ему никакого зла, но все его избегают, никто с ним не разговаривает, никто не предлагает ему поиграть в карты или в шашки. Мизике не может больше терпеть этого; ему жаль маленького толстенького человека. Ему непонятно поведение коммунистов. Если там, на воле, они могли быть против иками, то зд сь, перед лицом общего врага, они должны поддерживать друг друга. Что они его не избили — это великолепно, считает он теперь, задним числом, хотя тогда именно у него и были на этот счет сомнения. Но зачем мучить так человека общим презрением? Нет, Мизике считает, что коммунисты поступают не так, как следует.

Когда он заговаривает с социал-демократом многие поглядывают на него, но ничего не говорят. Шнееман с готовностью отвечает Мизике на все вопросы, чувствуя к нему благодарность за то, что он нарушил всеобщее молчание. Мизике узнает, что Шнееман был управляющим газовыми заводами и депутатом от гамбургских граждан; арестован за то, что призывал рабочих государственных предприятий к подпольной работе. Шнееман уверяет, что он никогда не оказывал полиции услуг в качестве шпиона, и даже тогда, когда его партия была у власти.

Мизике нравится Шнееман: он разговорчив, с ним можно обо всем поговорить — о путешествиях, семье и даже о делах, и он сходится с ним все ближе...

Мизике и Шнееман беседуют по поводу наци. Заключенные прислушиваются. Подходит Вельзен:

— В чем дело, Фите?

— Да вот опять этот соци.

— Если ты хочешь поговорить с нами на политические темы, то тебе стоит только заявить об этом. Ты, правда, Шнееман, а не рядовой социал-демократ рабочий, но не воображай, что мы избегаем разговаривать с тобой, потому что боимся твоего уменья говорить.

Вокруг них собираются заключенные. Партии в шашки остаются недоигранными. Даже беспокойные, не знающие отдыха, прекращают свою беготню по камере. Воцаряется тишина.

Вельзен обращается не только к социал-демократу, не только к Мизике, но ко всем, в том числе и к своим товарищам. Он говорит спокойно, понизив голос, и смотрит при этом на слушающих. Одни одобрительно кивают, другие при-



стально смотрят в пространство, как бы еще раз переживая все, о чем вспоминает Вельзен. Социал-демократ, сидевший сначала спокойно и не шевелясь, начинает к концу ерзать на табуретке, все чаще подымает руку, как будто хочет возразить, но никак не может дождаться своего слова.

Вельзен говорит о политике социал-демократов в 1928 и 1929 годах.

При социал-демократическом канцлере Мюллере был построен броненосный крейсер «А», но зато средства на питание детей урезаны... Это Зеверинг запретил союз красных фронтовиков и разрешил фашистские военные организации, ибо как он сам выразился, он хотел уничтожить каждого десятого коммуниста... Профсоюзный лидер Тарнов на конгрессе в Лейпциге изображал социал-демократию, как врача у постели больного капитализма, и призывал рабочих к еще большей умеренности... Социал-демократ Кюнстлер обозвал три четверти миллиона коммунистических избирателей в Берлине люмпен-пролетариями... Это социал-демократы — в Гамбурге, в частности Шенфельдер, — запретили газеты, демонстрации и собрания коммунистов и вырвали из рук рабочих последний револьвер, в то время как фашисты усиливали свой террор...

Вельзен говорит и говорит, вспоминает бесчисленных, многими пережитых событиях, сокращении заработной платы, срыве стачек, провале собраний...

— Вот видите, — заканчивает он свое выступление, — так политика социал-демократии расчищала дорогу фашизму, вот как его вели к власти с одной ступеньки на другую. Социал-демократические вожди видели главную свою

задачу в том, чтобы не обмануть доверия своих хозяев — капиталистов. Благодаря такой политике в Германии власть свалилась фашистам прямо с неба. Вспомните только двадцатое июля, государственный переворот Папена. И потому, что мы добивались всеобщей забастовки, эти ваши мудрые государственные мужи, ваши реальные политики стали предостерегать от нас рабочих, стали выставлять нас провокаторами. Вы тогда апеллировали к трибуналу Республики, и за это наци теперь мстят. Мы апеллировали к рабочим, и за это нас хотят стереть с лица земли...

Заключенные сидят молча вокруг своего товарища, и каждый погружен в собственные мысли, в собственные воспоминания.

Шнееман после этой речи и последовавшего за нею гнетущего молчания становится еще беспокойнее, он несколько раз поводит ладонью по взъерошенным волосам и начинает говорить неестественно глубоким и серьезным тоном.

— Многое... многое совершенно верно! Моя партия делала ошибки, крупные ошибки. Она и сама за них дорого расплачивается. Итак, не будем отрицать ошибок прошлого. Но поверьте мне, мы получили хороший урок. И эти ошибки больше не повторятся.

Дузеншена требует к себе комендант лагеря. Комендант Эллернгузен считает Дузеншена усердным, надежным, ни перед чем не останавливающимся солдатом, который путем необходимой жестокости умеет создать себе авторитет среди подчиненных. Со своей стороны Дузеншен уважает коменданта, так как ему довелось узнать его как храброго солдата. А это единст-

венное качество, которое для Дузеншена может иметь значение. К этому присоединяется и то, что комендант по происхождению и образованию выше его. Эллернгузен не только комендант лагеря, но и командир штурмового полка, а также член Гамбургского государственного совета. Таким образом, начальник Дузеншена — человек с весом, и его покровительство сулит прекрасную карьеру.

Такой неурочный вызов к коменданту случается редко. Встревоженный, не зная, для чего он понадобился, Дузеншен входит в его кабинет.

— Хейль Гитлер!

— Хейль Гитлер!.. Начальник отряда, я вызвал вас потому, что мне нужен ваш совет. Вы знаете о рапорте старшего взводного Майзеля на отделенного Риделя. Мне кажется, что Майзель по существу прав. Нельзя допускать, чтобы один обвинял другого в трусости и тому подобной подлости. Они оба хорошие солдаты. Надо дело уладить. Как вы думаете?

Дузеншен соображает. Ридель — его личный друг; но правота на стороне Майзеля. Он объясняет коменданту обстоятельства дела: рассказывает про инвалида войны Нагеля, про раскаяние Риделя, про вызывающее поведение Майзеля и последовавшую затем драку.

— Гм! — произносит комендант. — Это мне совсем не нравится! Ридель, повидимому, не годится для тюремной службы. Пожалуйста, чтобы не было никаких сентиментальных бредней! Только этого не хватало! Это надо немедленно искоренять. Вы что предлагаете, начальник отряда?

Дузеншен смущен: он ожидал иного результата от своего доклада. И теперь отвечает нерешительно:

— Да, да... это, конечно, правильно... Но вообще Ридель совсем не такой. Я сам не понимаю этого... Но если господин комендант считает нужным, то можно дать ему работу в канцелярии. Может быть, можно откомандировать его в ординарцы или... Ну, да, вот мои предложения.

— Раз навсегда, начальник отряда, — никакой гуманности! Не допускать никаких разговоров с заключенными. Менять караульных по отделениям по крайней мере каждые четыре недели. Так, как мы уже об этом сговорились. Момент для ослабления узды еще не наступил. Лагерь — это не тюрьма и не исправительный дом: лагерь должен выполнять свои особые задачи. Я еще раз повторяю вам это. Он должен внушать каждому врагу государства страх и ужас. Кто побывал там хоть раз, тот до конца жизни должен вспоминать это время с трепетом. Мы не можем действовать на этих отъявленных государственных преступников убеждением, — на этом и провалились наши предшественники, — мы должны их терроризировать, так терроризировать, чтобы они уже никогда больше не осмелились поднять руку на государство. У нас все еще нет должного порядка. А это оттого, что такие взгляды, как у Риделя, не искореняются. Посмотрите на Дахау. Там почти ежедневно кого-нибудь убивают при попытке к бегству. И что мы видим? В Южной Германии враги государства дрожат при упоминании Дахау. Или Ораниенбург! А у нас? До августа месяца здесь был настоящий санаторий. Посылка за посылкой. Посещения. Спорт. Не-е-т, такими средствами мы коммунистов не запугаем. Мы устроили наш лагерь и выбрали в качестве караульных морских охранников, так как нам надлежит действовать

со всей полнотою власти. Иначе придется прибегнуть к чрезвычайным мерам.

Дузеншен совершенно изумлен. Он ожидал всего, но не этого. Комендант считает обращение с заключенными слишком гуманным!

Он велел устроить темные карцеры, штрафные упражнения, отвел две камеры для порки, смотрел обычно сквозь пальцы, когда заключенного запарывали до смерти, и он считает, что не заслужил упрека в гуманности.

Чтобы что-нибудь ответить коменданту на его обвинение, Дузеншен ссылается на то, что, к сожалению, нет достаточно работы, чтобы занять всех тысячу сто заключенных. Сто двадцать человек работает на разборке здания, шестьдесят во дворе, около восьмидесяти одиночных шиплют паклю, а большинство — свыше восьмисот — сидит без дела.

— Это ничего не значит. Безделье усугубляет наказание. Обратите внимание, сколько просьб дать работу! Наоборот! Особенно сидящих в одиночках надо оставлять без работы. Я думаю, что мы передадим пеньку в общие палаты. Но о подробностях мы еще поговорим...

Эллернгузен встает с кресла и, стоя у письменного стола, смотрит мечтательно в окно, на площадку тюремного двора.

— А Риделя... мы переведем его в канцелярию. Это удовлетворит и Майзеля. Уладьте это. Поговорите с теми и с другим. Но если еще раз дойдет до драки, то участникам это так гладко не сойдет.

Дузеншен в первый раз уходит от своего коменданта разочарованным и даже сердитым. Он чувствует себя несправедливо обиженным; для упреков, по его мнению, нет ни малейших оснований.

А впрочем, если комендант придерживается такого мнения, пусть будет иначе, за ним дело не станет. Он не даст повода к жалобам на чрезмерную гуманность.

Дни Торстена снова приобрели смысл и содержание. Перестукивание — великолепное открытие, надо было бы обучить ему всех заключенных, в особенности одиночников. Сколько любви и привязанности, сколько участия и заботы можно вложить в это тихое выстукивание! Стук сближает людей, которые никогда не видели друг друга, никогда словом не перемолвились, — и они могут рассказывать о своей жизни, заботах, надеждах и тревогах.

Так как у молодого Крейбеля больше сноровки, то первые дни он стучит почти один. Торстен только слушает. Он узнает, что его сосед уже много лет в партии. В заключении находится уже семь месяцев; его приговорил еще прежний гамбургский демократический коалиционный сенат, а социал-демократический полицей-президент Шенфельдер подписал приказ об аресте.

Какая бесконечная напряженная и утомительная работа — выстукивать букву за буквой, и как это вместе с тем облегчает заключение! Сидишь безвыходно в темной камере, окруженный толстыми каменными стенами, в пронизывающей до костей сырости погреба, не слышишь ни звука, только слабое шарканье шагов, кашель и сморканье выдают присутствие человека в этой могильной тьме, — и вот легкий стук торжествует над самым изобретательным зверством, помогает преодолевать оторванность, молчание, отчаяние...

С 1 марта, то есть семь месяцев, длится тюремное заключение Крейбеля, и, конечно ему неизвестен материал подпольной работы партии, — думает Торстен, — он не знает постановлений ЦК и ИККИ после захвата власти Гитлером, не знает статей, в которых говорится о наших ближайших задачах. Ничего не знает, возможно, о всемирной экономической конференции, о процессе, созданном в связи с поджогом рейхстага. Перед Торстеном очень серьезная и важная задача: информировать товарища.

Крейбель принимает предложение с большим воодушевлением. Торстен обещает, что на следующий день между часом и пятью он простучит ему краткую сводку по двум вопросам: правильна ли была мартовская политика партии, и каковы позиции германской социал-демократической партии после захвата власти Гитлером. Торстен не соглашается на просьбу Крейбеля простучать ему что-нибудь сегодня же вечером, так как в ночной тишине их могут поймать. Однако эта ночь начинается не тишиной. Слышен шум на лестнице в погреб. Вслед за этим открывается первая камера, раздаются пощечины, удары по телу, крики избиваемого, плач, стоны.

Затем открывается вторая, третья камеры, четвертая... И везде удары, громкие крики. У камеры Торстена палачи останавливаются, в нерешительности переговариваются и проходят мимо. Дверь в камеру Крейбеля с шумом отворяется. Дузеншен, Цирбес и Майзель хором рычат:

— Долой с постели!

Крейбель вскакивает и стоит перед тройкой в ночной сорочке. Дузеншен включает свет. У Цирбеса и Майзеля длинные, сплетенные из бегемотовой кожи хлысты. Крейбель защищает рукой

отвыкшие от света глаза и, мигая, как сова, смотрит на незваных гостей.

— Как живешь?— спрашивает Дузеншен. — Ну, отвечай, как живешь?

Крейбель отвечает:

— Хорошо.

— Это что-то с заминкой у тебя выходит. И только хорошо? Только хорошо?

Крейбель молчит.

— Тебе живется только хорошо?

— Мне живется очень хорошо.

— Тебе живется только очень хорошо?

Крейбель молчит.

— Нагнись!

Крейбель нагибается. Дузеншен накидывает ему рубашку на голову, обматывает ею лицо и пригибает его книзу. Цирбес и Майзель бьют его плетками по голому телу.

Затем Дузеншен приподымает его кверху и спрашивает:

— Как живешь? Только очень хорошо?

Что ему отвечать? Крейбель не знает. Снова пригибают его книзу, снова свистят хлысты по его израненному телу.

Наконец они уходят. У двери Дузеншен еще раз оглядывается:

— Небольшая добавочная порция, которая будет перепадать теперь почаще. Вам, свиньям, в самом деле живется не только хорошо, не только очень хорошо, но *слишком* хорошо.

Крейбель слышит, как они входят в камеры рядом, слышит свист хлыстов и вопли заключенных.

Немного спустя после того как они ушли, Торстен стучит:

— чего — они — хотели?



— ничего — особенного, — стучит Крейбель в ответ, — только — добавочную — порцию — потому что — нам — слишком — хорошо — живется.

Они больше не стучат. А вой заключенных раздается уже в верхних камерах.

Воскресенье. Чудесное октябрьское утро. Пестрая листва деревьев, растущих по ту сторону тюремной стены, вся пронизана солнечными лучами. Ветви гнутся под тяжестью желтых груш и красных яблок. Вдали по улицам Фульсбюгтеля со звоном катится тележка молочника. Над тюрьмой в безоблачном небе кружит самолет метеорологической станции ближнего аэродрома.

В тюрьме тоже праздничная тишина.

Одиночники, скрестив руки, сидят на своих табуретках и мечтательно смотрят в небо сквозь решетки окон или беспокойно шагают взад и вперед.

Заключенные в темных карцерах, скорчившись, как всегда, в каком-нибудь углу, грезят о свете и солнце, о деревьях и птицах. Они слепы. Они не знают, как прекрасен этот осенний праздничный день.

У Гармса воскресное дежурство. Он играет на органе в тюремной школе. Молчаливая тюрьма наполняется торжественными звуками. В органе испорчено несколько труб, и некоторые клавиши издают лишь какое-то хрипенье. Гармс осматривает орган и видит, что многих труб не хватает.

— Ну, это уж слишком! — возмущается он и идет в караульную поделиться своим открытием с Цирбесом.

— А ты разве не знаешь? — удивился Цирбес. — Ведь там прекрасное олово. Мы из него зака-

зываем броненосцы. Замечательно получается! Некоторые из четвертого отделения делают их поразительно искусно.

— Что вы заказываете из органичных труб?

— Броненосцы... Модели «Потемкина». Надо бы тебе их посмотреть. У Тейча есть один и, кажется, у Майзеля.

— Но ведь это значит попросту ломать орган.

— Уж не считаешь ли ты, что концлагерь— это концертный лагерь? Органная музыка... Подумаешь!

— И это делается с разрешения коменданта?

— Да что с тобой, наконец? Точно это государственное преступление! Знает ли об этом комендант? Понятия не имею. Очень возможно, что у него самого уже есть такая игрушка или же что он ее заказал. Спрос большой!

Гармс возвращается в школу. Он долго осматривает поврежденный орган, чтобы узнать, каких труб нехватает и какие испорчены, берет аккорды. В то время как он погружен в это занятие, снаружи раздается выстрел.

— Вот те на! Откуда это выстрел?

И он бросается из комнаты. Цирбес тоже в коридоре. Они бегут во двор. Часовой у стены показывает вверх.

— Что? Где?— кричит Цирбес.

— «А—три», четвертая камера.

Цирбес и Гармс мчатся вверх по лестнице в отделение «АЗ». Уже в коридоре слышны стоны.

— Ну да, здесь!

В камере лежит под окном подстреленный заключенный. Не мог оторваться от окошка...

Цирбес отпирает дверь. Раненый, совсем еще молодой человек, лежит на полу, держится

обеими руками за голову и стонет. Караульные подходят к нему.

— Что, попало? Ну, покажи!

Заключенный отводит от лица окровавленные руки. Рана навыворот. Пуля попала под челюсть и вышла ниже левого глаза. Кровь так и хлещет.

— Вопреки запрещению смотрел в окно?

Раненый глядит на вошедших расширенными от ужаса и боли глазами и кивает головой.

— Сам виноват! Ведь ясно сказано: выглядывать из окон запрещено.

Цирбес и Гармс стоят в нерешительности.

— Дерьмо проклятое! Из-за этого идиота наживешь еще неприятностей.

Цирбес смотрит на Гармса:

— Что же делать?

— Сведем его вниз и вызовем фельдшера. Что же еще?

— Ты можешь подняться? Ну, так вставай, идем!.. Возьми полотенце и прикрой лицо, а то изгадишь коридор и лестницу.

Раненый, скорчившись от боли и тихо стелаясь, плетется за дежурным вниз по лестнице в отделение «А1».

— Становись тут! — Цирбес указывает ему место у стены. — Или сядь на пол, если не можешь стоять.

Заключенный соскальзывает по стене на каменный пол, прижимая к лицу пропитанное кровью полотенце. Он не жалуется, не кричит, и сквозь полотенце прорывается только монотонный стон.

— Фельдшера нет, — говорит Гармс, стоя у телефона.

— Чорт возьми! Придется позвонить доктору Гартвигу.

— Какой номер?

— Да я не знаю. Разве можно помнить все телефоны!.. Позвони-ка еще раз туда, напротив. Если нет фельдшера, пусть придет кто-нибудь другой... Кто может сделать перевязку.

Проходит час. Никто не идет помочь раненому. Он лежит, прислонившись к коридорной стене, и стонет:

— Помогите! Помогите!

Цирбес и Гармс запирают дверь в караульную. Всхлипывания и стоны переходят в громкий жалобный крик:

— Помогите! Помогите!..

Крик разрастается в звериный вой:

— Помогите! Помогите!..

Гармс выходит в коридор.

— Да, мой милый, теперь ты чувствуешь, что это значит? Так же вот лежали наши товарищи, подстреленные вами. Они околевали в таких же мучениях. Вспомни Гейнцельмана. И нечего вам ждать от нас пощады!

— Помогите! Помогите!..

Гармс уходит. Через несколько секунд по тюрьме снова разносятся звуки органа. Но они не могут заглушить вырывающегося в предсмертном страхе воя:

— Помогите!.. Помогите!..

Тогда Гармс в порыве циничной веселости начинает наигрывать мелодию модной песенки:

Спи; дружок, твой сон усеют розы,  
Спи, дружок, амур навевает грезы...

Мелодию разрывают сипящие звуки испорченных труб. И эта органная какофония сливается со стонами, криками, проклятиями раненого

— Помогите, помогите, помогите!.

В двери камер летят табуретки.

— Бандиты! Убийцы! Палачи! — разносится по коридору.

Часовые бегают по двору с направленными на окна винтовками. Цирбес и Кениг, караульный из корпуса «Б», перебегают от одиночки к одиночке, грозят расшумевшимся заключенным поркой и карцером. Но шум и крики все усиливаются.

— Звони в больницу! Пусть пришлют карету! Сейчас же!

Гармс звонит по телефону. Цирбес и Кениг тащат обессилевшего раненого в помещение для угля. Дверь запирают. Теперь никто не услышит его воплей.

— Ну, а уж скандалистов я возьму в переделку! — неистовствует Цирбес. — Какое нахальство! Наглость какая!

Через десять минут в тюремный двор въезжает санитарный автомобиль. Цирбес и Гармс спускаются в подвал. Раненый, вытянувшись, неподвижно лежит на покрытом угольной пылью полу.

— Вот еще чего недоставало! Теперь обморок, — вздыхает Цирбес. — Вытащить его наверх! Тем, из больницы, незачем свой нос сюда совать. Берись! Подымай!

Санитар подходит к умолкшему раненому и подымает ему веко.

— Да ведь он умер!

— Как! уже умер? — удивленно спрашивает Цирбес. — Каких-нибудь десять минут назад еще ревел, как бык!

Гармс дает краткие сведения о личности умершего. Легко и бесшумно выезжает карета за ворота лагеря. Минует разукрашенные осенью фруктовые деревья инспекторского сада и направляется вниз по Фульсбюттельскому шоссе.

— По койкам! И соблюдать тишину!

Сигнал ко сну. Еще нет шести часов. Совсем светло. Еще высоко стоит над деревьями раскаленное докрасна солнце. Караульным корпуса «А» хочется поиграть в скат, и поэтому они заставляют заключенных укладываться в постель раньше времени.

В огромном здании, где заключено несколько сот человек, тихо, как в море. Кажется, что Ленцер, который идет по коридору своего отделения, громко напевая: «Спустя сто лет вернется вновь весна...», — единственное живое существо в этих стенах. А между тем сотни людей лежат здесь с открытыми глазами на своих койках, запертые, как дикие звери, в одиночки, в темные карцеры.

— Слышно, как муха пролетит! — такими словами встречает Ленцера улыбающийся Кениг.

— Дисциплина! Дисциплина! — гордо отвечает тот. — Начинают привыкать. Гады!

— У тебя карты здесь, внизу?

— Да, кажется, в шкапу. До скольких будем играть?

— Давай «пивной» — до пятисот одного. С ремизом и прикупом.

Входит третий партнер в скат — Нусбек.

— Хейль!

— Хейль! — отвечают Кениг и Ленцер.

— Представьте себе! Один из моего отделения вдруг стучит в дверь и, когда я подхожу, кричит: «Вы ошиблись, еще нет семи часов, сейчас только шесть!»

— А ведь он прав.

— С удовольствием дал бы ему по морде! Такие нахалы!

— А кто это? — Ленцеру сменно. — Смелый!

— Ты его знаешь. — Динельт. Красный мо-

ряк, тот, что участвовал в нескольких столкновениях. Кроме того, он замешан в деле «Адлер-отеля». У парня еле голова на плечах держится, а нахальства на десятерых.

В караульную входит Майзель. После того как донос на Риделя имел успех, он стал еще ретивее, еще чаще берется за плетъ. Вот и сейчас он входит с озабоченным, взволнованным видом и кладет газету на стол.

— На, прочти! Это все та еврейская сволочь, что сидит тут у нас!

Тейч, который всегда виляет перед ним, как собачка, добавляет:

— Он так же ответствен за это убийство, как и Лебер!

В газете «Любекер Генеральанцейгер» Кениг и Ленцер читают, что главным подстрекателем социал-демократов в Любеке был редактор д-р Кольтвиц, находящийся в настоящее время в гамбургском концентрационном лагере «Фульсбюттель». Этот Кольтвиц является также идейным соучастником совершенного в феврале этого года возмутительного убийства штурмовика-матроса Брюгмана. Никто так не натравливал обманутых членов союза рейхсбаннера на национал-социалистов, как этот еврей.

Ленцер молча отодвигает газету.

— Вас это совершенно не трогает? Не так ли? — рычит Майзель, напрасно ожидавший взрыва негодования.

— В этом нет ничего нового. О том, что этот Кольтвиц был редактором, мы и так знаем, что он еврей — нам тоже известно. Что он натравливал — об этом нетрудно догадаться.

— Нехватает только, — шипит Майзель на своего друга, — чтобы ты ему простил!

— Уж слишком большая сволочь этот Кольтвиц, его бы следовало совсем по-иному взять в оборот,— поддакивает Нусбек Майзелю.

— Вот именно! Для этого я и пришел. Нужно его еще раз как следует «допросить». Пойдем со мной, Герман!

Майзель и Нусбек приносят из школьной комнаты плети. Тейч вместо плети берет бычьей жилу.

Кольтвиц помещается в четвертой, от школьной комнаты, камере. Когда они открывают дверь, тот стоит уже, дрожа, у окошка и рапортует, как требует Дүзеншен:

— Арестованный Кольтвиц! Я еврейская свинья! Я еврейская свинья!

Майзель прислоняет плеть к стене камеры и достает газету «Любекер Генеральанцейгер».

— Ты знаешь доктора Лебера?

— Так точно!

— Знаешь ли ты, что он руками рейхсбаннеровцев заколол нашего товарища Брюгмана?

— Так точно!

— Знаешь ли ты, что благодаря травле, поднятой твоей газетой, ты также являешься соучастником этого преступления?

— Не бейте меня, господа! Пожалуйста, не бейте!

— Отвечай на мой вопрос!— Майзель с презрением смотрит на свою жертву.

— Я... я... осудил этот поступок.

— Ты вызвал этот поступок, именно ты, подстрекатель! Ну, теперь тебе не сдобровать! Ты от нас живьем не уйдешь.

— Не бейте, господин дежурный!.. У меня повреждена нога. Я не могу ею двигать... Не бейте! Прошу вас, не бейте!

Тейч берет принесенное с собой полотенце и



смачивает его под краном. Он передает его Нусбеку, огорченному тем, что ему самому не придется бить.

— Не бейте, господин дежурный!.. Не бейте!..

— Ты замолчишь, собака?

— Да! Да! Только не бейте, не бейте!

— Нагнись!— командует Майзель, хватая плеть.— Ну! Нагнись!

— Ох-ох, нога!..

Кольтвиц нагибается.

Нусбек завязывает ему рот мокрым полотенцем и прижимает голову книзу. Майзель и Тейч бьют по истощенному, костлявому телу. После первых ударов Майзель берет плеть за другой конец и бьет узловатой рукояткой.

Кольтвиц опускается на колени.

Приятеля продолжают бить. Кольтвиц уже лежит на полу. А они бьют. Нусбек не может больше удержать корчащегося, извивающегося от невероятной боли человека и выпускает из рук закрученное на затылке полотенце.

Кольтвиц лежит, давится и всхлипывает. Тюремная рубашка клочьями болтается на его теле. Спина и ягодицы черны, как пол в камере.

Майзель ударяет его сапогом в пах.

— Вставай, ты, сволочь! Ну, ну!

Кольтвиц испускает пронзительный крик и теряет сознание...

Выходя из камеры, Майзель заявляет:

— Так будет каждый вечер! Мы обязаны делать это в память убитого Брюгмана.

В караульной Ленцер спрашивает:

— Как произошло убийство Брюгмана? При каких обстоятельствах?

— Вождь любекских социал-демократов, доктор Лебер, с караулом рейхсбаннера наткнулся

на нашего товарища матроса штурмовика Брюмана, — ответил Кениг. — Неизвестно, знали ли они его в лицо, или заметили его только благодаря форме, во всяком случае Лебер крикнул одному рейхсбаннеровцу: «Приколи его!»

— А какое отношение имел ко всему этому Кольтвиц?

— К самому убийству? Пожалуй, никакого, — отвечает Кениг. — Но, насколько я понял, он в то время был редактором социал-демократической газеты, а те вели против нас дикую травлю.

— Ну, ему скоро конец.

— Пусть бы его тогда скорей прикончили, без этих истязаний. А вообще-то чорт с ним, с этим евреем, пусть подыхает.

В это воскресенье Торстен и Крейбель пролежали на своих койках почти до полуночи, не сомкнув глаз. Происшествия этого дня так сильно их взволновали, что они не могли провести заранее намеченную беседу. На следующее утро Торстен узнал от подметавшего подвал кальфактора, что ранен был комсомолец из Бармбека и что он истек в подвале кровью. А заключенный наверху, которого так избивают, — социал-демократ доктор Кольтвиц.

Торстен шопотом спрашивает через дверь, почему стреляли в комсомольца.

— Выглядывал из окна.

На вопрос Торстена, есть ли в лагере еще социал-демократы, он ответил, что «около десяти».

Торстен не знает Кольтвица, никогда даже не слышал о нем; это политический противник, один из тех, которые своей политикой сильно

помогли победе «Третьей империи», и все же судьба этого человека несказанно волнует его. Сколько раз они уже врываются в его камеру по вечерам! Как упорно цепляется бедняга за жизнь! Что они делают с этим человеком, что он никогда громко не кричит? Чего они от него хотят? Требуют показаний?

В понедельник утром все спокойно: дежурит Ленцер. Торстен делает утреннюю гимнастику. Рядом в соседней камере бегают взад и вперед Крейбель. После того как они начали перестукиваться, он снова ожил. Они уже обменялись утренним «G—M»<sup>1</sup>.

— ты — знаешь — подробности — о — Кольтвице, — спрашивает Торстен.

— да, — выстукивает Крейбель, — ярый — противник — коммунистов — дико — нападал — на — нас — в — любекской — газете — считается — все — же — левым —

— почему — он — здесь —

— думаю — бонзы — выдали — его — чтобы — провести — унификацию — Кольтвиц — еврей —

— точнее — не — знаешь —

— нет

Раздают кофе. Когда Торстен получает свое кофе с куском черного хлеба, Ленцер спрашивает:

— Сколько времени вы уже сидите в подвале?

— Четыре недели, господин дежурный... Господин дежурный, я не могу есть грубый черный хлеб. Я недавно перенес тяжелое желудочное заболевание.

— Об этом вы должны сказать врачу. Я вас запишу.

Крейбель требует у Торстена обещанную ин-

---

<sup>1</sup> *Guten Morgen* — с добрым утром.

формацию. По ответам своего молодого соседа Торстен замечает, что тот опять страшно нервничает; он с трудом разбирает его бессвязный, неровный стук. Семь месяцев в заключении — недели в полной темноте. Молодой парень. Ведь никакой работы, никакого отвлечения, ничего! Четыре голых стены и постоянная тьма.

Торстен стучит:

— мы — должны — остаться — здоровыми — при любых — обстоятельствах — первое — требование — стальные — нервы — предлагаю — одновременно — со мной — делать — гимнастику — утром — и — вечером — холодное — обтирание — с — головы — до — пят — успокаивает — удивительно — помогает — засыпать — с — вечера — и — укрепляет — нервы — это — наша — обязанность — сохранить — себя — физически — согласен? —

Крейбель отвечает не сразу. Но то, что он затем выстукивает, потрясает Торстена.

— как — долго — еще — могут — они — продержаться — нас — в — темноте —

Что ответить молодому другу? Как долго! Да сколько им заблагорассудится; до тех пор, пока заключенный не сойдет с ума или не подохнет.

— они — могут — еще — долго — держать — нас — тут — но — все — имеет — свой — конец — наша — борьба — продолжается — и — здесь — в — тюрьме — первая — политическая — задача — которую — мы — должны — выполнить — это — продержаться — во — что — бы — то — ни — стало — спрашиваю — ты — присоединяешься —

— конечно

Тогда Торстен выстукивает свою информа-

цию. После каждого слова Крейбель должен стукнуть один раз, то есть «понял». Если он не стучит, Торстен еще раз повгоряет. Слово за словом, фраза за фразой проходят через толстую стену.

— март — 33 — года — не — был — подходящим — моментом — для — вооруженного — восстания — необходимые — предпосылки — были — в — зачаточном — состоянии — еще — не — созрели — вспомни — условия — о — которых — Ленин — говорил — как — о — необходимых — предпосылках — к — вооруженному — восстанию — германский — фашизм — вселил — надежду — в — миллионы — отчаявшихся — мелких — буржуа — интересы — капиталистических — групп — совпали — эти — группы — объединились — в — борьбе — против — рабочего — класса — революционный — авангард — был — готов — к — борьбе — но — на — пролетариат в — целом — парализующее — влияние — социал-демократии — было — еще — велико — лозунг — «фашисты — скомпрометируют — себя» — повлиял — на — большую — часть — рабочего — класса — удержал — его — от — борьбы — с — фашизмом —

Крейбель стучит:

— дискуссии — не — требуется — все — ясно — теперь — второй — вопрос —

Сидя на соломенном тюфяке, Торстен стучит ложкой, обернутой в носовой платок для того, чтобы наверху не было слышно стука:

— Важен — вопрос — при — какой — ситуации — захватили — фашисты — власть — в — Германии — в — начале — частичной стабилизации — или — перед — грозным —

распадом — капитализма — накануне нового — тура — войн — и — революций — запрещение — социал-демократической — партии — не — должно — затемнить — сыгранную — ею — историческую — роль —

Торстен стучит весь день. К вечеру он так устал, словно таскал мешки. Но Крейбелю все еще хочется слушать, он задает все новые вопросы. Торстен откладывает беседу на следующий день.

Но Торстену не удастся отдохнуть. Вскоре снова, как накануне, он слышит в камере над собой жалобы, мольбы, крики, а потом удары.

...Ужасно, что должен испытывать этот человек наверху! Дежурный Цирбес, этот здоровенный боцман-кабатчик, забьет его до смерти или искалечит на всю жизнь... И что они с ним делают, что он не кричит, не воет? Вставляют в рот кляп? Душат? Бесперывно раздаются удары.

Крейбель стучит, но так волнуется, что Торстен не сразу может разобрать. Он слушает с большим напряжением.

Четыре и три — S. Три и четыре — O. Пять и пять — Z. Два и четыре — I. Sozi!

— Соци.

Торстен стучит:

— понял —

Торстен действительно понял, и не только слово, но и смысл, вложенный в него. Уж нет ли противоречия между его оценкой роли социал-демократии и ужасной судьбой этого редактора социал-демократической газеты? Да, они жестоко мстят тем, кто не перебежал к ним, а тем более, кто высказывался против них; вдвойне жестоко, если к тому же речь о евреях.

В этот вечер палачи под предводительством Цирбеса переходят из камеры в камеру. То ближе, то дальше слышны удары. Обливаясь потом, лежат заключенные в темном подвале на своих койках и ждут, когда до них дойдет очередь. Но в эту ночь их пощадили.

— Хорошо было бы привлечь Майзеля в компаньоны,— размышляет караульный Ленцер. — Надуть-то мне его, несмотря на это, всегда удастся. А он, как старший взводный, будет хорошим прикрытием. К тому же он сейчас в большом фаворе. Да только пойдет ли он на это?

Целыми днями носится Ленцер со своим планом, пока в один прекрасный день сам Майзель не даст ему повода высказаться.

После раздачи обеда они сидят одни в караульной. Майзель спрашивает у Ленцера, не может ли он одолжить ему три марки. В последнее время он постоянно попадает в денежные затруднения и занимает, у кого только можно. Ленцер знает, что у него новая невеста. Это стоит денег.

— Конечно, с удовольствием!

— Очень мило с твоей стороны! Отдам после получки.

Ленцер знает, что ко дню получки у Майзеля накопится долгу больше, чем он получит, и решается сказать:

— Я знаю одно средство подработать. Не так уж много перепадет, но все-таки.

— Каким образом? Можно узнать?

— Да я уж давно умом раскидываю и думаю, что это можно делать без особого риска. Могло бы ежедневно по талеру очиститься.

Майзель настораживается. Каждый день три марки? Они ему могли бы здорово пригодиться. Он нетерпеливо спрашивает:

— Ну, а как? Скажи!

— Да-а, но об этом надо говорить с глазу на глаз.

— Так здесь же никого нет!

Ленцер замечает, что почва оказалась даже благоприятнее, чем он ожидал.

— Знаешь, — тихо объясняет он, — каждая общая камера раз в две недели покупает табачных изделий в среднем на пятьдесят марок. Одиночники покупали бы еще больше, если бы могли это делать не в положенные дни, так как им часто присылают деньги после того, как заказы уже сделаны. Тюремным ларьком заведует Реймерс, которому при этом не мало перепадает. Вот я и подумал, почему бы нам этим не заняться?

— А как?

— У моего шурина табачная лавочка, и если бы мы брали у него товар в больших количествах, он нам дал бы двадцать процентов скидки. Теперь, если мы будем доставлять товар только в четыре общих камеры и вместо двадцати рейсмеровских процентов будем брать только десять, так и то за полмесяца заработаем шестьдесят марок. Но я уверен, что выйдет еще больше, так как мы можем доставлять ежедневно.

Майзель молча размышляет. Шестьдесят марок за две недели — по тридцать на брата. А если об этом узнают? Может быть ужасный скандал. Конечно, сразу станет заметно, что некоторые камеры вдруг перестанут давать заказы. И он высказывает Ленцеру свои сомнения.



— Надо так устроить при общих заказах в ларьке, чтобы никто не заметил. Придется посвящать в это дело прикрепленного к ларьку кальфактора Курта. Тогда все обойдется. Пусть за это даром курит.

— И ты думаешь, что дело выгорит?

— Да я уж его со всех сторон обдумал

— А как ты пронесешь товар в лагерь?

— Ты ведь знаешь мой большой портфель, такой широкий, министерского формата. Если доставлять каждый день, он даже не будет сильно набит.

— Да, но для этого нужны деньги.

— Зачем? деньги нам дадут заключенные. И товар будет доставляться на следующий же день.

Майзель колеблется. Ему очень хотелось бы, но он боится идти на риск. Он не соглашается и не отказывается.

— Знаешь ли... я еще подумаю.

Ленцер продолжает носиться с планом добывания денег. Он отправляется в общую камеру № 2 своего отделения с тем, чтобы выяснить, на какую сумму можно получить заказов, если он начнет «дело». В тюремном ларьке заказы будут приниматься через три дня, и в камерах уже должен ощущаться недостаток в куреве.

— Смирно! Отделение «А — один», камера два, налицо сорок человек. Свободных коек нет.

— Вольно!

Ленцер идет на середину комнаты, где стоят столы, и присаживается на один из них.

— А ну-ка, пусть кто-нибудь встанет у двери! К двери идет старик Бендер.

— Если кто подойдет, дай знать

Бендер смотрит в обе стороны коридора

— Ну, теперь слушайте, сукины дети! Как у вас с куревом?

Со всех сторон раздаются жалобы. Уже два дня как в камере нет ни крошки табаку.

— Если вы будете держать язык за зубами, то я быть может, попробую раздобыть вам табачку. При этом не по ценам тюремного ларька, а по нормальным, магазинным. А за хлопоты вы мне дадите — ну, скажем, десять процентов. Что вы думаете насчет этого?

Заключенные поражены. Некоторые недоверчиво переглядываются: уж не ловушка ли это? Большинство же слишком заинтересовано в табаке, чтоб размышлять.

Староста Вельзен выходит вперед и спрашивает:

— Это вы серьезно, господин караульный?

— Ну, вот еще! Ты думаешь, я шутить буду?

— В таком случае мы будем вам очень благодарны, господин караульный. Мы очень рады и, конечно, будем молчать об этом.

— Ну, так запишите все, что вы хотите получить, и соберите деньги, а завтра в полдень я вам все доставлю.

— Смпрно! — командует староста.

Но Ленцер делает знак:

— Вольно!

— Ребята, что вы скажете на это? Что-то Роберт Ленцер подобрел вдруг.

— Рискованное дело затеял. Да нам-то это в конце концов безразлично.

Заказы принимает Альфред, исполняющий в камере обязанности писаря. Чтобы ускорить дело, ему помогает Мизике.

В начале все заключенные камеры относились к Мизике плохо. Вельзен предостерегал всех, чтобы в его присутствии не велось никаких политических разговоров. Но спустя некоторое время, когда его лучше узнали, к нему стали снисходительнее. Он действительно случайно затесавшийся, чуждый им элемент, а страх перед побоями делает его совсем невменяемым. Некоторые еще злятся на него, но большинство принимает его таким, каков он есть. А Шнееман питает к нему даже дружеские чувства.

Заказывают на пятьдесят восемь марок.

Мизике, которому жена прислала денег, заказывает трубочный табак для трех товарищей, завятых курильщиков, у которых нет денег. Себе же разрешает роскошь: две дюжины бразильских сигар и пятьдесят штук хороших сигарет.

В камере приподнятое настроение.

Незадолго до закрытия на ночь входит Ленцер. Пятьдесят восемь марок. Для начала недурно. Он быстро просматривает список заказов.

— Две дюжины бразильских сигар, по двадцать пять пфеннигов за штуку, и пятьдесят «Атика»? Чорт возьми! Кто же тот капиталист, который может себе позволить это?

Мизике смущенно признается.

— Ах, Мизике!.. Ну, ладно, завтра все получите. Только смотрите, язык за зубами держать!

Ленцер поймал Майзеля в коридоре:

— Ну как, решил?

— Чорт возьми!.. Не знаю.

— Вот! Пятьдесят восемь марок. Только что собрал. В одной камере. Выходит двадцать марок на круг.

Это заставляет Майзеля решиться.

— Ладно! Идет!

Они подают друг другу руки.

— Но, — смущенно спрашивает Майзель, — в чем собственно говоря, будет заключаться мое участие?

— Ну, да ты будешь мне помогать. Например, при сборе денег... или, если понадобится, пронесешь кое-что в своем портфеле.

— А прибыль пополам?

— Половину чистой прибыли. Ты возьми сейчас еще один талер, тогда у тебя будет в виде задатка шесть марок.

— Вот здорово!

Цирбес в бешенстве мчится по лестнице в подвальное помещение. Теперь еще одиночники будут записываться к врачу! Что это Ленцеру в голову взбрело! Если завести такой порядок, так это ежедневно будет получасовая прогулка к врачу.

В двери камеры Торстена поворачивается ключ.

— Вы записывались к врачу?

— Да, господин дежурный.

— Что с вами?

— У меня больной желудок, и я не могу есть черного хлеба.

— Не водить же вас каждый день к врачу!

Торстену хочется возразить, но он молчит. Лучше промолчать. Цирбес в нерешительности.

— Ну, ладно!

Торстен стоит в желтом свете лампы, освещающей пустой длинный холодный коридор. Ряд дверей одна за другой. И за каждой дверью,

скорчившись, сидит в темноте товарищ. Сейчас они прислушиваются к шуму и думают, что его уведут из темного подвала. Думают так потому, что сами этого ждут — не дождутся.

Цирбес поднимается по лестнице. Торстен идет за ним. Высокие и широкие окна коридора отделения «А1» выходят на тюремный двор, и здесь очень светло. Торстен жмурит глаза: они совсем отвыкли от дневного света.

В коридоре, лицом к дверям камер, уже стоят несколько человек заключенных. Цирбес кричит:

— На три метра друг от друга, стройся!

Четыре, с Торстеном пять, заключенных становятся один за другим. Впереди него стоит маленький, болезненного вида человек, на котором слишком широкая тюремная одежда болтается, как на вешалке. Он прихрамывает.

Подходит ординарец, молодой долговязый охранник. Он отстегивает ремень кобуры и передвигает ее вперед, чтобы револьвер был под рукой.

— Кто по дороге заговорит, будет беспощадно высечен! Шагом... марш!

Пять заключенных шагают за охранником по коридору.

Они проходят через флигель «Б» и поднимаются на второй этаж. Ни один из арестантов не оглянется, не кашляет.

У человека, идущего впереди Торстена, бросается в глаза прекрасной формы голова с высоким лбом. Он лыс и чисто выбрит.

В отделении «Б2» комната врача — первая от лестницы. Больные стоят длинным рядом вдоль коридора, на расстоянии трех метров друг от друга, лицом к стене. Пятеро из отделения «А1» становятся в самом конце

Мимо расхаживает караульный и следит, чтобы не переговаривались. Когда он уходит в противоположный конец, один из пяти, стоящих впереди Торстена, шепчет:

— Фриц, стисни зубы и держись молодцом!

Тот бросает испуганный взгляд в сторону караульного и чуть заметно кивает головой.

Кальфактор из «Б2» проходит мимо. Слышится тихое: — Пст! Немножко табачку.

Но тот идет, не останавливаясь. Когда он проходит обратно, ему шепчут:

— Альвин! Альвин!

Кальфактор осторожно оглядывается и тихо отвечает:

— Ладно, сейчас еще раз пройду.

Караульный медленно возвращается с того конца коридора. Все сразу перестают шептаться, разговаривать и оглядываться и стоят, как истуканы, уставившись глазами в стену. Как только он поворачивается спиной, шушуканье и шопот возобновляются.

— В понедельник меня будут судить, слава богу! Наконец-то вырвусь из этого дома пыток!

— За что судят?

— За соучастие в убийстве. По Гревенвегскому делу, это когда застрелили нашего товарища Меркера.

— Какое же тогда соучастие в убийстве?

— Тогда один полицейский сковырнулся, и это дело они теперь хотят нам припаять.

Кальфактор Альвин возвращается. Проходя мимо, он сует что-то в руку одному из товарищей. Дежурный замечает, что он подошел к больным.

— Что ты там делаешь?

— Я ищу свой совок, должно быть, тут оставил, — невозмутимо отвечает Альвин.

— Нужно раньше собирать свое барахло. Кальфактор уходит.

Прием у фельдшера идет удивительно быстро. Не успел еще больной войти в комнату, как уже раздается возглас:

— Следующий!

Торстен последний в ряду, перед ним четверо из «А1».

Это путешествие к врачу после долгого заключения в темном карцере действительно очень приятно. Свет, люди, говор, — сразу становится легче. Надо посоветовать Крейбелю — пусть тоже попробует попасть на прием.

Вереница больных заметно укорачивается. Вот уже позвали первого из отделения «А1». Стоящий впереди Торстена страшно робок и запуган. Когда Торстен тихонько спросил, давно ли он в одиночке, тот ничего не ответил. И на вопросы других он тоже только чуть заметно кивал головой или мигал. Торстен замечает у него под ухом вздутый кровоподтек. Похоже, как будто его душили.

Больные из «А1» уже прошли. Подходит очередь Торстена. Каждый входящий в приемную называет свое имя. Аспирин, касторка и белые таблетки для успокоения нервов — вот стандартные средства лечения. Торстену даже интересно, что ему дадут проглотить.

Его сосед входит, ковыляя, в кабинет и рапортует:

— Арестованный Кольтвиц!

Это Кольтвиц! И как он сам не догадался? Торстен напряженно прислушивается к голосам в кабинете.

— Я внесу любой залог, господин фельдшер, если меня начнут по-настоящему лечить в боль-

нице или клинике. Внесу залог, я не убегу. Правда, не убегу.

— Залог? Сколько вы думаете внести? Десять тысяч марок?

— Так точно, господин фельдшер!

— И пятьдесят тысяч можете?

— Так точно, господин фельдшер!

— У вас так много денег?

— У меня... у меня их нет, но... у меня богатые родственники.

— И вы думаете, они внесли бы за вас залог?

— Конечно, господин фельдшер. Они бы это сделали.

— Из этого ничего не выйдет, мой милый, мы не так продажны. Третья империя не Веймарская республика.

— Я ведь не свободу хочу купить себе,— причитает Кольтвиц,— я хочу только, чтобы меня лечили, хочу попасть в больницу.

— Ты хочешь в больницу, потому что тебе здесь у нас не нравится, не так ли? Говори прямо!

— Я болен, господин фельдшер.

— Я дам тебе еще четыре таблетки. Одну на утро, одну на вечер. Увидишь, что помогут. Через несколько дней будешь как новорожденный.

Кольтвиц хочет еще что-то сказать, но он так огорчен, что не находит нужных слов. Он стоит перед столом фельдшера и смотрит ничего не видящими глазами.

— Ну что ж, иди! Следующий!

— Арестованный Торстен.

— Торстен? Вы еще не были у меня?— Фельдшер рассматривает Торстена.— Вы давно здесь?

— Пять недель!

— А где вы помещаетесь?

— В подвале.



— В темной?

— Точно так.

— Хм...— вспоминает фельдшер.— Торстен?

Он снова испытующе всматривается в заключенного, который стоит перед столом, выпрямившись во весь свой рост.

— Ах, вот! — наконец догадывается он.— Вы член рейхстага Торстен?

— Так точно.

— Так, так! Вы, следовательно, в некотором роде почетный гость нашего заведения. У нас ведь больше нет членов рейхстага... А что у вас?

— У меня больной желудок, и я не переношу черного хлеба.

— Больше вы ни на что не жалуетесь?

— Нет.

— Никаких желаний?

— Нет.

— Вы все еще коммунист?

Странно! Что за вопрос? Чего хочет от него фельдшер? Торстен смотрит на него с удивлением и не отвечает.

— Ну?— ухмыляется тот.— Ах, вы мне не доверяете!

— Я не понимаю вашего вопроса. Вы серьезно думаете, что здесь можно быть «обращенным» в национал-социализм?

Фельдшер смеется.

— Нет, этого я, конечно, не думаю. Надо быть круглым идиотом, чтобы поверить в такую возможность!

Торстен смотрит на фельдшера со все возрастающим недоумением. Он молод, как все остальные, но занимает уже, повидимому, высокий пост. Из-под воротничка белого докторского халата виднеются звездочки. Фельдшер. улы-

баясь, подбегает к Торстену и пишет какой-то рецепт.

— Карл! — кричит он за дверь. — Карл!

Входит караульный, наблюдающий за больными в коридоре.

— Тех четырех из отделения «А — один» отведи, а этого я сам сдам.

Дежурный с четырьмя заключенными уходит. Фельдшер подходит к окну. Не оборачиваясь к Торстену, он спрашивает:

— Да, Торстен, тяжелая это школа, не правда ли?

Торстену еще не ясно, что все это значит. Почему именно к нему так благосклонен фельдшер? Но пока считает благоразумным промолчать.

— Было время, и я колебался. Коммунизм или национал-социализм? — Он поворачивается к Торстену. — Ведь я был социал-демократом, работал по рабочей санитарии. И наблюдал такие вещи, которые заставили меня отойти от этих организаций. Я не стану жертвовать собой для того, чтобы кучка бонз благодушествовала.

Он замолчал, глядя в окно на тюремный двор.

— ...Вы не ожидали, что это будет так скоро и так всерьез, — продолжал он, — что Адольф Гитлер так легко захватит власть и так основательно наведет порядок, не так ли? Вы поставили не на ту лошадь и — проиграли?

— Но политика ведь не рысистые бега.

— Нет? Вы думаете? — Фельдшер ухмыляется. — Я... я не знаю, но, право, мне иногда кажется, что — да. Иногда ставят неудачно, иногда удачно. У меня верное чутье.

Фельдшер подходит к Торстену вплотную

— Что бы сделали вы в прошлом году, если бы знали, если бы вы могли предположить, что произойдет в этом году?

— Я это знал!

— Что-о?! Вы скажете, что еще в прошлом году знали, что в тридцать третьем году к власти придут национал-социалисты?

— Я не знал, конечно, этого наверняка, но шансы фашизма были очень велики. Надо уметь учитывать соотношение классовых сил на данный момент.

— И вы не сделали никаких выводов из того, что вы знали?

— Что вы под этим подразумеваете? Я ведь уже сказал: политика — не рысистые бега.

— Следовательно, вы хотите меня убедить, что вы шли к своему несчастью совершенно сознательно?

— К своему несчастью? Как так? Господин фельдшер, я коммунист, я веду борьбу против капиталистической Германии — за Германию социалистическую. Я — марксист. До войны я был социал-демократом и стал коммунистом, когда убедился в предательстве социал-демократической партии. Это было в то время, когда социал-демократы пришли к власти. Таким образом, с вашей точки зрения, я уже тогда сознательно шел навстречу своему несчастью? Вам, повидимому, было бы более понятно, если б я стал полицей-президентом или министром. Но я борюсь за победу рабочих, за социализм и не ставлю на любую лошадь, которая в данный момент имеет шансы на выигрыш.

— Но при этом вы сами можете погибнуть ни за что.

— Возможно. Но ведь до меня так было

тысячами, больше чем с тысячами. Классовая борьба — дело серьезное.

Фельдшер как будто не расслышал последних слов.

— Когда, по-вашему, наступит в Германии благоприятный момент для коммунизма?

Торстен улыбается. Этот неожиданный вопрос выдает все. Стоящий перед ним чернорубашечник не верит словам своего вождя Гиммлера.

— Вождь охранных отрядов Гиммлер недавно установил продолжительность господства национал-социализма в пятьдесят тысяч лет.

— Ну, ерунда! Кого можно поймать на такую удочку? Но скажите, как вы думаете, когда скипетр власти перейдет в ваши руки?

— Я не пророк, господин фельдшер... Если судить по экономическому и международному положению Германии, по настроению рабочих, то все, что сейчас происходит, не может продолжаться долго.

По лестнице поднимается Цирбес. Фельдшер обрывает разговор и идет ему навстречу.

— Скажи, арестант из темной еще у тебя?

— Да, я как раз собирался свести его вниз... У Торстена тяжелое желудочное заболевание. Постарайся еще сегодня раздобыть для него белого хлеба. Он должен его получать с завтрашнего дня.

К Торстену:

— Теперь идите с вашим дежурным.

Начальник лагерной канцелярии Гарден и прикомандированный к ней начальник отделения Ридель входят в караульную. В комнате один Цирбес.

— Хейль Гитлер!

— Хейль Гитлер! Сегодня освобождают восемнадцать человек, в том числе один из твоих

— Как его зовут?

— погоди-ка... — Гарден перелистывает пропускные удостоверения. — Мизике! Готфрид Мизике.

— Что-о?! Эту сволочь, этого еврея выпускают? Чорт знает что такое!

Цирбес искренно огорчен; он считает, что евреев принципиально не следовало бы выпускать из лагеря живыми.

Все вместе отправляются в камеру, где находится Мизике.

— Смирно! Отделение «А — один», камера два, на сорок человек! Свободных коек нет!

Все заключенные знают Гардена, знают, что он приносит освобождение, и называют его «ангелом-избавителем». Они стоят, зажав дыхание, и каждый надеется, что вызовут непременно его.

— Готфрид Мизике!

— Здесь!

— Ну! Ну! Подойди-ка сюда!

Мизике подбегает к двери, становится перед тремя караульными и смотрит на «ангела-избавителя». От волнения у него спирает дыхание.

— Ну, Мизике, что бы ты сказал, если б тебя сейчас выпустили?

— О-ох, господин дежурный!...

Больше Мизике не может ничего сказать, так как он теперь уже знает, что его выпускают. Освобожден! Свободен! Не стоять навзрыда! Не делать упрямлений. Не носить тюремного платья. Освобожден!

— Ну, собирай вещи! Только поскорее! Чтобы в две минуты был готов!

— Слушаю, господин караульный!

Мизике дрожит от радости. Гарден и Ридель смеются. Цирбес гремит боцманским голосом:

— Прежде чем выйти, еще пропрыгай три раза вокруг двора. Ну, так собирайся, мы сейчас вернемся!

Мизике окружают, желают ему счастья, завидуют. Двое снимают белье с койки и складывают тюремные вещи, и те из них, что получше подменяются худшими. Мизике должен дать расписку в том, что заказанные им папиросы и съестные припасы он передает в пользу камеры. Он отдает все, без чего может обойтись. Из оставшихся у него пяти марок и сорока пфеннигов он оставляет себе сорок пфеннигов на дорогу, а пять марок отдает камере. Зубную щетку, принадлежности для бритья и расческу, которые ему за несколько дней до этого прислала жена, передает старосте Вельзену, чтобы тот распределил среди товарищей.

Придя в себя от радости, Мизике трясет руки то одному, то другому.

Сейчас должен притти за Мизике караульный. Ему так бы хотелось сказать несколько слов заключенным, с которыми он прожил вместе несколько недель! Когда нужно продать галстук, мужскую рубашку или носки, Мизике прекрасно говорит, но теперь, когда он хочет проститься со своими товарищами по заключению, с коммунистами. — слова так и застревают в горле. Вместо прощальной речи он, заикаясь, обещает писать и посылать габак.

Как только Цирбес отворил дверь, Мизике

хватает свои вещи и с криком «До свиданья!» выбегает из камеры.

Двадцать минут спустя он уже за стенами лагеря и, далеко обогнав всех остальных освобожденных, мчится в Ольсдорф, к станции воздушной железной дороги.

За то, что выпустили еврея Мизике, должен поплатиться еврей Кольтвиц.

— Вот увидите,— говорит Майзель Цирбесу,— того и гляди, что скоро еще и этого Кольтвица выпустят. Я совсем не понимаю гестапо.

— Его не выпустят! — уверенно отвечает Цирбес.— Нет!

— Но ведь это может случиться, и тогда уже ничего не поделаешь.

— Но я могу кое-что сделать, прежде чем это случится.

— Безусловно! И я тебе помогу. Знаешь, Дузеншен опять получил нахлобучку. Старшему кажется, что у нас все еще слишком миндальничают. Комендант знает, чего он хочет!

— Это потому, что он сидит ближе к правительству, чем эти старые дураки из гестапо. Комендант на несколько дней раньше узнает в Государственном совете, куда ветер дует.

Торстен передает соседу свой необычайный разговор с фельдшером. Крейбель стучит в ответ, что фельдшер командир роты, штурмовик и что его зовут Гейнц Бретшнейдер.

Эта ночь — самая ужасная из пережитых Торстеном в лагере. Четыре раза врываются в камеру над ним и избивают больного Кольтвица. Первый раз до двенадцати, а потом еще три раза — между полуночью и утром. На этот

раз они дают ему кричать. Его звериный вой, стоны и визг заглушают шум, хлопанье ударов и разносятся по всей тюрьме.

Торстен вспоминает стоящего впереди него маленького больного человека, который боялся прошептать слово или пошевелить головой, вспоминает знаки, оставленные душителями на шее, высокий лоб, гладко выбритую голову.

Всю ночь напролет Торстен не может уснуть. Не только он, но и Крейбель, и сотни заключенных в эту ночь не находят покоя.

На следующий день, приняв дежурство от Цирбеса и потихоньку отдав табак в камеры — № 1 и № 2, Ленцер заходит в одиночку к Кольтвицу. Тот лежит на койке, бледный, как покойник, и уставившись широко открытыми глазами в потолок.

— Ну, Кольтвиц, что с вами?

Кольтвиц смотрит на Ленцера, молчит и снова переводит глаза на потолок. Подле Кольтвица лежит крепкая веревка. Ленцер берет ее в руки и рассматривает.

— Это что за веревка, Кольтвиц?

— Это мне ее вчера подбросили. — Он говорит это тихо, еле слышно, и слезы текут по лицу.

Ленцер ненавидит евреев, но этого он не может одобрить. Если Кольтвиц должен непременно умереть, то не таким образом: его надо просто пристрелить. Хорошенько во-время всыпать — никогда, по его мнению, не мешает, но эта длительная порка, это избивание насмерть — гнусность.

Кальфактор Курт из отделения «А1» убирает подвал. Он был в Винтергудерне в городском комитете и знает Крейбеля по политической



работе. Если поблизости никого нет, он всегда подходит к двери его камеры и шопотом сообщает все новости. Хотя газеты в лагере строгойше запрещены, но время от времени они все же попадают в камеры то с бельем, то через посетителей. Кое-что узнают заключенные в общих камерах и от караульных. Когда караульные разговаривают между собой, у кальфакторов тоже всегда ушки на макушке.

— Вальтер!

— Да.

— Карл Дрекслер покончил с собой. В прошлый понедельник.

— И он?

— Да. И Ионни Райке, и Отто Штенке тоже нет уже в живых.

— Курт!.. Курт!..

Кальфактора уже нет. Крейбель прижимается ухом к двери и с напряжением вслушивается в темноту.

Карл Дрекслер умер... Хороший, верный был товарищ. Ионни Райке умер. Отто Штенке, Ион Тецлин, Гуго Феддерзен, Карл Шенгерр — все умерли. Замучены. Засечены плетью и бычьими жилами. А Лютгенс, Теш, Вольф и Меллер — сколько еще убитых ими!.

— Вальтер!

— Да.

— Уже давно идет процесс о поджоге рейхстага. И наци все больше позорятся. Болгарин Димитров молодец, он задает им жару. Во время суда назвал Геринга одним из поджигателей рейхстага. На каждом заседании скандал, уже не раз его удаляли.

— А как работа на воле?

— В последнее время стало лучше. Партия уже оправилась от массовых июльских арестов. Говорят, будто бы на некоторых предприятиях работа идет во-всю. Тш... Подожди минутку.

Сверху раздается крик Ленцера:

— Курт! Курт!

— Слушаю!

— Ты внизу?

— Так точно!

— Ну, ладно! Только, чтоб не было разговоров с этими гадами! Понял?

— Так точно!

Курт чистит замки на дверях камер и смазывает их жиром.

— Вальтер!

— Да.

— В Женеве здорово провалились. Геббельсу пришлось собрать пожитки и удрать с конференции. Кто-то из дипломатов сказал, что Германия должна посылать политиков, а не гимназистов. Германские предложения о вооружении не прошли.

— Что еще нового?

— Советский союз заключил торговое соглашение с Соединенными штатами. Союз заказывает товаров на три миллиарда. Вчера кто-то из караульных сказал: «Вот, если б нам такой заказ получить, Германия выбралась бы на несколько лет из тупика». Все бегает за Литвиновым. Муссолини просил его заехать на обратном пути из Америки в Рим.

Крейбелю понадобился целый день, чтобы простучать все эти новости Торстену

Вечером, сейчас же после сигнала, в карательной появляются Майзель и Тейч. Там сидит Ленцер.

— Роберт, дай-ка мне твой ключ от одиночек, мы хотим навестить Кольтвица.

— Кольтвица оставьте сегодня в покое.

Глаза Майзеля становятся маленькими злыми.

— Ты хочешь мне предписывать?

— Предписывать? Нет. Я только говорю, что ты должен сегодня оставить Кольтвица в покое.

Майзель не возражает; внешне он совершенно спокоен, но в действительности готов наброситься на Ленцера.

— Принеси из классной комнаты две плети, — обращается он к Тейчу.

Тот уходит.

— Что это с тобой? — шипит Майзель на Ленцера. — Пожалуйста, в мои дела не вмешиваться! Кто, собственно говоря, дал тебе право так распоряжаться здесь?

— Во-первых, пока Тейч не вернулся, вот восемь марок. Твоя доля выручки от последней доставки.

Ленцер протягивает ему деньги.

Майзель колеблется. Неужели ради денег он уступит? Он хотел бы от них отказаться, но они нужны ему, нужны срочно. И он берет.

— Мне они очень кстати... Но, Роберт, скажи мне, почему ты заступаешься за еврея?

— Я не собираюсь заступаться ни за одного еврея, я только не хочу, чтоб его забили до смерти во время моего дежурства. Ведь Кольтвиц еще дышит.

Входит Тейч с двумя плетями. Майзель отмахивается.

— Не сегодня — завтра но мы все же немножко напугаем его.

Он выходит с Тейчем из караульной, включает свет в одиночке Кольтвица и смотрит в «глазок». Заключенный лежит на койке с расширенными от ужаса глазами и с трепетом прислушивается.

Майзель стучит кулаком в дверь.

— Эй, Кольтвиц, вставай! Приготовься! Мы сейчас придем!

Майзель видит в «глазок», как дрожит Кольтвиц под одеялом, и его лицо искажается злобой усмешкой.

— Свинья, трясется, как старая баба!

Тейч тоже смотрит в «глазок» и наслаждается смертельным страхом Кольтвица. Он стучит плетью в дверь камеры:

— Ну! Вставай! Через две минуты мы вернемся!

И, громко смеясь, оба уходят.

Раздается продолжительная трель сигнального свистка.

— Вставать! Долой с постели! — кричит Ленцер.

— Вставать! Долой с постели! — кричат дежурные по другим отделениям.

Шесть часов. Еще совсем темно. Только через час станет светать; одиночники вскакивают. Если пролежишь хоть пять минут после сигнала — поднимут плетью. Спешат и заключенные в общих камерах. За час надо умыться и привести в порядок камеру. Ровно в семь переключки. Незадолго до семи кальфакторы начинают разносить ведра с кофе. Одни из них

переходит от камеры к камере, раскладывает куски черного хлеба по откидным полочкам на дверях.

Начинается раздача хлеба и кофе. Ленцер отпирает двери, а отделенные кальфакторы раздают.

— Ты, пададь, громче рапортовать не можешь?

— Арестованный Пеемеллер!

— Еще громче!

— Арестованный Пеемеллер!

— Еще громче!

— *Арестованный Пеемеллер!*

— Изволь так рапортовать каждое утро и каждый вечер! Понял, дрянь этакая?

Ленцер с криком носится от камеры к камере так, что кальфакторы едва успевают за ним.

— Арестованный Грейлинг!

— Арестованный Дозе!

— Арестованный Эбершталь!

Из следующей одиночки не слышно ни звука. Ленцер уже отворяет двери соседней камеры.

— Ну, а это кто не желает рапортовать? Эта гадина Кольтвиц?

Одним прыжком Ленцер поворачивает назад и входит в камеру. Что за чорт! Кольтвица нет ни на нарах, ни вообще в камере.

— Ух!..

Ленцер с отвращением и ужасом выскакивает обратно. В полуметре от него, над стульчаком, висит Кольтвиц. Лицо безобразно искажено, рот широко раскрыт, глаза вышли из орбит.

— Тьфу ты, пропасть! И уже воняет,— вырывается у Ленцера.

Он велит кальфакторам подождать и бежит

в караульную — звонить в комендатуру и к фельдшеру.

В это время Курт сбегает в подвал, как будто для того, чтобы разложить хлеб.

— Вальтер! — взволнованно шепчет он в дверь Крейбеля.

— Да.

— Кольтвиц повесился!

— Что?..

— На трубе от отопления, над стульчаком! И бежит наверх.

Крейбель стучит Торстену:

— Кольтвиц повесился!

Торстен, делавший в это время утреннюю гимнастику, опускается прямо на пол. Они-таки добились своего. Цирбес и Майзель добились-таки, чего хотели. Кольтвиц повесился... Он был болен и просился в больницу. И этого больного, слабого человека они избивали не переставая, зверски избивали.

Идет фельдшер Бретшнейдер. Ленцер — ему навстречу. — Ты его уже вынул из петли?

— И не подумал. Воняет, как чумной!

— Значит, повесился еще вчера вечером.

— Совершенно верно, — подтверждает Ленцер.

— Откуда ты знаешь?

— Я просто так думаю. Он боялся избиения.

Кальфактор поддерживает труп, пока фельдшер перерезывает веревку. Они вытаскивают тело в коридор.

Ленцер замечает на столе письма. Он их рассматривает и читает:

— «Дорогой Фриц, мой любимый муж...» И еще стихи: «Много птичек там, и малых и больших, — парами всегда я вижу их, — а тебя, увижу ли — кто знает!..» Ах, да! — вспоми-

нает Лендер. — Они вместе читали стихи... Как дети, как влюбленные. Смешные люди бывают на свете!

Спустя несколько часов Ридель разговаривает по телефону с госпожой Кольтвиц.

— Простите, сударыня, но я лично ничего не могу сделать... Нет, администрация лагеря тоже не может. Я уже раз объяснял вам, что труп вашего умершего мужа может быть выдан лишь по распоряжению государственной полиции. Вы должны связаться непосредственно с ними... Нет, коменданта лагеря сейчас нет... Его заместитель? — Ридель смотрит на Дузеншена, который стоит тут же, но энергично отмахивается. — К сожалению, и заместителя коменданта сейчас нет... Что? Как?.. А? Но позвольте! Как вы можете допустить подобную мысль?! Как?.. Вы можете за это ответить, госпожа Кольтвиц!.. Как?.. Простите, но я не могу выслушивать вас дальше!

Ридель вешает трубку и в замешательстве смотрит на Дузеншена.

— Ну, — смеется тот, — отвела душу?

— Почему это вы всегда на мне выезжаете?

— Должен же и ты что-нибудь делать. Кроме того — кто это «вы»? Будь осторожен, Вилли, старик и так плохого о тебе мнения... В самом деле, нельзя же требовать от него, чтобы он выражал соболезнование жене каждого повесившегося у нас заключенного. Это было бы уж слишком!

В это время из ворот корпуса «А» мимо комендатуры проезжает автомобиль с телом Кольтвица. Ридель и Дузеншен смотрят в окно. Гарден продолжает сидеть перед пишущей машинкой, как будто все происходящее совсем его

не касается. Отворяются большие, с двойными запорами, ворота лагеря. При выезде автомобиля с трупом шофер дает двойной сигнал. Тяжелые ворота снова запираются.

Среди вновь прибывших арестантов обращает на себя внимание высокий стройный человек с большим орденом на шее. На отвороте сюртука несколько орденских ленточек, а на левой стороне груди Железный крест первой степени. Холодно и пренебрежительно отвечает он на вопросы караульных. У него длинное худощавое застывшее лицо с сильно выступающим подбородком. Ридель первый, смеясь, подходит к нему и спрашивает:

— Откуда это у вас такая коллекция?

— Купил у старьевщика, молодой человек, по примеру *некоторых высокопоставленных лиц*, — холодно и язвительно звучит в ответ скрипучий голос.

— *Некоторых высокопоставленных лиц?* — с ударением переспрашивает Ридель и испытующе смотрит на отставного ротмистра. Он знает, что это намек на наместника Кауфмана, про которого весь Гамбург говорит, что он носит купленные ордена.

— Совершенно верно! *Высокопоставленных лиц.*

— Вы, повидимому, все еще не понимаете, где вы находитесь! — и Ридель уходит в канцелярию.

— Забавный тип этот барон, не правда ли? — смеется Гарден. — Когда его арестовали, он нацепил на себя все эти знаки отличия. Странная идея... Между прочим, неплохой выбор.



Большой, на шее — это орден Гогенцоллернов.

Гарден смотрит на дверь и говорит, понижая голос:

— Сам Геринг мог бы позавидовать.

Вновь прибывшие должны выстроиться перед комендатурой и затем пройти через тюремный двор к корпусу «А». Отставной ротмистр, по приказанию взводного Тейча, ведет колонны. Гордо выпрямившись, шагает впереди заключенных сухопарый офицер в отставке с орденом Гогенцоллернов на шее, с Железным крестом на груди, с арестантской одеждой подмышкой. Охранники острят, хохочут и гнусавыми голосами отпускают шутки. Часовой у ворот корпуса «А» делает на-караул. Новый взрыв хохота. Из заключенных никто не смеется. Колонна останавливается перед караульной. Подходит Дүзеншен.

— Это что еще за дурак?— спрашивает он у Тейча, показывая на ротмистра.

— Это барон фон-Борринггаузен-унд-Гельтлинг.

— Вот как! Интересно!

И широкоплечий, приземистый штурмовик медленно подходит к ротмистру.

— За что ты здесь?

Ротмистр смотрит в одутловатое лицо и спрашивает:

— Вы подразумеваете меня?

Дүзеншен щурит глаза и пристально смотрит на редкостного узника. Однако не бьет его и отвечает:

— Да, я подразумеваю вас!

— Я арестован по ложному обвинению в государственной измене.

— Прекрасно! Коммунист?  
— Нет, милостивый государь, я принадле-  
жу к Черному фронту.  
— И государственный изменник?  
— Меня оговорили.  
— А откуда у вас эти побрякушки?  
— Это знаки отличия, полученные мною во  
время мировой войны.

— И ты, сволочь, изменник, осмелился их  
надеть!— кричит Дузеншен.

Он подходит к ротмистру и в три приема  
срывает с него орден, ленточки, Железный крест  
и бросает все позади себя в песок.

— Ты, наглец, еще издеваться над нами?!  
А?! Издеваться над национал-социалистской  
Германией! Это тебе дорого обойдется! Из-  
мена, да еще издевательство... Ну погоди,  
брат!

Ротмистр бледен, как мертвец. Губы плотно  
сжаты, подбородок дрожит. На лбу крупные  
капли пота.

— Бросить эту дрянь в мусорный ящик!—  
кричит Дузеншен Тейчу и идет через двор в  
комендатуру.

Тейч собирает ордена и ленточки, чтобы ис-  
полнить приказание Дузеншена. Ротмистр те-  
ряет сознание и падает.

— Эй, вставай! Здесь это не пройдет!— кри-  
чит ему Тейч. Но тот лежит неподвижно рядом  
со своим узелком.

Три человека поднимают упавшего в обморок,  
тащат его в тюрьму и кладут в коридоре у ка-  
раульной.

После обеда заключенных разделяют на  
группы. Ротмистра помещают в общую камеру  
№ 2 отделения «А1».

Он входит туда бледный и растерянный. Никто из заключенных не знает, кто он. На вопросы он не отвечает. Его тошнит и рвет желчью.

Заключенные думают, что новичка избили, и Вельзен предлагает уложить его в постель. Он покорно, как ребенок, подчиняется.

В такие вечера в камере бывает тихо. Все говорит шопотом. Громкие игры прекращаются.

Караульный Ленцер отворяет дверь в камеру Торстена.

— Арестованный Торстен!

Вместе с Ленцером входит взводный Гарден, «ангел-избавитель». Ленцер включает свет. Торстен закрывает глаза.

— Ну, Торстен, радуйтесь, с этой жуткой дырой вы покончили.

Гарден молча смотрит на заключенного, мигающего от яркого света.

— Вы освобождены от темного карцера, Торстен, и переходите в группу два. Берите вещи и следуйте за нами.

Торстен больше испуган, чем обрадован. А Крейбель? Он останется один. Теперь ему не с кем будет перестукиваться.

— Но что с вами, Торстен? — удивляется Ленцер. — Вы как будто совсем не рады?

— Я думаю, господин дежурный, о заключенных, которые еще остаются здесь.

— Да ну, — говорит Ленцер, — прежде всего надо думать о себе.

Бросив немой взгляд на стену, за которой сидит Крейбель, Торстен выходит из камеры, где он провел шесть недель в полной темноте.

Его оставляют в том же отделении «А1», но помещают в одиночку № 14. Когда все уходят.

он глубоко вздыхает и жадно смотрит в окно, в ясное октябрьское небо...

В такой камере можно выдержать,— думает Торстен.— Никакого сравнения с норой и погребом. Осторожно выглядывает он из окна. Перед ним тюремный двор. По ту сторону стены — деревья и крыши домов. За ними красное кирпичное здание газометра, и рядом большое, высокое новое строение с множеством больших окон.

Ах, это небо... эти деревья... свет... солнечный свет!.. Мечтательно смотрит Торстен через оконную решетку.

Целыми часами любитесь Торстен красочным октябрьским небом, особенно в ясные сумерки при закате. Тогда, покрытое живописными облаками, оно принимает чудесные тона. Все погружено в глубокую тишину, и только птичье щебетанье, доносящееся со стороны сада, оживляет вечера.

Если встать на табуретку сбоку от окна, то можно незаметно для часового любоваться деревьями. Груши и яблоки уже сорваны, листья пожелтели. Особенно мил ему большой красный бук, который высоко раскинулся над фруктовыми деревьями. Утром, просыпаясь, Торстен посылает ему свой первый взор; вечером, когда все покрывается мраком,— последний.

Дни опять кажутся долгими и пустыми. Соседи не понимают его стука. Никто к тому же не знает его, а потому ему не доверяют.

Первое время он бродит по камере взад и вне-

ред и радуется свету, облакам, птичьему щебетанию, своему буку.

Но вскоре безделье начинает угнетать его.

Каждое утро он наблюдает, как заключенные из общих камер выходят во двор и разделяются на рабочие отряды.

Одни уходят с ломами и лопатами на разборку здания, другие метут двор, расчищают дорожки. Одиночники же обречены на безделье. И бесконечно долго тянется для них время.

В последний день октября стало известно, что Ленцера и Цирбеса сменяют.

На следующий день Майзель принимает отделение. Весь день он не показывается заключенным и вечером, когда камеры запираются, никому ничего не говорит. Все думают, что Майзель доволен отделением, и радуются, что все сошло так тихо и гладко. Совершенно неожиданно, приблизительно через час после закрытия дверей, поднимается дикий шум. Он начинается в первой камере отделения. По коридору разносятся страшные крики, ругательства.

Палачи переходят из камеры в камеру.

За шесть недель сидения в темноте чувства Торстена сильно обострились; ему все кажется, что во время избиения он слышит женский голос.

Сейчас они бьют кого-то в камере напротив. Звуки плетей и ужасные крики прерываются возгласами: «Убийцы!», «Сволочи!», «Красные бродяги!» И вдруг Торстен слышит совершенно ясно женский смех. Теперь нет сомнения. В этом участвует женщина. Кто бы это мог быть?

Избивают его соседа рядом. Он воет, как собака, и после каждого удара кричит. Сейчас они ворвутся к Торстену. Он чувствует, как

усиливается биение пульса, как появляется легкая дрожь, и старается взять себя в руки.

Камера рядом запирается. Идут. Вспыхивает свет. Звякает в замке ключ.

В дверях появляется красный разгоряченный поркой Майзель. Рядом с ним Тейч.

— Долой с кровати!

Торстен слезает. В это время он видит рядом с охранником в стальном шлеме и с винтовкой молоденькую девушку.

— Нагнись! — кричит Майзель, который рядом с Торстеном кажется мальчишкой.

Торстен смотрит в коридор. Вооруженный часовой и девушка стоят в полутемном коридоре, но Торстен ясно видит их. Девушка — маленькая, очень стройная, с узким изящным личиком.

Хлоп! Удар плеткой пришелся прямо по лицу.

— Ты ныгнешься, сволочь? — с пеной у рта кричит Майзель и наносит второй удар по лицу.

— Нагнись, собака!.. Нагнись!..

Торстен нагибается.

Майзель и Тейч бьют одновременно. В камере тесно, и Майзель хлещет по спине так, что концы плети задевают Торстена по лицу. Он руками защищает глаза, судорожно сжимает челюсти и ни одним звуком не выдает боли.

Наконец они останавливаются.

— Если вы, собаки, не будете повиноваться, то так будет каждый вечер! — кричит Майзель и захлопывает дверь.

Они идут в следующую камеру, где повторяется то же.

Торстен стоит босой, в одной тюремной сорочке, не зная, что делать. Так стоит он долго

и слушает, как избивают заключенных одного за другим.

Наконец осторожно, чтобы не было слышно, наливает в таз холодной воды и делает обтирание. Лицо, горящее и распухшее от ударов, охлаждает компрессами.

Из караульной до полуночи доносится громкий говор караульных и звонкий смех и пронзительные взвизгивания хрупкой девушки.

Когда ротмистр, с сумрачным лицом, заложив руки за спину, одиноко шагает взад и вперед у двери камеры, заключенные посмеиваются. В день своего прибытия он в продолжение нескольких часов молчал. Чтобы что-нибудь узнать, приходилось выжимать из него по одному слову.

Но чем больше заключенные узнавали, тем более возрастало их любопытство. Особенно заинтересовался ротмистром старый Дитч. Он то и дело подъезжал к нему. Единственной приманкой, против которой не мог устоять ротмистр, были расспросы о пережитом на войне. Целый вечер он наслаждался этими воспоминаниями. До сих пор помнит он каждый уголок румынского фронта, каждую станцию линии Будапешт—Бухарест, всех офицеров своего батальона, их социальное положение, их достоинства и недостатки. Ротмистр незаметно для себя становится разговорчивым. Ему кажется, что он нашел родную душу. Забившись в угол камеры, он рассказывает Дитчу о том, как его опозорили.

— Если бы они дали мне пощечину, били, топтали ногами,— это можно было бы снести, забыть. Но оскорбления, которое нанес мне этот мерзавец, я никогда не забуду. Это будет жечь

трудь до конца моих дней. За это и еще как офицер потребую удовлетворения.

Дитч мог бы многое возразить на это, но он молчит. Ротмистр продолжает:

— Я был национал-социалистом еще тогда, когда эти желторотые молодцы бегали в школу. Я получил свои отличия за Верден, когда большинства из тех, которые теперь выдают себя за героев, еще на свете не было, или, в лучшем случае, они были еще в пленках. А теперь они важничают и чванятся... Когда я выйду отсюда, я напишу генералу фон-Маккензен, которому я лично известен, — пусть узнают, как со мной обращались... Этого я так не оставлю!

На третий день Дитч добился своей цели; начав с фронтовых воспоминаний, они добрались до политики. Дитч, Вельзен, Шнееман — все внимательно слушают национал-социалиста оппозиционера.

Гордый и чопорный ротмистр уже не находит неприличным распространяться перед пролетариями о своих политических взглядах. Они сидят вокруг него, а он говорит медленно, ясно, внушительно и несколько высокомерно, — так, как будто бы ведет разговор с людьми, которые готовы заранее принять его доводы как откровение.

— Конечно, Гитлер провалится, это можно было предвидеть еще несколько лет тому назад. Он изменил своей собственной программе и предался Круппу и Тиссену. Что он до сих пор дал народу? Геббельсовский фейерверк, а не социализм! Разве банки перешли к государству? Разве налоговое рабство отменено? Разве версальский позор смыт? Ничего подобного! Ложь и обман и тот же капиталистический гнет, только под



другой вывеской! Вот что такое их Грегья империя!

Многие из заключенных удивлены. Он говорит без обиняков. Ротмистр, видимо, совсем не так плох, с ним можно сговориться. Вельзен ждет.

Барон продолжает:

— Но у рядовых членов гитлеровской партии и у штурмовиков скоро откроются глаза, и тогда национал-социализм вернется к своим прежним задачам, тогда под нашим руководством будут созданы предпосылки для германского социализма, будьте уверены. И тогда произойдет объединение народа, которому мешает сейчас Гитлер своими концентрационными лагерями и массовыми казнями и которое необходимо нам для того, чтобы предотвратить гибель нашего народа и дать отпор целому миру врагов.

Ротмистр с удивлением смотрит вокруг и видит широко улыбающиеся лица. Неприятна ему эта улыбка, уверенная и в то же время сострадательная.

— Только не так сильно напирайте,— хохочет Кессельклейн,— мы хотим немножко вперед вас пройти!

Ротмистр свирепеет:

— Вы думаете? Ах вы, несчастные! Вы даже не знаете, как вы далеки еще от этого! А когда германский социализм победит, то вы проиграли, и тогда вы лишние, просто лишние. У вас есть шансы лишь до тех пор, пока господствует капитализм. Вы мечетесь, как слепые, не зная сил, которые против вас направлены, уверенные в своей непогрешимости.

— Ого! — хохочет Вельзен.— Поменьше жару!

— Что ты так расстраиваешься?—спрашивает, улыбаясь, старая лиса Дитч.— Разве есть для этого какое-нибудь основание?

Какой-то молодой рабочий кричит:

— Да вы ничем не отличаетесь от обанкротившейся национал-социалистской лавочки! Что вы нам голову морочите с вашими задачами? Скажи нам лучше, как ты относишься к вопросу о классовой борьбе. И что за чудовище такое эта ваша Четвертая империя?

— Ах вы, коммунисты!

Ротмистр начинает ругаться. Он позеленел от волнения и злости, его серые глаза мечут молнии.

— Какое дело вам, коммунистам, до Германии? Разве вы действуете из национальных побуждений? Нет! Вы форпост внешней политики Советского союза.

Вельзен бросает взгляд на социал-демократа Шнеемана, который отвечает смущенной улыбкой. Почти те же возражения делал он, социал-демократ, против политики германской компартии.

— Вы, бесспорно, молодцы! Я питаю большое уважение к германским рабочим. Ваша борьба с Гитлером — героическая, смелая борьба. Но в конце концов вы все же пешки в чужих руках. Интернациональное братание! Пусть это красиво, пусть это хорошо. Но можно ли жертвовать германским народом для того, чтобы улучшить положение русского народа? Не сетуйте на меня, но я немец, и я с этим борюсь. Я против такого международного братания.

Несколько рабочих вскочили со своих мест. Никто уже не улыбается, все злобно смотрят на брызжущего слюной ротмистра.

Берет слово Шнееман.

— Я однажды высказал уже подобную точку зрения, — начинает он, — и с тех пор много думал об этом. И сейчас я понял, что был неправ. Почему? Потому, что мы должны быть не узко лобыми националистами, а пролетарскими интернационалистами. Само собой разумеется, что мы тяготеем к стране, в которой господствует рабочий класс. Мне казалось важнее всего, чтобы Германская советская республика стала немецкой советской республикой, а не российским вассальным государством. Теперь же я знаю, что национальный вопрос играет у Ленина большую роль, и в пределах Союза Советских Социалистических республик гарантировано национальное самоуправление и самоопределение. Поэтому сейчас я уже отказался от прежних своих близоруких взглядов.

Коммунисты поглядывают на Вельзена и Дитча. Они ждут от них необходимого ответа.

Вельзен чувствует взгляды товарищей: они ожидают, что он объяснит социал-демократу и наци основную задачу пролетарского интернационализма и при этом укажет, что в Москве в Исполкоме Коминтерна сидят не «русские», а представители всех секций Коммунистического интернационала, и что они выносят в Москве свои постановления не потому, что Москва — главный город Союза, а потому, что она центр мирового коммунистического движения.

Но Вельзен молчит. Он не доверяет этому барону фон-Борринггаузен-унд-Гельтлинг.

Дитч не понимает молчания товарища, он предпочел бы, чтобы говорил Вельзен, потому что сам он не чувствует себя уверенным в этих вопросах. И в самом деле, он после первых же фраз впадает в противоречие.

Ротмистр сейчас же подхватывает это, и Дитц, чувствуя всю ответственность своего выступления, еще более горячится и путается. Кессель-Клейн хочет ему помочь, но вместо того, чтобы спорить, ругается. Али, комсомолец, старается поднять ротмистра насмех. Спор превращается в ссору.

В это время открывается дверь. Вельзен кричит:

— Смирно !

Заключенные подымаются со своих мест и становятся навтыжку.

В дверях стоит Майзель, он сразу видит, что в камере какое-то замешательство и что все заключенные сгрудились вокруг ротмистра.

— Гельтлинг!

Ротмистр выходит:

— Арестованный фон-Боррингаузен-унд-Гельтлинг!

— Ну это, пожалуй, как вам угодно,— и Майзель презрительно кривит рот.— Вы будете отпущены. Но сначала вы мне скажете, о чем это вы говорили только что с заключенными. Поняли?

— Конечно, господин караульный!

— Ну, так собирайте ваши вещи.

Как только Майзель затворил за собой дверь, заключенные стали наступать на ротмистра:

— Ты ему скажешь?

— Смотри, ведь это только уловка Майзеля, тебя не отпустят: ведь освобождает «ангел-избавитель». Майзель хочет только все от тебя выведать.

— Ты... ты нас не выдашь, слышишь?

— Послушайте-ка, за кого вы меня принимаете? Об этом не может быть и речи.

— Ты был в лагере только три дня,— говорит один.

— Четыре! Четыре дня,— поправляет его ротмистр.

От волнения он обрывает у ботинок оба шнурка.

Майзель отворяет дверь. «Ангел-избавитель» стоит рядом. Кессельклеин еще раз шепчет:

— Ну, смотри, молчи!

Ротмистр, не прощаясь, уходит.

Среди заключенных напряженное волнение. Через несколько минут будет известно, промолчал ли ротмистр.

Али все время подходит к двери и слушает. Волнение передалось и Вельзену; он бегаёт взад и вперед у двери.

— Идет!— шепчет Али, услышав шаги.

Все смотрят на дверь.

Майзель входит.

— Смирно!.. «А — один», камера два, тридцать семь человек, три койки свободны.

— Дитч!

Как будто бы кто ударил по заключенным. так они вздрагивают.

Старик Дитч выходит.

— Собрать вещи! Вы пойдете в одиночку. Да поживее, старина!

Майзель, скрестив руки, стоит у двери и смотрит на заключенных. Дитч дрожащими руками собирает свои вещи. Майзель хладнокровно и деловито заявляет:

— Если еще раз будет разговор о политике, всех выпорю!

У двери Дитч поворачивается и говорит:

— До свиданья, товарищи!

Тут Майзель теряет свое спокойствие.

— Товарищи?! — кричит он. — Товарищи?!—

и бьет Дитча большими тюремными ключами по голове и по лицу.

Весь в крови, старик, шатаясь, побрел по коридору.

Первые дни ноября холодны и дождливы. Неожиданно быстро наступают суровые осенние дни. Небо свинцовое. Резкий восточный ветер раскачивает деревья.

Внезапная перемена погоды совсем сваливает с ног заключенных.

Лишенные работы и движения, без достаточного питания и теплой одежды, заключенные теряют способность сопротивления. В лагере свирепствует грипп.

Торстен борется за свое здоровье. Его организму прежде всего нехватает хорошей пищи и движения. С питанием ничего не поделаешь, но движение можно создать искусственно.

Четыре, даже пять раз в день делает он гимнастику. Тогда к вечеру он так утомлен, как будто занимался тяжелым физическим трудом. Выпив на ночь горячего кипятку, он обматывает шею шерстяными носками, плотно укутывается в одеяло и потеет. Таким образом он предохраняет себя от гриппа.

Между тем заболевают сотни заключенных. Госпиталя при лагере нет. Лазарет бывшей каторжной тюрьмы снесен. Заболевшие лежат в общих камерах и одиночках. Фельдшер бегаёт с утра до вечера по отделениям и раздает больным аспирин, касторовое масло и какие-то белые пилюли.

Заболел и Крейбель. Спустя несколько дней после Торстена его также перевели в светлую

камеру: И вот он лежит на койке с воспаленным горлом и сильной головной болью. Вечером и утром получает он по таблетке аспирина и две белые пилюли.

С быстротой молнии распространяется в рабочем квартале города весть о том, что в лагере вспыхнула эпидемия гриппа. Родственники заключенных весь день стоят у входа в лагерь. Часовые успокаивают их, но никто им не верит. Женщины ругаются, их разгоняют, но они снова собираются небольшими кучками, спорят, бранятся, жалуются и осаждают ворота, за которыми лежат их избитые и больные мужья и сыновья.

Наконец комендатура лагеря сообщает в ежедневной прессе, что за исключением нескольких случаев простуды, неизбежных в это время года, никаких заболеваний в лагере не наблюдается. Среди заключенных не было еще ни одного смертного случая от гриппа. Питание — удовлетворительное, уход за больными — безукоризненный. Виновные в распространении ложных слухов будут подвергнуты наказанию и заключению в концентрационном лагере.

Торстен недоволен собою. Вот уже сколько дней он собирается привести в систему свои знания, касающиеся Октябрьской революции, и разработать большой доклад. Но у него не хватает внутреннего спокойствия, не хватает энергии на то, чтобы сконцентрировать свои мысли. Эта холодная, сырая погода действует на него удручающе и лишает охоты работать.

Целыми часами сидит он на табуретке, уставившись в мутно-серое небо и прислушиваясь к вою ветра. Его любимый красный бук, что висит за тюремной стеной, растрепала неисто-

вая буря. Роскошная одежда бука осыпалась, и множество мелких голых веточек образуют на фоне неба нежную филигрань.

Торстена занимает новая забава. Он находит в ветвях бука портреты, виды, карикатуры, цифры. Достаточно самого ничтожного намека, а остальное дополняет фантазия... Мостик, по которому переправляется старомодная карета... Крестьянский дом, какие встречаются в Нижней Саксонии, а над ним круглый диск луны... Стремительные огненные всадники на вздыбленных конях; они даже двигаются, когда по ветвям пробегает ветер...

Торстен отыскивает цифры и, если находит тройку, задумывается. Сколько еще? три месяца? три года? Он ясно видит в ветвях девятку. Девять месяцев или девять лет?.. Девять месяцев значит — в июле будущего года. В июле...

Так проводит он часы и дни. В промежутках между игрой и мечтаниями он встряхивается, занимается гимнастикой, выполняет свой ежедневный урок: двадцать пять приседаний, двенадцать мостов, двенадцать вращений корпусом. Потом, после напряжения, связанного с гимнастикой, чувствуя приятную усталость, он снова опускается на свою табуретку, снова мечтательно смотрит в небо и вглядывается в узоры буковых ветвей.

...Анна, жена — где она, что она делает?.. Как перебивается?..

...Тецлин... Зачем он так резко ответил ему тогда?.. Но ведь он сам был почти на краю могилы... Тецлину нужно было выдержать до конца. Ведь это было не предательство, — его вынудили пыткой.

...Хемниц. Да, в Хемнице, конечно, работают. Он уверен. Там крепкий народ. Ведет ли газету



попрежнему большой Оссиг с железодельного завода?.. Чудесный парень этот металлист! Ловкий, умный, надежный... А старый Визе, деревообделочник с искалеченной рукой... Все ли он парторгом?.. А тощий Братче, которому в двадцать третьем году солдаты Носке выбили глаз и который шесть лет руководит ответственным участком работы?

...А Элли, смелая и решительная девушка... Как она руководила молодежью! Партия располагает превосходным человеческим материалом... Никогда не удастся уничтожить их, лишит бодрости духа...

...Этот Кауфман, должно быть, отъявленная сволочь! Допускает истязания в своем присутствии. И какие истязания! Чиновники-садисты. Резиновый жгут в кожаном футляре...

...А фельдшер Бретшнейдер... Поди разберись в нем. Чего он хочет? Перестраховаться на всякий случай? Как бы там ни было, он не исполняет безоговорочно всего, что ему приказано. Нужно поговорить с ним откровенно... в следующий раз... Предстоит ли провести весь этот год в лагере, или переведут в предварительную?.. Там можно писать, курить, читать. Там не бьют и ежедневно выпускают на двадцатиминутную прогулку... Да это была бы чудесная штука!

Торстен сидит на табуретке, глядя по привычке в окно. Его знобит. Он смотрит в гущу буковых ветвей. Снова отчетливо видит тройку. Три года еще... три года!

...Молодого Крейбея они доконают. Его силы и так уже были на исходе. Неужели он все еще сидит в погребе?..

Перестукивание все-таки замечательная вещь! Неужели его соседи не понимают стука? Не по-

пробовать ли еще раз? Он ведь тоже не сразу понял...

Торстен хочет возобновить попытки. Но вот слышны шаги, и дверь отворяется.

В камеру входят комендант лагеря, какой-то мужчина в сером костюме и начальник отряда Дузеншен. Караульный остается за дверью.

Комендант медленно направляется к Торстену и останавливается на середине камеры. Его глаза пытливо уставились на вытянувшегося перед ним заключенного. Несколько секунд они стоят безмолвно друг против друга. Лицо коменданта стало еще толще, как налитое. Глаза совсем заплыли. Подбородок благодаря мясистым щекам потерял все признаки энергии, мужественности. Комендант поджимает выпяченные губы и чуть-чуть улыбается.

— Как вы себя чувствуете?

— Хорошо.

— Вы ни на что не жалуетесь?

— Нет.

— Вы больны?

— Нет.

Мужчина в штатском выходит вперед. Он маленького роста, сухощав, с измятым, измученным лицом. Торстен думает: «Сыщик из уголовного розыска». Но его можно принять и за торговца жирами. Усталым голосом он говорит Торстену:

— Это мы с вами так обращаемся. Что сделали бы вы с нами?

Торстен молчит.

— Что это за банка?

Торстен объясняет, что у него нет кружки для питья и он пользуется вместо нее этой стеклянной банкой из-под варенья.

— Ну, ну, мы уж не так бедны. Кружок еще хватит.

Маленький худенький человек обращается к начальнику отряда:

— Дать сюда кружку!

— Слушаю, господин президент!

Торстен вздрагивает. Президент? Этот невзрачный человечек — высший чиновник прокуратуры? Он смотрит в это скучающее пергаментное лицо, в эти ничего не выражающие, мертвые глаза. Это президент? Тогда нельзя медлить.

— Господин президент, разрешите вопрос?

— В чем дело?

Комендант и начальник отряда сердито смотрят на Торстена. Тот твердым голосом спрашивает:

— Избиения в лагере происходят с вашего ведома?

В камере ледяное молчание. Президент долго смотрит в глаза сумасбродного арестанта. И не спешит с ответом. Комендант опускает губы и злобно ухмыляется. Дузеншен щурит глаза и слегка кивает головой. Это значит: «Ну, молодец, придется тебе еще повидать виды!»

— Об избиениях ничего не знаю.

Президент поворачивается и первым выходит из камеры. Комендант бросает на Торстена быстрый, но многозначительный взгляд и тоже выходит. Дузеншен, торопясь за ними, не может сдержать своего: «Ну, погоди же!»

Все трое входят к Крейбелю. Тот лежит на койке в сильном жару.

— Вы простудились?

— Да.

Президент выходит немного вперед и спрашивает:

— Вам оказывают врачебную помощь?

— Да.

— Так обращаемся мы с вами. А что сделали бы вы с нами?

Президент отворачивается от больного и, желая выйти из камеры, встречается глазами с Дузеншеном. Тот расплывается в подобострастной улыбке. Они выходят.

Президент убедился уже в образцовом порядке, но еще выражает желание посетить одну из общих камер. Идут в отделение «А1».

— Смирно!— кричит староста и рапортует: — «А — один», камера два, тридцать семь человек, три койки свободны. Семь человек больны гриппом.

— Вы врач?— спрашивает старосту комендант.

— Нет, господин комендант.

— Так откуда вы знаете, что эти семь больных гриппом?

— Это установлено фельдшером.

— И он вам сообщил об этом?

— Да.

— Вы на что-нибудь жалуетесь?

— Нет,— отвечают несколько человек за всех.

Президент сразу задает свой второй вопрос:

— Хорош ли уход за больными?

— Да.

Президент поднимает указательный палец и говорит усталым, плаксивым голосом:

— Так обращаемся мы с вами. А что бы вы сделали с нами?— и в сопровождении коменданта и Дузеншена выходит из камеры.

В коридоре президент выражает коменданту свою благодарность за изумительные результаты, им достигнутые. Они трясут друг другу руки, кланяются. Даже Дузеншен удостоился рукопожатия.

— В самом деле, прекрасно. Я не понимаю, чего они хотят? Аа... э... даже до нас доходят слухи... и того... Просто не верится! Нет, действительно, честное слово... А... э...

Комендант и Дузеншен провожают президента до машины.

— ...В самом деле образцово. Не нахожу слов, чтобы благодарить вас, господин комендант. Я поражен! Невероятно корректно! Нет, в самом деле великолепно!..

Ни комендант, ни Дузеншен не говорят ни слова.

Когда автомобиль президента отъезжает, они смотрят друг на друга, ухмыляясь. А когда тяжелые ворота тюрьмы снова запираются, они разражаются громким хохотом:

— Жалкая фитюлька!

Коменданту нечего стесняться перед своим подчиненным.

А тот дает президенту иную характеристику: он называет его настоящим реакционером праведовских времен.

— Но,— добавляет он,— с этой косной кликой мы еще когда-нибудь разделаемся!

Эллернгузен бросает на него быстрый взгляд. В его глазах мелькает выражение превосходства и иронии.

В этот вечер не один десяток заключенных призадумался над тем, что они сделают с фашистами, когда рабочий класс получит власть.

«...Эти ужасы были неизбежны,— думает Торстен,— германские рабочие недостаточно прониклись ненавистью к своему классовому врагу. Эта кровавая школа пролетариату необходима для того, чтобы взяться за оружие...»

В камере № 4 долго спорили по этому поводу. Есть еще много таких, которые признают индивидуальную месть, считают, что надо платить злом за зло.

Целыми часами обсуждался вопрос: будем ли мы подвергать избиению наших заключенных противников? Одни громко и страстно заявляют, что и порку, и темные карцеры, и нравственные пытки — все это фашисты должны испытать на себе. Август Мельнер, беспартийный рабочий, предлагает в отношении национал-социалистов, штурмовиков, охранников применять ту же систему наказаний, которой они сами подвергали рабочих. Другие резко осуждают порку и говорят, что предстоят дела поважнее; что пролетарские элементы в рядах штурмовиков могут еще быть завербованы для борьбы за дело рабочего класса; что классовых врагов мы будем, конечно, уничтожать, но не подвергать пыткам.

Кто-то вносит предложение поставить этот вопрос на голосование. Каждому дают клочок бумаги, на котором он должен написать свое мнение.

Записки раздает Али. Разговоры по этому вопросу прекращаются. Многие долго думают, прежде чем передать записку.

За ужином Вельзен поднимается со своего места.

— Товарищи, я хочу вам сообщить результаты голосования.

Все горят любопытством и впиваются в Вельзена глазами.

— Из тридцати семи товарищей голосовало тридцать пять, из них тридцать три высказались за расстрел, один — за повешение, один — за избиение до смерти.

Некоторое время все молчат. Потом посыпались остроты. Каждый старается под шуткой, под небрежным замечанием скрыть свое удивление по поводу таких результатов.

Вельзен не может уснуть. Часы на тюремной башне бьют десять. Три часа уже ворочается он на своем соломенном тюфяке. Рядом слышны дыхание и храп товарищей. Он вглядывается в слабый свет дежурной лампы, висящей над рядами коек, которые заняты спящими товарищами. Почти каждый из них подвергался жестоким истязаниям. Некоторые переведены сюда из темных карцеров и одиночек. Молодому Вальтеру Кернингу сломали два ребра. У Отто Штаммера еще и теперь — три недели спустя после порки — выделяется с мочой кровь. Гейнрих Эльгенгаген, чтобы избавиться от ночных избиений, хотел покончить самоубийством и с этой целью глотал ржавые гвозди, — он еще до сих пор страдает тяжелыми желудочными кровотечениями. Старика Дитча они избили и бросили в одиночку... О каждом знает Вельзен что-нибудь ужасное. И лишь один из всех хочет отомстить за избиения. Лишь один... Тридцать три гнушаются этим. Тридцать три в этом вопросе тверды, беспощадны, но не жестоки.

Вельзен никак не может уснуть. «Товарищи! — хочется ему крикнуть, — товарищи! Я люблю вас, безгранично люблю вас и счастлив быть в ваших рядах. Товарищи! Вы правы: гадов надо убивать, но даже их не надо мучить...»

Старший отделенный Гармс выходит из караулки и собирается подняться по лестнице, ведущей в тюрьму, как вдруг слышит из другого.

конца коридора тихое: «ист... ист...» Он поворачивается и видит, что какой-то заключенный машет ему рукой. Что это он, с ума сошел? Он идет прямо к нему, чтобы посмотреть, кто это осмелился звать его таким образом. Теперь он узнает его: это кальфактор Кальман. Но тот вдруг поворачивается и бежит стремглав по небольшой винтовой лестнице в верхнее отделение.

Гармс теперь совсем изумлен. Что это значит? Его приняли за кого-то другого, это совершенно ясно. Но кто это с заключенными в таких таинственных отношениях? Кто это с ними на такой приятельской ноге? Во всяком случае, он поднимается по узкой лестничке в «А2».

В коридоре работают оба его отделенных кальфактора. Меллер метет пол; Кальман чистит дверные замки. Гармс подходит к Кальману. Он ясно видит, что тот, усиленно действуя тряпкой и громко стуча засовами, хочет скрыть свое волнение.

— Что это значит? Зачем ты ходил в отделение «А1»?

Заключенный растерянно смотрит на караульного и молчит.

— Я советую тебе отвечать и говорить правду. Не то высеку и посажу в темную. Ну, говори, кого ты там искал, внизу?

— Караульного Ленцера.

— Ленцера? Зачем он тебе понадобился?

Меллер бросает товарищу предостерегающий взгляд. Тот медлит, дрожа от страха и волнения.

— Ну, ну, отвечай, брат! Что тебе надо было от Ленцера?

— Он... он... принимает наши заказы на табак.

— Какие такие заказы на табак? Ведь заказы на табак производятся в указанные сроки. И их принимает Реймерс. Ты врешь, собака!



Гармс соображает. Тут что-то неладно. Надо докопаться, в чем тут дело.

Он зовет караульного Кенига из отделения «А3», коротко сообщает, что произошло, и идет с ним и Кальманом в камеру для порки в конце коридора.

Плети лежат в караульной или в школе, в отделении «А1». Гармс не хочет идти туда, чтобы не натолкнуться на Ленцера, и берет ножку от стола, толщиной в руку. Кениг находит кусок корабельного каната из материала, который заключенные перерабатывают в пеньку. Когда они, вооруженные таким образом, идут по коридору, Кальман начинает плакать и просить:

— Не бейте, господин караульный! Пожалуйста, не бейте! Я не вру. Я хотел передать караульному Ленцеру заказ палаты. Честное слово, господин караульный! Не бейте, пожалуйста, не бейте!

— Молчать, болван!

— Зачем вы хотите бить меня, господин караульный? Я не сделал ничего плохого.

Они останавливаются у камеры. Гармс отворяет и вталкивает туда кальфактора.

— Ну, мерзавец, это чтобы ты сразу разохотился и почувствовал желание сказать нам правду. Нагнись!

— Господин караульный, я...

— Нагнись, говорят! Чорт тебя подери!

Кальфактор дрожит и весь трепещет. Неестественно расширенными глазами он в ужасе уставился на толстую ножку от стола.

Гармс, прищурив глаза, подвигается к заключенному, отстегивает кобуру и вынимает маузер.

— Ты еще будешь сопротивляться?! Сопротивляться?! Ты нагнешься или нет?

Кенигу становится жутко. Это уж слишком. Стоит заключенному сделать какое-нибудь неосторожное движение — и Гармс выстрелит. Еще окажешься свидетелем неприятной истории. Он хочет схватить Гармса за полу, удержать от необдуманного шага.

Но заключенный нагибается, и Гармс прячет маузер. Размахнувшись палкой, он тяжело бьет кальфактора по заду. Тот отчаянно вскрикивает, выпрямляется и стоит, шатаясь, с открытым ртом.

— Нагнись! Скотина!

Тот снова машинально нагибается.

Гармс хочет еще раз ударить палкой, но Кениг выхватывает ее и дает ему свой канат.

Гармс, как одержимый, бьет три... четыре... шесть раз.

— Так! А теперь я хочу знать правду. Настоящую правду. Иначе—боже тебя упаси! Чего тебе надо было от Ленцера?

Заключенный долго ничего не может говорить, но постепенно собирается с духом и говорит, заикаясь:

— Караульный Ленцер... закупает для нас... табак... Я... хотел дать ему... список заказов.

Гармс и Кениг переглядываются. Гармс сияет. Ладно! Все ясно: Ленцер заодно с заключенными. Здесь обделываются темные делишки.

— Когда Ленцер закупает для вас табак?

— Ежедневно.

— Только табачные изделия или еще что-нибудь?

— Обычно только табак.

— Обычно? Значит, и другое?

— Да.

Гармс торжествующе смотрит на Кенига. Тот сбит с толку и вовсе не радуется, слыша эти разоблачения. Ленцер — хороший товарищ; правда, ужасный горлопан, но по существу порядочнее многих. Кениг спрашивает:

— Что это вообще за история?

— Как ты не понимаешь? Все совершенно ясно. Роберт Ленцер стакнулся с коммунистами. Делает для них покупки. Принимает от них заказы... Я об этом давно догадывался. Я никогда не доверял этому негодяю. Вот комендант будет поражен!

— Но ведь из показаний кальфактора нельзя сделать такого вывода. Может быть, он достал для заключенных только немного папирос.

— Это тебе так кажется. Эти дела так проста не делаются. Видишь, как далеко уже зашло,— ему уже свистят... Между прочим, где у тебя список заказов?—обращается он к заключенному.

Кальман вытаскивает из внутреннего кармана своего платья маленькую скомканную записочку и подает ее Гармсу.

Тот читает:

— «Шесть пакетов Бринкман-Штольц, один пакет «Полевого цветка», десять пачек папиросной бумаги, восемь коробок «Ллойд-сигарет» и одну щетку для зубов».

Гармс, ухмыляясь, складывает записку и кладет ее за обшлаг.

— Ну, марш отсюда! И если хоть словом проговоришься, еще раз выдеру. И уже тогда поосновательнее.

Заключенный убегает.

— Откровенно говоря, мне жаль. Ленцера. Он меньше всего заслужил это.

— Что это ты говоришь?!

Гармс удивлен и испытующе смотрит на Кенига.

— Он этого не заслужил! Чего не заслужил? Он пускается с заключенными в сделки! Ты разве этого все еще не понимаешь?

— Ну да, это конечно, но... Что ты думаешь делать?

— Ты, право, какой-то странный! О чем я еще должен думать? Доложу. Что тут можно сделать? А его несенка спета! Ему у нас уже нечего делать... Или ты другого мнения?

— Н-нет... Надо, конечно, об этом доложить.

По дороге в комендатуру Гармс начинает раздумывать: «Лучше всего, если я сейчас же доложу коменданту. А то Дузеншен в конце концов повернет эту историю в свою пользу... Но если я обойду его, он будет злиться на меня. А что я за это получу? Надо думать, что-нибудь побольше простой благодарности, — звездочку бы, по меньшей мере».

Ни коменданта, ни начальника штурмового отряда на месте нет. Гармс колеблется. Сообщить о своем открытии Гардену и Риделю? Это было бы неумно, но ему очень хочется поделиться с кем-нибудь. Однако благоразумие берет верх, и он выходит из караульной, не открыв своей тайны.

Караульный Майзель отворяет камеру № 1. На возглас старосты заключенные встают, Майзель, стоя у двери, объявляет:

— Через несколько минут я дам сигнальный свисток, тогда вы построитесь и будете так стоять до второго сигнала. Сегодня, девятого

ноября, в день преступного революционного выступления марксистов, вся Германия демонстрирует свою волю к народному единству.

Затем он запирает двери и идет в следующую камеру, № 2. Усталый, не в духе, какой-то особенно надменный, скрестив руки и нахмутив лоб, он снова повторяет то же самое.

Входить в каждую одиночку и повторять одно и то же ему лень; он останавливается в коридоре, и, сделав руками рупор, кричит:

— Слушайте, одиночники! Когда раздастся свисток, вы должны выстроиться у окон!

Потом спускается в подвал, к сидящим в темных карцерах. Матовая лампочка, освещает каменные стены и толстые железные двери, за которыми сидят узники во тьме, в одиночестве. Майзель становится у лестницы и кричит:

— Слушайте, сидящие в темных карцерах! Когда раздастся сигнальный свисток, все должны стать в том месте, где окно, навывтяжку!

Когда Майзель подымается по лестнице, он слышит, как караульные других отделений оповещают о том же своих заключенных. Он смотрит на часы.

— Смирно! — кричит Майзель.

Караульные каждого отделения выстраиваются перед камерами.

Майзель, не отрываясь, смотрит на свои часы, выверенные по башенным часам биржи с точностью до одной секунды.

Наконец дает длинный, пронзительный свисток.

Караульные вытягиваются, руки по швам, глядя в одну точку.

Неподвижно стоят заключенные, каждый на своем месте, и слушают. Сидящие в одиночках

и темных карцерах гадают о том, что это должно означать.

Майзель, не отрываясь, смотрит на часы и дает второй сигнал.

Скованные мышцы караульных расправляются.

Заключенные в общих камерах возвращаются на свои места. Одиночники начинают ходить взад и вперед по камере. Узники темных карцеров садятся, скорчившись, где-нибудь в углу, и снова впадают в полудремотное состояние.

После второго свистка Гармс быстро заглядывает через «глазок» в одиночки, чтоб посмотреть, как ведут себя заключенные после сигнала. Он видит, что Крейбель продолжает лежать на койке, и бежит вниз за длинной плетью из гиппопотамовой жилы.

Спрятав плеть за спину, он входит в камеру.

— Ты стоял сейчас у окна, как было приказано?

— Нет, господин дежурный.

— Почему нет?

— Я болен, господин дежурный.

— А за нуждой ты слезаешь или нет?

Крейбель молчит.

— Ты встаешь за нуждой или нет? Отвечай!

— Так точно, господин дежурный.

— Значит, тогда ты можешь встать! Долой с постели! Марш! Марш!

Крейбель слезает с койки.

— Вон! В коридор, марш, марш!

Не успел еще Крейбель выйти в коридор, как Гармс хлещет его плеткой по спине и кричит:

— До лестницы марш, марш!.. Назад... марш, марш! До лестницы — марш, марш!.. Назад — марш, марш!

И каждый раз, когда Крейбель пробегает мимо Гармса, раздается свист плети.

— Ложись! Вставай! Марш, марш!.. Ложись! Вставай! Марш, марш!.. Ложись! Вставай! Марш, марш!..

Как полоумный носится Крейбель по холодному каменному коридору, в одной рубашке, босиком. Стиснув зубы, сжав кулаки так, что ногти впиваются в тело, он падает, поднимается, бежит... снова, снова и снова...

Наконец Гармс кричит:

— Назад в камеру, марш, марш!

Когда Крейбель пробегает мимо него, Гармс еще раз изо всех сил бьет его по спине узловатым концом плетки.

— погоди, ты у нас тоже узнаешь, что такое дисциплина и единство народа!

Гармс запирает дверь и отходит, а затем на цыпочках подкрадывается к ней, тихонько отодвигает заслонку глазка и заглядывает в камеру.

Он видит, как Крейбель ощупывает спину и ноги, видит темные пятна и кровоподтеки на его теле.

И снова тихо на цыпочках уходит.

— Господин комендант! Что мы будем делать с Торстеном?

Комендант лагеря Эллернгузен улыбается и как будто соображает. Дузеншен с нетерпением смотрит на него в ожидании ответа.

— Можно было бы опять бросить его в темную, — предлагает он.

Комендант все не отвечает. Грузно развалился он в кресле за своим письменным столом и думает

— Зачем мы вообще так долго возимся с такими людьми?

Комендант поднимает глаза и смотрит в лицо Дузеншену.

— Все это не так просто.

— Я — за упрощенные способы.

— Не всегда можно делать то, что хочется!

Эллернгузен встает. Он почти на целую голову выше Дузеншена.

— Вот, например, мне совсем не нравится история с Кольтвицем... Конечно, дело не в самом еврее, — евреев, по-моему, вообще нужно бы то бы уничтожить, как вредных насекомых, — дело в другом... Этот Кольтвиц предлагал за свое освобождение сто тысяч марок залога. Уже шли переговоры между гестапо и его адвокатом, — и вдруг в такой момент эта свинья вешается. Нужно было помешать этому. Сто тысяч марок — это большие деньги, и их надо было с него содрать. Если бы с ним потом на воле что-нибудь такое случилось, — ну, тут уж было бы совсем другое дело... Иногда и поспешность оказывается вредной.

— Ну, мы едва ли можем помешать кому-либо повеситься.

Комендант, который во время разговора медленно подошел к окну, оборачивается к Дузеншену и, улыбаясь с видом превосходства, говорит:

— Я ведь распорядился доложить мне, как обстояло дело с евреем и какой вид был у него, когда его привезли в крематорий... Конечно, дело прошлое, назад не вернешь!

Дузеншен с трудом сдерживает себя. Его так и подмывает напомнить коменданту, что всего несколько недель тому назад он находил об-



ращение с заключенными слишком гуманным. Ему очень хочется сказать, что обязанности заведующего лагерем, чиновника, служащего ему, начинают надоедать, но он вспоминает о трехстах марках жалованья, берет себя в руки и молчит.

Эллернгузен уже далеко не так теперь нравится ему, как когда-то, когда тот проходил во главе морских штурмовых отрядов через кварталы, заселенные красными. Начальника отряда, командира полка Эллернгузена он уважал, за него он пошел бы в огонь и воду. Государственный советник Эллернгузен развирел и стал неповоротлив. Он потерял черты солдата и стал ему удивительно чужд.

С грустью разглядывает Дузеншен коменданта, который повернулся к нему спиной и смотрит в окно на тюремный двор. Молчание затягивается, и Дузеншену становится не по себе. Он уже начинает подумывать, как бы незаметно выйти из комнаты. Но вот кто-то стучит.

Комендант оборачивается и кричит:

— Войдите!

В комнату входит Гармс.

— Господин комендант, у меня для вас важное сообщение.

— Да! В чем дело?

Гармс долго разнюхивал, пока не проведал, когда Дузеншен будет у коменданта. Сообщить одновременно тому и другому казалось ему самым лучшим разрешением вопроса.

— Господин комендант! Мне удалось узнать, что охранник-караульный Роберт Ленцер заодно с коммунистами!

Гармс делает паузу и смотрит, какой эффект произвело его сообщение. Комендант перево-

дит глаза на Дузеншена, потом опять на Гармса. Он совсем не так уж удивлен, он думает: «Этот офицер мне нравится. Симпатичное лицо. Повидимому, не без образования. Должно быть, из хорошей семьи».

— Что-о?! — вырывается у Дузеншена, который не верит своим ушам. — Ленцер? Роберт Ленцер? Вы в этом уверены?

«...Если приглядеться повнимательнее, так Дузеншен просто солдафон, — продолжает размышлять комендант, снова посмотрев на него. — Неуклюж, ненаходчив. Теперь бы ему не выдвинуться в начальники отряда. Прошли те времена, когда подобные типы делали карьеру! На что он, в самом деле, годен? Никакого понятия о том, что требуется в настоящий момент, никакой гибкости! Так и остался тупым рядовым, штурмовиком, который не может разобраться в быстрой смене политических ситуаций».

Дузеншен удивлен, что происшествие с Ленцером, повидимому, совсем не трогает коменданта, и, сделав несколько шагов вперед, спрашивает:

— Прикажете, господин комендант, старшему начальнику отделения изложить доказательства?

— Да, конечно. Расскажите, Гармс.

— Я узнал через кальфакторов моего отделения, что караульный Ленцер ежедневно контрабандой доставляет в лагерь табак и еще кое-какие вещи. Один из кальфакторов отделения «А — один» по ошибке принял меня за Ленцера и окликнул. У него был этот список заказов, и он хотел передать его Ленцеру.

Гармс передает коменданту небольшую измятую бумажку. Тот пробегает ее глазами, кладет на свой письменный стол и обращается к Гармсу:

— Дальше?

— Я изложил вам обстоятельства дела, господин комендант.

Комендант долго молчит и вдруг вскрикивает:

— Безобразия! Чорт знает, какое безобразие! — и с упреком смотрит на Дузеншена. — Как это могло случиться? Впрочем, я уже давно ожидал чего-нибудь такого... Старший начальник отделения, вы мне представите докладную записку для передачи по инстанции. А пока — молчок! Мы накануне избирательной кампании. Я считаю нецелесообразным волновать людей перед выборами... Поняли?

— Так точно, господин комендант!

— Можете идти.

Гармс. щелкает каблуками, делает поворот на месте и выходит из комнаты.

— И вы никогда ничего не замечали? — спрашивает комендант Дузеншена.

— Нет, господин комендант.

У Дузеншена сердце вот-вот выскочит. Кровь бросилась в голову. Что это с комендантом? Почему это он хочет заставить его отвечать за все? Что значит этот звучащий упреком тон?

— Господин комендант! Такое предательство всегда возможно и раньше встречалось еще чаще, нежели сейчас.

— Вы в своем уме, Дузеншен?! — в бешенстве накидывается на него комендант. — Раньше мы были организацией для защиты партии, а сейчас мы являемся войсками для обороны государства. Сейчас для тех, кто нарушает дисциплину, введена строжайшая военная дисциплина и полевые суды. Неужели мне нужно растолковывать все это даже вам?

Дузеншен ничего не отвечает. И как пощечина звучат для него слова коменданта:

— Идите!.. Я хочу остаться один.

Весь день сидит Дузеншен, запершись в своей комнате. Вечером он совершает обход лагеря.

В корпусе «А1» бывшей каторжной тюрьмы он сталкивается с Майзелем, Тейчем и Нусбеком, которые с плетями и бычьими жилами «навешают» одиночников. Дузеншен присоединяется к ним и, как безумный, избивает заключенных.

Вальтер Крейбель лежит с высокой температурой. Фельдшер разрешил ему лечь так, чтобы он мог смотреть в окошко, и он весь день, не отрываясь, глядит на крохотный клочок неба, виднеющийся между квадратами решетки. Немножко приподнявшись, он может видеть оголенные осенью верхушки деревьев за тюремной стеной. Он часто приподнимается.

Его никогда не пугали ни тюрьма, ни каторга. Но что это так тяжело, ему и в голову не приходило... Тот, кто провел заключение в общих камерах, но никогда не сидел в темном карцере или в одиночке, в вынужденной праздности, не может себе представить, какая это душевная пытка... что значит быть отданным во власть караульных, когда ты один, беспомощен... Если избивают кого-нибудь из общей камеры, то и ему товарищи не могут помочь, но сознание, что они здесь, что они это видят, что они потом скажут слова сочувствия, — уже это одно помогает пережить многое. Но когда ты один — это невыносимо тяжело!

Вот подходит зима. Будет холодно в этих каменных стенах. А потом, когда вернется весна, когда снова станет пригревать солнце, когда зазеленеют кусты, деревья... Если он когда-нибудь снова очутится на свободе, то будет благоразумнее.

...Ильза будет очень довольна, если он начнет больше заботиться о доме и семье. А маленький Фриц... В каких условиях он вообще растет?.. Ни воспитания, ни настоящего ухода, — ведь он почти совсем не заботился о ребенке... Теперь это будет совсем по-иному...

...Лежать на диване... Мальчуган будет взбираться на тебя и кувыркаться... Слушать радио... читать газету...

Ах, такие скромные желания!..

Чьи-то шаги. Кто-то смотрит в глазок. Камера отпирается, входит фельдшер в белом халате.

— Ну, Крейбель, как дела?

— Немножко лучше, господин фельдшер.

— Ну, вот видите! А вы уж собирались приходить в отчаяние.

Он подходит к койке и кладет руку на лоб больного.

— Все еще жар? Будьте осторожны.

Он заставляет Крейбеля открыть рот и поднимает ему веко.

— Все скоро будет в порядке. Вот вам еще три таблетки, на случай, если вы не сможете уснуть, а если что случится, смело поднимайте заслонку и требуйте, чтоб меня позвали.

— Слушаю, господин фельдшер.

— Вас ведь теперь оставляют в покое?

— Да.

— Побольше спите. Вам надо спать как можно больше... Завтра я снова загляну.

Бретшнейдер выходит из камеры и направляется в отделение «А1».

— Роберт! — кричит он на всю караульную. — Сколько у тебя больных?

— Трое! В камерах: семь, одиннадцать и тринадцать.

— Семь, одиннадцать, тринадцать, — повторяет фельдшер и направляется по коридору.

Больные лежат на койках. Первый, Шмидт, жалуется на боль в ушах. Фельдшер раздает пилюли и что-то записывает.

Но прежде чем совсем уйти из отделения, он открывает камеру Торстена.

— Ну, Торстен, вы с вашим медвежьим здоровьем, конечно, ни на что не жалуетесь?

— Так точно, господин фельдшер.

— А ваш желудок также в порядке?

— Ничего, господин фельдшер.

Бретшнейдер бросает взгляд в коридор. Никого не видно. Ленцер сидит в караульной.

— Торстен, у меня к вам один вопрос... Вы, марксисты, считаете, что государство всегда... ну, как бы это выразиться? Орган господства какого-либо класса? Правильно?

— Марксисты считают, — говорит Торстен, — что государство — орудие господства одного класса для угнетения другого класса.

— Да, правильно, — так было и в книге. Мне случайно попала в руки книга Ленина о государстве... Но это утверждение ведь очень поверхностно... Разве национал-социалистское государство есть орудие господства какого-либо класса?

— Ну, конечно.

— Вы подразумеваете класс капиталистов, не правда ли?

— Конечно.

Фельдшер снова подходит к двери и выглядывает в коридор.

— Но это же неверно! Для капиталистов Третья империя чертовски неудобная вещь. Мне кажется, что, согласно толкованию марксистов, государство сегодняшнего дня скорее является орудием господства рабочего класса.

— Господин фельдшер, материальной основой классового господства капитализма является частная собственность. Материальная же основа классового господства пролетариата — это социализм. Если бы Третья империя уничтожила частную собственность на средства производства и ввела бы плановое социалистическое хозяйство, тогда можно было бы говорить о господстве рабочих. Но, конечно, было бы нелепо ждать чего-нибудь подобного. Адольф Гитлер и германская национал-социалистская партия тесно связаны с крупной промышленностью и финансовым капиталом. И само собой разумеется, что при таких условиях имущий класс остается неприкосновенным...

— Ха-ха! Господин агитатор! — смеется фельдшер. — Вы промахнулись. В воскресенье германский народ скажет свое слово относительно того, хочет ли он, чтобы им управлял Адольф Гитлер или кто-либо другой.

Торстен и впрямь очень удивлен: всенародное голосование в воскресенье?

— Ведь Гитлер собирался обратиться к народу лишь спустя четыре года?

— Первоначально — да, но теперь он ставит этот вопрос в первый же год.

— Но мне это не кажется выражением его силы, а скорее наоборот — симптомом слабости

Несомненно, это — хорошо рассчитанный маневр, чтобы отвлечь внимание масс.

— Я так и знал, что вы в каждом мероприятии правительства будете искать какую-нибудь политическую уловку. Вот на этом-то и расходятся наши точки зрения. Я безгранично верю в Адольфа Гитлера. Не из-за денег, как продажные социал-демократические бонзы, а из любви к Германии бросился он в политику.

— Господин фельдшер, вы должны...

— Ну, ладно, я и так замешкался с вами.

Все последующие дни Торстена волнует лишь один вопрос: «Каким образом мог бы я повлиять на фельдшера? Совершенно ясно, что к Гитлеру его привело чувство и расчет. Но он начинает мыслить политически. Он наталкивается на вопросы, которых он не может разрешить. Тут необходимо помочь».

Торстен ставит вопрос за вопросом и старается найти на них самые точные и понятные ответы. И с нетерпением ожидает следующего прихода фельдшера.

В субботу после полудня дежурный Ленцер бежит от камеры к камере, отпирает двери и кричит:

— Одиночники! Выходи!

Все заключенные почти одновременно выходят из своих камер. Они с изумлением оглядываются по сторонам, не понимая, что это значит.

Торстен оглядывает своих соседей. Тот, что слева от него, совсем старый, хилый человек с длинной, давно не бритой щетиной на лице



и проплешинами на голове. Сосед справа — высокий парень с узким лицом, в очках. Он стоит, нагнувшись вперед, и производит впечатление больного, надорвавшегося человека.

Большинство заключенных давно не брито. Беспомощно стоят они у своих дверей и косятся на соседей. Некоторые смущенно улыбаются. Слишком длинная или слишком короткая чернокоричневая арестантская одежда придает им жалкий вид.

— Внимание!

Ленцер стоит посреди коридора, размахивая большим ключом от камер.

— Завтра всенародное голосование, и правительство решило, что и вы можете голосовать наравне со всеми. Исключение составляют только те подсудимые, которые обвиняются в убийстве. Есть кто-нибудь среди вас, кто здесь сидит за убийство? Иони, как с тобой?

— Убийство? Нет... Мне хотят навязать участие в убийстве!

— В таком случае тебе, верно, не придется выбирать. При голосовании следует принять во внимание следующее: Германия вышла из Лиги наций. И вот народ должен завтра решить, согласен ли он с мероприятиями правительства. Одновременно будет избрано новое правительство во главе с Адольфом Гитлером. Значит, каждый должен заполнить два избирательных листка. Скажу вам совершенно откровенно, что я лично считаю, что ваше участие в выборах — это чистейший вздор. У вас будут спрашивать, согласны ли вы с мероприятиями гитлеровского правительства. Конечно, вы несогласны, потому что здесь с вами совсем уже не так предупредительно обходятся. Но господа там, наверху,

так желают, а их желание — закон. Вы меня поняли? А?

Во время этой странной речи Торстен еле сдерживает улыбку. Так как никто из заключенных не задает вопросов, то он спрашивает:

— Выборы будут происходить в камерах или в другом помещении?

— Как будут происходить выборы, я и сам не знаю... Ну, а теперь ступайте по камерам, вы, гады! Марш, марш!

В мгновение ока исчезли заключенные в своих камерах. Ленцер носится от камеры к камере и запирает двери.

Вечером заключенных из «А1» и «А2» ведут в школьное помещение. Это большая квадратная комната с поднимающимися кверху рядами скамеек. У каждого ряда — часовой-охранник. Позади скамей — караульные. Перед скамьями, у грифельной доски, за маленьким столом стоят начальник отряда Дузеншен, старший взводный Майзель, старший отделенный Гармс и еще несколько караульных.

Дузеншен обращается к заключенным:

— Когда раздастся: «Смирно!» — все должны встать.

Заключенные из разных камер осторожно переглядываются. Подавать друг другу знаки нельзя: за ними зорко следят караульные. Но никто не может помешать им обмениваться многозначительными взглядами.

— Смирно!

Все сразу встают. Караульные поднимают правые руки для гитлеровского приветствия. В комнату входят комендант и человек с непомерно большой нижней челюстью. Комендант делает знак. Дузеншен командует:

— Садись!

Вошедшие занимают места за столом. Дузеншен становится в углу и наблюдает за заключенными.

Комендант кладет свою коричневую фуражку на стол и поднимается.

— Господин сенатор фон-Альверден сделает вам небольшой доклад, чтобы вы знали, в чем дело, когда будете завтра голосовать.

Сенатор фон-Альверден встает и выходит вперед. Караульные выбрасывают вверх руки и кричат:

— Хейль Гитлер!

Заключенные продолжают неподвижно и молча сидеть на своих местах.

— Германские сограждане! Вы, вероятно, удивлены этим моим обращением к вам, которых новое правительство заключило в тюрьму из соображений безопасности. Я вас называю согражданами потому, что вы, сегодняшние заключенные, являетесь национал-социалистами будущего...

Караульные-охранники зорко наблюдают за заключенными, которые неподвижно сидят на своих местах. Их лица как будто окаменели, ни один мускул не дрогнет.

Комендант тоже оглядывает одно лицо за другим. Некоторых он помнит по допросам.

— ... а Лига наций — это не что иное, как группа государств, вышедших победителями из последней неравной войны, которым хотелось бы до бесконечности грабить Германию, не давая ей окрепнуть...

Национал-социалистская Германия не хочет войны. Мы стоим за мир и разоружение. Германия вышла из Лиги наций. Теперь Адольф Гитлер спрашивает у своего народа, одобряет ли он

этот шаг? И вы тоже должны высказать свое суждение...

Сенатор делает шаг по направлению к безмолвно и безучастно сидящим заключенным, торжественно поднимает руку и заклиняет их:

— Забудьте обиды, которые вам здесь, быть может, причинили! Я заканчиваю свою короткую речь призывом к вам: завтра вместе с нами скажите: «Мы — за!» Хейль Гитлер!

Караульные вытягиваются в струнку и поднимают руку.

— Хейль Гитлер!

Комендант тоже встает.

Дузеншен командует:

— Встать!

Все поднимаются. Охранники поют:

Знамена вверх, ряды тесней сомкнули...

Вельзен осторожно озирается. Никто из заключенных не поет. Ни один не поднял руки.

Шагай, штурмовики, уверенны, тверды...

Даже оба сутенера и карманный вор из камеры № 1 не поют, хотя последний выдает себя за национал-социалиста.

Борцы, погибшие от красной пули...

Нусбек, стоящий за заключенными, шипит:

— Петь со всеми! Петь вместе!

Никого не удастся запугать.

Незримые теперь встают в ряды...

Сенатор и комендант выходят. Дузеншен командует:

— Камера один, выходи в коридор!

Собрания продолжаются до позднего вечера.

Рядовой Фриц Геллерт, несущий в концентрационном лагере службу охраны, беспокойно ворочается на своей походной койке в лагерьной башне. Ему не спится. Завтра у него свободный день, и он мечтает о Гильдегарде, стройной белокурой гувернантке, с которой он познакомился в прошлое воскресенье в Альстердорфе во время «германского праздника». Придет ли она?.. Серьезно ли она дала обещание, или это была только шутка?.. Как ему держаться с нею?.. Сразу облапить и зацеловать? Многим так больше нравится... Но эта, видимо, не из таких...

Кровать Фрица Геллерта стоит у овального башенного окошка, ему видны инспекторские дома и часть наружной стороны тюремной стены.

Вдоль стены усталыми, медленными шагами ходит часовой. На несколько секунд он исчезает из поля зрения Геллерта.

...Умная девушка. Даже странно, что она завела с ним знакомство... Когда она рассказывает, он только слушает. Чего-чего она не знает!.. А рот... У нее чудесный рот,— маленький, прекрасно очерченный... Нет, он ее сразу обнимет...

Вдруг Геллерт вздрагивает и садится на кровати. В саду между деревьями мелькают человеческие тени, возятся у стены. Где часовой?..

Геллерт еще раз внимательно вглядывается... он не ошибся: у стены копошатся люди. Он вскакивает с постели. Как быть? Разбудить товарищей? Дать знать часовым? Пожалуй, еще вспугнешь молодчиков у стены.

Геллерт быстро натягивает брюки и пробирается в переднюю. Отсюда он телефонирует в две другие караульные башни и полицейскому

посту на Фульсбюттельском шоссе. Сообщает о происходящем и дает указания, как окружить преступников. Затем возвращается в спальню и будит троих товарищей. Остальные продолжают спать. Разбуженные торопливо одеваются, пристегивают револьверы, берут винтовки.

Они сообщают о своем открытии внутренней страже у ворот и, когда часовой снова на несколько секунд исчезает за воротами, быстро бегут к первому инспекторскому дому и прячутся в тени высоких кустов у забора.

Вскоре загудел полицейский автомобиль. Вспыхнул прожектор, осветив сад и стену. Ясно видно, как несколько человек, согнувшись, бегут между деревьями. С противоположной стороны подоспели полицейские и охранники — ружья наизготовку. Вспугнутые люди бросаются через сад к воротам. Но здесь уже стоит встревоженный прожектором наружный часовой. Из сада выбегают шесть человек и — прямо на часового.

— Стой, стреляю!

Они не больше как в двадцати шагах от часового. Минутное замешательство — и бегут дальше. Они хотят миновать часового и мчатся к дому инспектора, где залег Геллерт со своими товарищами.

До дома осталось десять шагов, раздается выстрел. Это часовой у башни. Один из бегущих надает. В тот же миг четыре охранника с ружьями наприцел преграждают беглецам дорогу.

Пять человек сдаются...

Всего арестовано семнадцать человек: шестнадцать мужчин и одна женщина. Полицейский автомобиль освещает стену прожектором. Ах, так вот что эти люди делали у стены! Они на-

клеивали плакаты. Коммунистические плакаты: «Помните об убитых и замученных в концентрационных лагерях товарищах! Голосуйте против гитлеровского правительства убийц! Голосуйте против!» — большими красными буквами на белом фоне.

Отправляют людей для очистки стены. При свете прожекторов полицейского автомобиля солдаты-охранники и полицейские сдирают, соскребавают плакаты.

Арестованных ведут в корпус «А» и вталкивают в классную комнату. Раненого кладут в пустую камеру. Дузеншен, который взбешен тем, что явился уже после ареста, как безумный, носится по коридору.

— Мы им такое на память пропишем, что они всю жизнь не забудут!.. Вот бестии! Вот каналы! Их надо было расстрелять, собак! Тут же, на месте расстрелять!..

Караульные и несколько наружных часовых, которые пришли вместе с ними, бестолково суетятся. Каждый ищет подходящего орудия для избиения. У Дузеншена плетъ, у Майзеля — бычья жила, у других — ножи от стола, палки от метел, деревянные рейки.

Из отделения «А» в отделение «Б» ведет широкая лестница. К этой лестнице подводят арестованных: шестнадцать мужчин и одну женщину. Руки они должны скрестить на затылке. По обеим сторонам лестницы разместились охранники со своими орудиями пытки. Наверху Майзель с бычьей жилой, внизу Дузеншен с плетью. В нескольких метрах от лестницы стоят четыре часовых в стальных шлемах с ружьями наприцел.

— Женщина, сюда!

Женщина небольшого роста, лет тридцати, выходит вперед.

— Стать у стены! — приказывает Дузеншен; потом кричит стоящим в два ряда заключенным: — Приседание на месте!.. Ну, приседание на месте!

Пятнадцать человек, держа руки на затылке, садятся на корточки.

— Прыгать вверх по лестнице, не спеша, один за другим! Марш!

Передние приближаются к лестнице и, как только вспрыгивают на первую ступеньку, на них обрушиваются ножки от стола, палки, хлысты, деревянные рейки. Избиваемые шатаются, падают, но прыгают дальше, задние толкают их вперед...

Внизу стоит Дузеншен и подгоняет плетью то одного, то другого.

Передние уже достигли верхней ступени лестницы, но Майзель ударами бычьей жилы заставляет их спускаться вниз. Они должны снова прыгать со ступеньки на ступеньку. Это еще ужаснее, чем прыгать вверх. Они спускаются, изнемогая под ударами. Один стремглав падает вниз и лежит там с зияющей раной на голове.

Снова и снова прыгают они в эту ночь вверх и вниз по лестнице. Израненных, обливающихся кровью, оттаскивают к стене.

Женщина стоит тут же у стены с закушенными до крови губами и широко раскрытыми глазами. С часу до четырех утра длится по приказу Дузеншена избиение арестованных. Охранники сменяют друг друга, изнемогая от усталости. Палки и деревянные рейки ломаются. Под утро избитых загоняют назад, в классную комнату. Тех,



которые не могут идти, хватают за ноги, тащат по коридору и бросают к остальным.

Женщину ведут в караульную.

— Веревку! — приказывает Дузеншен.

Приносят веревку. Дузеншен бросает ее Майзелю и приказывает:

— Завязать этой твари юбку над головой!

Ужасный, неистовый крик. Несколько человек набрасываются на женщину, затыкают ей рот, обматывают голову полотенцем. Майзель и Тейч поднимают юбку и связывают ее над головой. Дузеншен смахивает лежащую на столе одежду и ремни. Майзель и Тейч бросают женщину на стол. Гармс и Нусбек залезают под стол, чтобы держать ее за ноги, которыми она отчаянно отбивается. Дузеншен хлещет женщину плетью, приговаривая:

— Ах ты, потаскуха! Стерва! Сволочь коммунистическая!..

...Удар за ударом падает на распростертое женское тело.

— Долой со стола!

Гармс и Нусбек стягивают ее за ноги. Майзель развязывает юбку. Даже охранники пугаются дико расширенных, налившихся кровью глаз. Распутывают полотенце, вынимают изо рта кляп. Она не издает ни звука. Губы дрожат. В глазах застыл немой ужас. Женщину запирают в пустой темный карцер в подвале.

На следующее утро, в воскресенье — день всенародного голосования — начальник отряда Дузеншен в сопровождении Майзеля ходит из одной общей камеры в другую и сообщает заключенным, что комендант обещал ему немедленно после выборов освободить столько человек, сколько будет голосовать «за». Наместник цен-

трального правительства Кауфман,— сообщает он дальше,— высказался в том смысле, что если результаты сегодняшнего голосования покажут, что и среди обитателей Гамбургского концентрационного лагеря находятся люди, внутренне уже освободившиеся от марксистских подстрекателей, то он объявит широкую амнистию.

После ужасной, бессонной ночи надежда на скорое освобождение снова пробуждает волю к жизни. Заключенные повеселели, заговорили; каждый надеется, что предстоящее массовое освобождение коснется и его и что и он вместе с другими выйдет на волю.

Коммунистам, сидящим в общих камерах, становится все труднее влиять на других заключенных. За последнее время прибавилось много подозрительных личностей: сутенеров, карманщиков. Многие из этих уголовников готовы на какое угодно предательство, лишь бы получить снисхождение.

Товарищи из камеры № 2 также стали осторожнее после случая с ротмистром-националистом: Вельзен вступает в разговоры только с теми товарищами, которых он хорошо знает. В камере прибавилось два новичка, которым коммунисты не доверяют. Один из них ювелирный вор, уже много раз отбывавший наказание, но как рецидивист посаженный в концентрационный лагерь.

В это воскресенье дают прекрасный обед: кислую капусту с картофелем, жирный соус и копченую колбасу. Караульные любезно разговаривают с заключенными. Дузеншен проходит по камерам, и его лицо так и сияет благоклонностью.

После обеда заключенные должны расставить в коридоре отделения «А1» столы и стулья. Из

котельной приносят, предварительно вымыв ее, жестяную перегородку. За этой перегородкой будет происходить самое голосование.

На один из столов ставят высокий узкий ящик. Дузеншен и господин из статистического управления занимают место за столом. Майзель раздает избирательные листки и конверты.

Голосование продолжается до вечера. После общих камер идут одиночки. Из отделения «А1» к голосованию допускают двух заключенных, из отделения «А2» — троих. Семьдесят пять процентов заключенных лишены избирательных прав.

После того как все попавшие в список заключенные проголосовали, столы и стулья убираются, железная перегородка снова водворяется в котельную, чиновник из статистического управления берет деревянный ящик с избирательными листками и в сопровождении Дузеншена, Майзеля и Тейча идет в комендатуру.

Кессельклеин отводит в сторону не допущенного к голосованию Вельзена.

— Вот какая подлость! Ведь они могут сейчас совершенно точно установить, кто как голосовал. Конверты с избирательными списками лежат в прекраснейшем порядке один на другом, и они могут их открывать в порядке списка.

Вечером в камеру № 2 приходит Дузеншен. Он навеселе и не совсем крепко держится на ногах. Заключенные лежат на койках. Некоторые уже успели уснуть. Он зажигает электричество и лопочет:

— Я только хочу вам сообщить... можете... надеяться... Вы хорошо голосовали... чорт вас

подери!.. Может быть, завтра... вы уже будете... дома.

Он тушит свет и уходит.

Немного погода приходит Ленцер.

— Ну, вы, мразь эдакая, хотите знать результаты?

Кое-кто из заключенных приподнимается на койке.

— Так точно, господин дежурный!

— Ну, так слушайте! Всего голосовало двести семьдесят три человека, из них двести тринадцать — «за», тридцать пять — «против», семь голосов недействительны... Небось, сами удивляетесь?.. А первые подсчеты там, на воле... прямо не верится! Полное торжество!

До поздней ночи шопотом обсуждают заключенные необычайное голосование. Караульные сегодня смотрят на это сквозь пальцы. Они собрались в караульной вокруг радио, слушают результаты голосования и выпивают.

— Вставать! Вон с постели!

Торстен вскакивает с койки, натягивает брюки, оправляет постель и расправляет одеяло, потом делает утреннюю гимнастику и холодное обтирание.

По коридору, громко разговаривая, идут караульные. Торстен прислушивается. Приближаются.

— Открой-ка,— говорит один,— войдем сюда!

В камере вспыхивает свет, и дверь открывается. Входят Майзель, Гармс и Ленцер.

— Ну, господин депутат, что ты теперь скажешь? Народ голосовал за Гитлера. Сорок против двух.

Гармс с важным видом стоит перед Торстеном.

— Сорок миллионов за Гитлера, и два миллиона с натяжкой — за вас! Кончено теперь ваше дело! Нечего вам больше и соваться.

Ленцер совершенно пьян. Он стоит, опершись о косяк двери, и лопочет заплетающимся языком:

— Но вас... вас теперь... больше не будут... не будут бить... Не будут больше бить!

— Фульсьбюттель называли адом охранников,— говорит Майзель, он совершенно трезв,— но то, что было, это просто детская игра по сравнению с тем, что ждет всякого, кто после этих выборов снова примется за старое!

Торстен молчит и наблюдает за так не похожими друг на друга охранниками. Гармс, несмотря на то, что сильно пьян, держится прилично. Видно, что он вообще следит за собой; у него белоснежные зубы и нежный цвет лица. У Майзеля, самого маленького из них, наиболее расфранченный вид, новая черно-синяя форма, белая рубашка и яркокрасный галстук. Рядом с ним Ленцер производит впечатление простецкого парня. Форменная одежда местами сильно полиняла, на воротнике цветной рубашки грязная полоска, лицо грубое, топорное, с нечистой кожей.

— Что... опешил?— снова начинает Ленцер, обращаясь к Торстену, но его выводят.

Торстен слышит, как они входят в одиночку напротив и там сообщают результаты голосования и грозят тем, которые после этого снова попадутся.

Позже Ленцер еще раз входит в одиночку к Торстену, один. Он уже немного протрезвился.

— С вами теперь не будут больше плохо обращаться, Торстен. Все того мнения, что старых

заключенных не следует больше истязать. Результаты голосования, в самом деле, превзошли все ожидания.

— Сорок миллионов голосов «за»? — спрашивает Торстен.

— Да, сорок миллионов! — с забавной гордостью заявляет Ленцер. — Притом, вас это должно интересовать, Гамбург чрезвычайно плохо голосовал. Здесь коммунисты сумели удержать свои голоса... Около ста сорока тысяч голосов «против». Но вы сами понимаете: портовый город, много всякого сброда... Сорок миллионов против двух, можете в этом не сомневаться, — повторяет Ленцер.

— Я сомневаюсь в другом, — улыбаясь, говорит Торстен.

Ленцер смотрит на него с удивлением и вдруг соображает:

— Вы думаете, с голосованием нечисто?

Торстен пожимает плечами.

— Я, господин дежурный, заключенный, я ничего не думаю.

— Адольф Гитлер так не поступает. В этом не может быть никакого сомнения. Возможно, что при его предшественниках делалось что-либо подобное, но не сейчас... Нет, нет, этого я не допускаю.

И караульный в раздумьи выходит из одиночки.

После обеда со двора доносятся дикие крики, топот, смех. Торстен осторожно сбоку заглядывает в окно. Перед зданием тюрьмы стоят вновь прибывшие, вероятно из тех, которые были арестованы во время выборов. Караульные сегодня в таком хорошем настроении, что все время изощряются в диких забавах.

Притащили тачки и большую тяжелую вагонетку, в которой вывозят камни. Сначала новички должны бегать вокруг двора с тачкой, в которой сидит заключенный. Потом все должны влезть в вагонетку, в которую впрягаются заключенные. Караульные бегут рядом с криком «но! но!» и подгоняют их хлыстом.

У окна караульной стоят фельдшер и кто-то из полицейских чиновников и развлекаются.

Некоторым караульным это развлечение кажется все еще недостаточно веселым. В углублении посредине двора образовалась довольно глубокая лужа. И вот арестанты должны на тачках перевозить друг дружку через эту лужу. Кому это не удастся сразу, того бьют хлыстом до тех пор, пока он или вывезет или совсем выбьется из сил.

Только в сумерки загоняют арестованных в тюрьму. Восемь из них совсем свалились и лежат, хрипя и надрываясь от рвоты, у стены. Более выносливые товарищи поднимают их и тащат за собой.

Ленцер сидит в караульной и видит, как два охранника, Оттен и Крекер, выходят из корпуса «А» и идут через тюремный двор. Они в серых стальных шлемах, сбоку тяжелые револьверы. «Вот те на! — думает он. — Что это они собираются делать, что этак вырядились?» Он подходит к окну и машет им. Но те смотрят на него холодно, не моргнув глазом, и поднимаются вверх по ступеням в тюремное здание. Ленцеру становится не по себе. В нем начинает шевелиться какое-то леденящее беспокойство.

Оттен и Крекер входят в караульную. Лен-

дер стоит у стола и вопросительно смотрит на них.

— Вы арестованы, Ленцер. Ваш револьвер!

Ленцер совершенно спокоен. Он улыбается товарищам, стоящим перед ним с окаменелыми лицами. «Ну, что ж, дело лопнуло. Бомба взорвалась. Ладно, посмотрим, что будет дальше». Он расстегивает ремень и, подчеркивая улыбкой официальное «вы», спрашивает:

— Вы по чьему распоряжению действуете?

— По распоряжению коменданта,— отвечает один.

— Ага!

Ленцер передает Оттену свой пояс с кобурой, достает из кармана ключ от камер и отдает ему же.

— А дальше, милостивые государи?

Оттен бросает на него уничтожающий взгляд.

— Следуйте за нами.

В коридоре Крекер зовет дежурящего в отделении «А2» Гармса. Он сообщает ему, что тот должен принять на время и отделение «А1». Затем оба становятся по бокам арестованного и ведут его через тюремный двор в комендатуру.

Ленцер стоит перед комендантом. У двери — Дузеншен и Майзель. Ленцер бросает взгляд на Майзеля. Тот смотрит широко открытыми умоляющими глазами и сжимает губы. Он бледен, как стена, у которой стоит.

Комендант сидит за столом и читает какую-то бумагу. Не поднимая головы, он бросает испытующий взгляд вверх, на Ленцера.

— И ты был заодно с коммунистами?

— Нет, господин комендант.

— Нет? Ты не делал покупок для заключенных и не доставлял контрабандой в лагерь?



— Так точно, я это делал, господин комендант.

— И это называется: не быть заодно?

— Нет, господин комендант.

— Так!

— Господин комендант, я покупал заключенным табачные изделия, чтоб заработать немножко денег. Вот и все. Политически я никогда не общался с заключенными.

— Ты выносил письма и сообщения из тюрьмы?

— Нет, господин комендант.

— Но у меня есть доказательства.

— Этого не может быть, господин комендант. Я этого никогда не делал и не сделал бы.

— Сколько времени ты занимаешься покупкой табака для заключенных?

— Всего несколько недель, господин комендант.

— Ведь ты знаешь, что это запрещено. Не правда ли?

— Так точно, господин комендант.

— А знаешь ли ты, болван,— кричит на него комендант,— что я могу тебя предать военно-полевому суду?!

Ленцер молчит.

— Тебя надо было бы расстрелять за нарушение дисциплины! С такими, как ты, расправа будет еще почище, чем с коммунистами, можешь быть уверен!.. Что ты еще можешь сказать?

— Ничего, господин комендант.

— Начальник отряда, что нам с ним делать?

Дузеншен в замешательстве. Всего две недели тому назад он представил Ленцера к повышению. Теперь в его присутствии комендант хочет заставить Дузеншена вынести приговор. Он размышляет.

— Господин комендант, я предлагаю: немедленно убрать его из караульной команды лагеря и поставить вопрос перед высшим командованием об исключении его из рядов морских штурмовиков.

— Ну, а вы?— обращается он к Майзелю.

Тот еще в большем замешательстве, чем Дузеншен. Он бросает взгляд на Ленцера, который не спускает с него глаз, и говорит, заикаясь:

— Я... я присоединяюсь... к мнению... начальника отряда, господин комендант.

По лицу Ленцера пробегает презрительная усмешка. Майзель покраснел до корней волос и смотрит на него, не отрывая глаз.

— Я еще подумаю об этом... Посадите его в карцер.

— Слушаюсь, господин комендант!

Щелкают каблуки, все трое по-военному делают поворот. Ленцер выходит из комнаты. Дузеншен и Майзель идут за ним.

— Стой здесь! — приказывает Дузеншен.

Несколько секунд он стоит перед Ленцером и, наконец, изрекает:

— Сволочь!

Ленцер слегка пожимает плечами, делает гримасу, которая должна выразить сожаление по поводу случившегося, но молчит.

— Отведи его вниз!

Майзель и Ленцер проходят через переднюю и спускаются в подвал, где находятся арестантские карцеры.

— Роберт, не выдавай меня,— шепчет Майзель своему арестованному.— Ты об этом не упоминаешь. Я дело поправлю... Я помогу тебе во всем, в чем только можно будет... Только молчи!.. Ведь этим ничего не изменишь.

Ленцер молча шагает рядом.

— ... Я предчувствовал, что в один прекрасный день это выплывет наружу. Не нужно было затевать такое дело.

— Постарайся разузнать, кто нас выдал.

— Да... Ну, а если дознаются про письмо... про письмо этого Фишера?

Наконец Ленцера взорвало:

— Ну, уж это твое дело! Я к этому не причастен и ни в каком случае не позволю свалить это на меня.

— Да... да... да... — бормочет Майзель. — Этого... этого я от тебя вовсе и не требую.

Майзель запирает Ленцера в пустую холодную одиночку, в которой нет ничего, кроме длинных деревянных нар. Окошко только на четверть выше земли, четыре голые стены освещаются сумеречным светом.

— Тут уж я ничего не могу сделать, — говорит Майзель, выходя из камеры.

— Папиросы при тебе?

— К сожалению, нет.

— Тогда достань мне несколько штук.

— Да, да, я сейчас приду.

Майзель запирает дверь и быстро удаляется.

Ленцер влезает на окно, чтобы посмотреть, кто сегодня дежурит во дворе. Он узнает Крамера, который его терпеть не может.

— Ко всему еще и это! — с проклятием вырывается у него, и он бросается на нары.

На следующий день освобождают шестьдесят человек. В течение ближайшей недели ожидаются дальнейшие освобождения. Среди заклю-

ченных царит сильное возбуждение. Каждый надеется, что и его освободят.

На другой день после выборов в общую камеру № 2 помещают молодого рабочего, который как член рейхсбаннеровской группы работал вместе с коммунистами своего района. Он знает Шнеемана, и между ними вспыхивает спор.

Шнееман все еще старается доказать необходимость существования социал-демократии, а рейхсбаннеровец защищает ту точку зрения, что социал-демократия после своего политического фиаско умерла раз навсегда, что всякие попытки воскресить ее бессмысленны и что остается одно: совместно с коммунистами подготовить пролетарскую революцию и создать социалистическую советскую Германию.

То, о чем рассказывает рейхсбаннеровец, еще более укрепляет в узниках чувство уверенности.

Многочисленные группы рейхсбаннеровцев и членов бывшей германской социал-демократической партии работают сейчас рука об руку с коммунистами. В особенности на производстве, где имеются факты образцового сотрудничества. На металлургическом заводе «Тригон» уже несколько недель выходит газета «Красный гудок». Ни администрации, ни национал-социалистской заводской организации ни разу не удалось арестовать лиц, причастных к выпуску этой газеты и к ее распространению. Чтобы воспрепятствовать нелегальной работе на заводе, уволили всех рабочих, которых до гитлеровского переворота подозревали в принадлежности к коммунистам или хотя бы в сочувствии им. Но не успел последний из подтекжавших увольнению рабочих получить в конторе расчет, как несколько старых членов

социал-демократической партии обратились к нему с заявлением, что впредь они берут на себя распространение газеты на заводе. Так и вышло. Все рабочие, имевшие репутацию красных, уволены, а заводская газета попрежнему продолжает выходить.

Много любопытного рассказывает рейхсбаннеровец и о выборах.

Благодаря открытому террору и недвусмысленным угрозам только немногие осмелились голосовать в соответствии со своими убеждениями. По улицам ходили люди со значками «За», и на ком такого значка не было, того осыпали бранью. Некоторые голосовали в перчатках, боясь, как бы по отпечаткам пальцев на избирательном листке не обнаружилось, кто голосовал против. Результаты голосования до опубликования предварительно были «проверены» Иосифом Геббельсом в министерстве пропаганды. Результаты же по отдельным округам совсем не объявлялись, так как, по заявлению прессы и радио, население не проявляло к этому никакого интереса.

— За границей никого не удастся одурачить этим голосованием, — замечает Шнееман.

— И нас тоже, — добавляет Кессельклейн.

Во время раздачи обеда один из кальфакторов сует Вельзену в руки записочку: Ленцер арестован. В случае допроса заявить: мы предполагали, что он действует с ведома лагерного начальства. Майзель на свободе. Записочку уничтожить».

После обеда Вельзен сообщает эту новость товарищам. За Ленцером еще оставалось двадцать марок шестьдесят пфеннигов. Деньги, говорит Вельзен, по всей вероятности, пропали.

Но почему Ленцер должен один нести всю ответственность? Почему эта свинья Майзель прячется?

— Товарищи, — отвечает Вельзен, — это вас не касается. Как караульные разберутся между собой — это уж их дело.

— Во всяком случае, я предпочел бы, чтобы влип Майзель, а не Роберт Ленцер, — заявляет Кессельклейн.

Ноябрь протекает гораздо спокойней, чем предыдущий месяц. Расстроенный Майзель бегает по тюрьме и не возобновляет своих ночных экзекуций. Дузеншен становится все в большую оппозицию по отношению к коменданту, который, с своей стороны, старается подчеркнуть свое недовольство. Гармс получил чин взводного и находится в личном распоряжении коменданта. Среди охранников совершенно открыто поговаривают, что Гармс будет скоро начальником отряда и заместителем коменданта.

Заклученные, не зная, по каким причинам истязания почти прекратились, связывают это с результатами выборов. Крики слышны очень редко, только по ночам.

Но наступили холода, и, хотя уже середина ноября, камеры все еще не отапливаются. Нет угля. Заклученные напяливают на себя все, что у них есть, и, несмотря на это, лишённые работы и движения, ужасно зябнут в сырых, холодных одиночках. Особенно плохо в темных карцерах в подвале. Заклученные просто коченеют, сидя скорчившись в пронизывающей сырости.

Часовые на дворе надели овчинные тулупы и высокие сапоги на теплой подкладке.

Караульные раздобыли керосиновую печку. Возвращаясь после обхода отделения, они садятся вокруг нее и дуют на руки, чтобы согреть их.

Только после того, как в одной из одиночек замерз старик заключенный, администрация лагеря стала принимать меры. Восемь человек, больных гриппом, переводятся в лазареты при доме предварительного заключения. И на следующий день прибывает грузовик с углем.

Два дня молодые заключенные из камер № 1 и № 2 корзинами таскают уголь в подвал. Старого, давно уже сидящего арестанта превращают в истопника, и наконец в одно прекрасное утро в трубах парового отопления раздается слабое шипенье.

В последних числах ноября Крейбель оправился, наконец, после тяжелого гриппа. Заключение в темном карцере и последовавшая затем болезнь надорвали его душевно и физически. У него землисто-серый, с желтым налетом цвет лица и какой-то неподвижный, безумный взгляд. Он десять недель не брился. Щетинистая, в несколько сантиметров длиною, борода и свисающие на уши и воротник тюремной куртки волосы придают ему отталкивающий и страшный вид. И тюремная администрация использует это с определенной целью.

Часто по воскресеньям приходят посетители: высшие государственные чиновники с женами, родственниками и знакомыми, осматривают концентрационный лагерь. Обычно камеры

не отпираются, и за заключенными наблюдают в глазок.

Нередко из-за двери доносится пискливый женский голос:

— У-у, какой же он страшный! Наверное, убийца!

Или:

— Он отвратителен!.. Что вы сказали, господин дежурный? Потрошитель? Да, да, у него именно такой вид.

Как-то раз является журналист-англичанин. Начальник отряда водит его по лагерю, показывает несколько общих камер и некоторые одиночки. О подвале нет и речи.

Журналист не знает ни слова по-немецки. Он спрашивает каждого заключенного, понимает ли тот по-английски. Большинство отвечает отрицательно. Тогда англичанин отказывается от дальнейших вопросов. Дузеншен, который тоже на этом языке ни слова не понимает, очень доволен. И вдруг один из заключенных, моряк, посаженный за принадлежность к подпольной организации красного флота, отвечает по-английски.

Он умоляет журналиста не выдавать его и рассказывает ему о действительном положении в лагере и об истязаниях, которым он подвергался.

Англичанин только кивает.

Дузеншен докладывает коменданту о том, что заключенный разговаривал с журналистом на английском языке.

— Вы идиот! — бросает ему в лицо комендант и, весь трясаясь от бешенства, сам бросается в догонку за англичанином, осматривающим теперь ремонтирующийся корпус «Д» прежней тюрьмы



Он словно невзначай спрашивает журналиста, что рассказывал ему арестант, с которым он разговаривал по-английски. Англичанин, сохраняя непроницаемое выражение лица, молчит.

Вечером Дузеншен приказывает выпороть моряка.

Декабрь начинается снегопадом. Не переставая, ложатся на землю большие белые хлопья. Оделись пушистым покрывалом оголенные ветви деревьев. Затянуло белой пеленой крыши. Тюремный двор покрыт сплошным белым ковром.

Две тонкие трубы отопления в одиночке Крейбеля идут снизу из подвала, поднимаются немного над полом и, пройдя на протяжении метра вдоль стены, исчезают в соседней камере. Целыми днями Крейбель сидит на полу, скорчившись и прижавшись к теплым стенкам трубы.

Ведь эти зимние дни могут быть так прекрасны!.. Он вспоминает о когда-то совершенных прогулках по занесенным снегом лесам Хаака и Герде, вспоминает веселую Урсулу, с которой много лет тому назад он проводил вместе декабрьские каникулы, вспоминает белый свитер, который так шел к ее пушистым каштановым волосам и блестящим черным глазам... Далеко, далеко ушли эти прекрасные дни...

И с Ильзой, своей женой, он тоже зимой познакомился, — это было в сочельник, на антирелигиозном празднике... Что она делает в это мгновение? Ей тоже плохо. Одна с ребенком должна перебиваться на нищенское пособие... Ильза... Их любовь не была первой бурной страстью.

Нет, это была тихая, глубокая привязанность, без шумных излияний. Он не всегда был к ней справедлив, не всегда добр... Но он все это когда-нибудь, да, если придется, когда-нибудь исправит...

Торстен...

Что случилось с Торстеном? Он слышал от кальфактора, что его перевели в отделение «А». Торстен даже однажды переслал ему как-то записочку с приветом... Они его еще долго будут томить в одиночке... Если бы Торстен был в соседней камере, Крейбелю было бы куда легче все переносить. Он такой сильный. Они никогда не видели друг друга — и, несмотря на это, стали друзьями. Тюремная дружба...

Интересно, какой он... Должно быть, не очень высок, но строен и силен, как медведь. Он, наверное, добр и умен. То, о чем он выступивал, выдает в нем крепкого марксиста...

Крейбель еще долго думает о Торстене, о разговорах через стену — чувствует новый прилив мужества и уверенности.

Но вот слышны приближающиеся шаги. Он вскакивает с места и становится навтыяжку у окна. Дверь отворяется. Появляется начальник отряда Дузеншен и сменивший Гармса караульный Оттен. За ними робко входят два человека в штатском. Один из них, небольшого роста, горбатый, вплотную подходит к Крейбелю и смотрит на него снизу вверх маленькими колючими глазками. Второй, высокий, с крупным лицом и круглыми удивленными глазами, останавливается у двери.

Все молчат.

Горбун пристально смотрит на Крейбеля.

Крейбель, сначала долго выдерживавший

взгляд, отводит глаза в сторону. Все смотрят на него и молчат.

Вдруг карлик поворачивается и выбегает. Остальные следуют за ним.

Крейбель слышит, как кто-то за дверью говорит:

— Нет, этого не надо!

И шаги удаляются.

Еще долго стоит Крейбель на том же месте и не может понять, что это значит.

Новый сосед Крейбеля по камере, называющий себя во время рапорта Ганзенем, должно быть, еще совсем юный. Каждый раз, когда караульный заходит к нему в одиночку, он спрашивает детским, просящим голосом:

— Для меня нет письма, господин дежурный?

Как-то раз выведенный из терпения, Оттен крикнул:

— Ты меня совсем с ума сведешь вечными своими вопросами! Заткни наконец глотку! От кого ты ждешь писем?

— От матери, господин дежурный.

Несмотря на нахлобучку, на следующий день заключенный снова задал тот же вопрос. Но письма все не было.

Как-то в холодное декабрьское утро — на дворе глубокий снег — Майзель созвал в коридор одиночников из отделений «А1» и «А2». На расстоянии пяти шагов друг от друга идут они во двор. Увязая в глубоком снегу, шагают заключенные вокруг тюремного двора.

Майзель, в теплом зимнем пальто, медленно ходит взад и вперед посредине двора. В нескольких шагах от него стоит часовой с ружьем в руке.

Заключенные одеты в старое, рваное поремное платье, которое было на них и летом. Некоторые совсем скрючились от холода, втянули голову в плечи. Перед Крейбелем шагает юный рабочий Ганзен. Маленький, хрупкий... Будто вчера сошел со школьной скамьи. Куртка ему слишком широка, слишком длинные брюки подвернуты.

Сегодня Крейбель впервые после трех месяцев вышел во двор. Полной грудью вдыхает он чистый холодный зимний воздух и оглядывает ряды одиночников. Среди них должен быть Торстен... Но как его узнать? Он рассматривает каждого отдельного заключенного, не похож ли он на созданный его воображением образ друга. Так трудно рассмотреть черты этих обросших щетиной лиц... Но вот он замечает, что какой-то высокий человек с буйно разросшейся бородой и бледным, как мел, лицом шагает перед ним, и так же, как он, на каждом повороте испытующе оглядывает своих сотоварищей по заключению. Не это ли Торстен?

...Что сделать, чтобы дать ему понять, что он — Крейбель? Надо как-нибудь обратить на себя внимание. Надо, чтобы караульный на него закричал... Да, но часовой может выстрелить. Они за этим не посядут. Все равно, надо что-нибудь предпринять...

Крейбель падает на колени и валится в снег. Заключенные проходят мимо него.

Часовой указывает на него Майзелю. Тот кричит:

— Что еще там с тобой случилось?.. Эй! Вставай!.. Поди сюда!

Крейбель с трудом поднимается и, шатаясь, идет к караульному.

— Как тебя зовут?

Крейбель кричит так громко, как только может:

— Заключенный Крейбель!

— Что с тобой?

— Мне сделалось дурно, господин дежурный.

— Ну, так шагай здесь, посредине двора.

Крейбель идет один через двор. Он вглядывается в каждое лицо. Большинство отвечает ему тупым грустным взглядом.

Он рассчитал так, что в тот момент, когда он почти вплотную подходит к цепи заключенных, мимо проходит высокий бледный товарищ. Когда тот приближается, Крейбелю кажется, что сейчас выпрыгнет из груди сердце... Это Торстен!.. Он мигает и взволнованно улыбается Крейбелю. Какой у него исхудалый вид, как он бледен!.. Он совсем не такой сильный, каким представлял его себе Крейбель. Но у него действительно умные, теплые глаза.

Это Торстен, его друг... Наконец они в первый раз смотрят друг другу в глаза!.. Он ему так бесконечно благодарен!.. Как бы он, не будь Торстена, перенес эти длинные, ужасные недели заключения в темноте?..

— Вам, поди, холодно? — спрашивает Майзель заключенных.

— Так точно, господин дежурный, — отвечают некоторые.

— Ну, тогда побегайте немножко, чтобы согреться.. Бегом! Руки к груди! Марш, марш! Заключенные бегут по снегу.

После первых же шагов сердце начинает колотиться, легкие судорожно хватают воздух. После месяцев одиночного заключения это напряжение им не по силам.

Несмотря на это, Майзель заставляет их бе-

жать до тех пор, пока они не добегают, шатаясь, как пьяные, до тюремной стены.

— Рвань негодная! — кричит он и приказывает остановиться. — Теперь гимнастику, чтобы поразмять кости.

Майзель заставляет ослабевших, выбившихся из сил одиночников опускаться и подниматься на руках и носках. Во время этого упражнения часовой и Майзель ходят с двух сторон вдоль ряда. Тот, кто делает упражнение неправильно, получает пинок ногой или удар прикладом.

Бескровные пальцы коченеют. Ветер поддувает под тонкую одежду снежную пыль. Уши горят, губы синеют.

После гимнастики Майзель снова заставляет их бегать. Во время бега Крейбель, все время ходивший посередине двора, снова на несколько секунд оказывается рядом с Торстеном.

Тот напряженно улыбается и шепчет ему задыхаясь от бега:

— Не сдаваться! Надо выдержать!

Крейбель кивает и делает знак глазами.

Это Торстен. Все тот же...

При разводе Ганзен жалобно, все еще еле переводя дыхание, спрашивает:

— Господин... дежурный... неужели нет... до сих пор... письма от моей матери?

Оттен не отвечает и с шумом захлопывает за ним дверь камеры.

Крейбель придвигает табуретку к окошку и осторожно, прижимаясь всем телом к стене, влезает на нее. Часовой медленно ходит вдоль стены, разглядывает на снегу отпечатки следов.

Короткие тихие сумерки переходят в ночь. Луна становится блестящей и яркой. Кое-где вспыхивают звезды. Вдали за сверкающими в лунном свете снежными пространствами, видны дома. В окнах видны свет и движение. Из ближайшего инспекторского дома долетают детские голоса. Сегодня сочельник.

Крейбель стоит на табуретке и смотрит сквозь решетку в ночь... Ильза... Она сидит сейчас дома и думает о нем, как он о ней... Она рано уложит спать малытку Фрица и в то время как другие поют и веселятся в кругу семьи, будет бродить по пустынным и темным улицам... А может быть, она лежит в своей одинокой постели и так же, как он, не может уснуть...

Еще в прошлом году они были в Загебиле, на антирелигиозном празднике... агиттруппа и артистический коллектив прекрасно изображали христианское ханжество и бичевали лживость сытых мещан...

Караульный Оттен зажигает во всех одиночках свет и оставляет его на всю ночь. Так часовому виднее, если кто будет стоять у окошка.

До утра не спит Крейбель в освещенной камере. И не один он. За красными стенами тюрьмы лежат без сна сотни заключенных.

На следующий день караульный Нусбек раздает почту. Он заходит к Крейбелю и нарочито громко говорит:

— Вот твои письма!

Два письма и одна открытка. Какая радости ж сколько дней как он не получал писем от

жены и матери!.. Горлопливо вынимает он исписанные листки из уже вскрытых цензурой конвертов.

Из соседней камеры стучат в дверь.

Боже мой! Неужели Ганзен и сегодня не получил письма?

У Крейбеля на секунду опускаются руки. Как это может быть? Бедный малый!..

Затаив дыханье, прислушивается Ганзен, как караульный проходит мимо его камеры. Он уже услышал, что тот разносит почту. Караульный ошибается. Сегодня непременно должны быть письма. Иначе быть не может! И, несмотря на запрет, он бросается к двери и колотит в нее кулаками.

Никто не слышит, никто не идет.

У юноши что-то сжимает горло, его охватывает чувство безграничного одиночества и заброшенности...

Что случилось?

Что с матерью? Почему она не пишет?

От страха и разочарования ему становится дурно.

Снова шаги. Они пробуждают новые надежды. Он прислушивается, затаив дыхание... Да, караульный остановился у его двери. Заключенный замечает, что крышка «глазка» тихонько отодвигается. За ним наблюдают.

В камеру входят Оттен и Нусбек. У Оттена в руке — два письма. Ганзен их сразу заметил, и на лице выступает счастливая улыбка. Наконец!

— Сколько тебе лет? — спрашивает Нусбек.

Восемнадцать, господин дежурный.

И несмотря на это, все еще такой маленький? Восемнадцать лет — уже взрослый



мужчина. А ты, повидимому, еще настоящий младенец!

Заклученный, не отрываясь, смотрит на руку с письмами.

— Как зовут твою мать? Имя?

— Полина, господин дежурный.

— А где живет?

— Гуфнерштрассе, шесть, господин караульный.

Нусбек рассматривает письма и передает их Оттену. Тот подзывает:

— Подойди-ка сюда, маменькин любимчик. Ганзен бросается к нему.

— Подними крышку клозета!

— Что?!

— Крышку клозетную подними!

Заклученный с невыразимым ужасом в глазах поднимает крышку стульчака.

Оттен рвет письма пополам.

— Господин... господин дежурный... мои письма!

Оттен рвет их на четыре части и внимательно смотрит в потрясенное, искаженное болью лицо. Клочки бумаги падают в клозет.

— Спускай воду!

Юноша стоит неподвижно, глядя поочередно то на караульного, то на изорванные письма в клозете.

— Ну, спускай воду!

Тот не трогается с места.

— Спускай... Тяни!..

Оттен кричит и беснуется. А Ганзен, хрупкий и бледный, только пристально смотрит на него.

Тогда Оттен отталкивает его в сторону, сам дернув за ручку, спускает воду и смотрит, не осталось ли клочка бумаги.

— Ну, теперь можешь хныкать! Пореви немножко, маменькин сынок! — смеется он, захлопывая дверь за собой и Нусбеком.

Крейбель слышит под окном размеренные шаги часового. Слышно, как хрустит под сапогами снег. А внутри, в тюрьме за оградой — ни звука.

Медленно ползут дни...

Крейбель в сотый раз хватается свои письма и, скорчившись в углу, у труб, читает.

*«Мой дорогой Вальтер!»*

Вот уже рождество у ворот, а ты все еще под стражей. Кто бы мог подумать, когда они в марте уводили тебя из дому? Несколько недель тому назад, когда стали ходить слухи о том, что будет объявлена амнистия, я ходила в ратгауз и спрашивала, не выпустят ли тебя, так как ты был посажен еще социал-демократическим правительством. Чиновник сказал, что комиссия по амнистии пересматривает отдельные случаи. Вчера мне сообщили, что комиссия была у тебя и отклонила твое освобождение. Дорогой Вальтер, я в конце концов ничего другого не ожидала, думаю, что и ты тоже. А все же хорошо было бы, если бы ты был снова с нами. Но потерпи еще, когда-нибудь наступит это время.

У малыша была крапивная лихорадка. За ним ходила твоя мать, которая так хорошо с ним справляется, и теперь он снова молодцом. Отчаянный, но чудесный мальчишка, право. Ты его совсем не узнаешь. Он стал такой большой и крепкий. Правда, из последнего все трачу на его питание.

Нелегко жить на восемь марок пособия в неделю. Приходится во всем урезать.

Дорогой Вальтер, все собирались послать тебе к празднику передачу: мать, Грета, Павел и друзья. Так как я думала, что тебе можно переслать только одну посылку, то собирались сделать ее из всех подарков вместе. Несколько дней тому назад стало известно, что всем вообще заключенным запрещены передачи. Это постановление опубликовано в новом уставе о наказаниях. Не грусти, Вальтер, мы еще все наверстаем...

Крейбель опускает руку с письмом...

Она бодрее и сильнее, чем он ожидал. А комиссия?.. Комиссия по амнистии? Это жуткое, безмолвное посещение горбуна решило его судьбу? Это была специальная комиссия?.. Ах, боже мой, здесь действительно приходится кое-что переживать... Ведь они не произнесли ни слова. Не задали ни одного вопроса. Горбун сказал за дверь: «Нет, этого не надо». И это — все.

Крейбель вынимает второе письмо — письмо от матери.

*Мой Дорогой мальчик!*

Мне тоже Хочется написать Тебе несколько строк, так как я думаю, что Тебе будет Приятно получить письмо от своей Матери, хотя у меня почти нет никаких новостей.

Сначала Малыш был Болен, и Очень болен. Я совсем из сил выбилась, и Крошке Здорово досталось, но он Чудесный мальчик. Представь себе: Сыпь по всему телу, около Сорока гнойных нарывов. Десять доктору пришлось прорезать, крику при этом было -- ты себе тоже представить не можешь, я должна была его держать, это было Ужасно, зато ему теперь Легче, сегодня он уже опять Поет.

О себе писать почти нечего, много Работы и Маяты, а к этому еще и Неприятности, я не имею больше

права думать о своих Дряхлых Костях, и если и сейчас сдам, все пойдет прахом. так что мне нельзя голову Вешать.

Ну, а тебе, мой мальчик, как живется? Впрочем, можно себе Представить, как, — лучше об этом и не говорить. Но всему бывает Конец, и для тебя наступят Лучшие дни, только не теряй Мужества и о нас, женщинах, не Беспокойся, мы уж как-нибудь перебежмся.

Все шлют тебе приветы, Веселей мой мальчик. Твоя мать».

Крейбель улыбается. Сколько любви в этих письмах, в каждой строке, в каждом слове! Сколько жизненной бодрости и веры!

Эти письма — единственная его радость, единственное чтение. Он снова и снова принимается читать их, и его умиляет, что мать все, по ее мнению, важные слова, пишет с большой буквы и что она ставит точку только тогда, когда закончит всю мысль.

Он прикрепляет оба письма над столом на голубой стене камеры. Это единственное украшение его одиночки, и каждый раз, когда он во время кружения по камере проходит мимо стола, он бросает на них взгляд.

— Смирно!.. Ру-ужья на плечо!.. К ноге!.. Вольно!..

Караульный отряд концентрационного лагеря на ученьи. Командует Тейч.

— В чем дело? Ведь это же должно доставлять удовольствие, когда руки одним взмахом скидывают ружья и все стоят, как вылитые из бронзы... Кальк, ты сделал такое лицо, как будто тебя уксусом напоили. Разве тебе не весело? А?

Тот, к кому он обратился с этими словами, смущенно улыбается и пожимает плечами.

— Смирно!.. Ружья на плечо!.. Ровным шагом... марш!

Охранники с винтовками, в стальных шлемах, маршируют вокруг двора. Тейч, шагая рядом, делает замечания: неправильное расстояние между отдельными шеренгами; не так держат винтовки; недостаточно энергично размахивают свободной рукой.

— Отделение!.. Так, хорошо... Ноги выбрасывать. Стой!.. Отлично! Увидите, как девушки будут на вас заглядываться!.. Отделение, марш! На-лево кру-у-гом!.. Вперед!..

В коридоре отделения «А1» стоят лицом к стене трое арестантов, которых привели сегодня утром, в последний день старого года. Один из них — высокий, стройный с черными, как сажка, вьющимися волосами.

Дузеншен и Майзель идут по коридору, замечают черную курчавую голову и останавливаются позади него. Дузеншен наклоняется к самому уху арестанта и шепчет:

— Где твоя родина?

— В Германии!

— Что? Как твоя родина называется?

Арестант слегка оборачивается и еще раз отвечает:

— Германия.

Дузеншен шепчет:

— А как тебя зовут?

— Бруно Леви.

— Значит, твоя родина Палестина. Верно? Тот молчит.

— Отвечай, сволочь! — орет ему Дузеншен в самое ухо. — Твоя родина Палестина?

— Нет!

В этот момент проходит мимо Кленкер, тюремный парикмахер. Он несет подмышкой в маленьком ящичке все необходимые ему принадлежности: машинку для стрижки волос, ножницы, гребенки. Дузеншена осеняет блестящая мысль.

— Эй! — зовет он парикмахера. — Машинка для стрижки с тобой?

— Так точно, господин начальник!

— Дай-ка сюда!

Дузеншен берет машинку и начинает стричь пышные волосы арестованного.

— Стой смирно, идиот, или я тебе... с волосами и уши обрежу!

Дузеншен стрижет наголо, лишь на самой макушке оставляет небольшой хохолок. Рядом стоит Майзель и спокойно смотрит, как падают кольца черных волос. Взгляд внимателен и серьезен, как будто все так и должно быть.

Во время стрижки Дузеншен спрашивает:

— За что, собственно, ты арестован?

— Мы рассказывали анекдоты.

— Кто мы?

— Мои приятели и я.

— А где твои приятели?

— Не знаю.

— Так, так! Вы рассказывали друг другу анекдоты. А какие анекдоты? Мне бы тоже хотелось послушать хорошие анекдоты... Ну-ка, не стесняйся!

— Это были анекдоты о... о правительстве.

— Да, да! Об этом нетрудно догадаться. Но какие? Я хочу их послушать... Ну, ты скоро? Или хочешь, чтобы тебя сперва высекли?

— Один человек задал вопрос: «Почему нам в этом году не нужно угля на зиму?».

— Ну, и?.. Дальше, дальше!

— Ему ответили: «Погому что у нас... у нас «теплое» правительство».

— Замечательно остроумно! — иронически хвалит Дузеншен и при этом щиплет и рвет машинкой густые волосы у ушей и на затылке. — Еще! Вы ведь еще рассказывали.

— Зачем... собираются вырубить... саксонский лес? Потому что... — заключенный колеблется и испуганно косится на Дузеншена, все еще обрабатывающего его голову, — по... потому что Герингу... требуются еще шкапы для его костюмов.

— Один другого лучше! Вы, наверно, рассказывали анекдот и по поводу поджога рейхстага? Да?

— Нет.

Дузеншен смотрит на остриженного еврея и говорит Майзелю:

— Замечательный остряк, а?

Майзель поднимает брови, и едва заметная улыбка скользит по его лицу.

— Он не красив, но оригинален.

— Давай-ка покажем его там, на дворе.

Дузеншен щелкает арестанта по голому черепу:

— Пошли!

На дворе арестанта встречают дружным хохотом. Остриженный наголо, с черным хохолком, он похож на китайца.

Дузеншен принимает командование:

— Смирно!

Охранники подтягиваются.

— Ружья на плечо!.. Шагом... марш!

— Ну, а ты беги свиным галопом вокруг колонны, — обращается Дузеншен к заключен-

ному. — Это будет очень остроумно. Ну, марш, марш!

Леви бежит за взводом. Добежав до переднего ряда, он бежит вокруг него и потом снова и снова обегает марширующие шеренги.

Охранники громко потешаются над ним.

— Запевай! — приказывает Дузеншен.

Лора, Лора, Ло-о-ора!.. Эх, и хороши же  
Девушки в семнадцать-восемнадцать лет...

Дузеншен подходит к бегавшему вокруг отряда заключенному:

— Живей! Не спать! Живей! Еще живей!

...И коль в долинах вешний цвет —  
Еще раз Лоре той прилет...

— Живей бегать! Еще живей!

Лора, Лора, Ло-о-ора!..

Заключенный натывается на марширующих и получает такой пинок, что его отбрасывает в сторону.

Дузеншен командует:

— Перед входом в две колонны разойдись!  
Марш, марш!

Поднявшись, измученный юноша должен пробежать в тюрьму между двумя рядами охранников.

Дузеншен дает совет:

— Торопись, не то сапоги в заднице завязнут!

Леви стискивает зубы, сжимает кулаки, п, не возражая, бежит вдоль рядов.

С обеих сторон его подгоняют пинками и тумаками. Он сгибается, чтоб защитить лицо и голову, но бешеными ударами его сваливают с ног и топчут подбитыми железом сапогами. Он снова вскакивает, не видя ничего, кроме поднятых для удара рук и ног, не слыша ничего, кроме дикого



хохота и улюлюканья, и вдруг чувствует, что его одним ударом выбрасывают на ступеньки лестницы.

В первый момент он оглушен. Но, открыв глаза, видит перед собой веселые, оскаленные смехом лица и осторожно поднимается.

— Пошел вон! — кричит Дузеншен, и заключенный поспешно ковыляет по лестнице.

— Внимание! — оборачивается Дузеншен к охранникам. — У меня есть для вас сообщение. Наместник правительства передал всему охранному отряду приглашение на встречу нового года. Это является знаком признания наших заслуг.

В канцелярии комендатуры полная растерянность. Гармс стоит, скрестив руки перед деревянной полкой, на которой лежат архив и картотека. Ридель сидит за письменным столом и молча над чем-то ломает голову. Дузеншен шагает быстрыми, нервными шагами по комнате.

— Но как это могло случиться? — снова и снова вздыхает Дузеншен. — Как это могло случиться?..

Гармс и Ридель переглядываются. Каждый угадывает на лице другого чуть заметную злорадную усмешку.

— Ну, а если замять это дело? Ведь это беспримерный скандал!

— Невозможно, — холодно отвечает Ридель. — Почти все слышали. Старик узнает и помимо нас.

— Ты даже не можешь себе представить, Гармс, что ты наделал! Мы уж и так все время, как на вулкане. А теперь еще эта история!

— Я был пьян.

— И все же... все же... — Дузеншен вдруг

останавливается перед ним.— И ты все это знаешь от Ленцера? От самого Ленцера?

— Да, я встретил его на Келлинг-Гузенском вокзале. Мы разговорились. В ответ на мои упреки по поводу этой истории он рассказал мне про Майзеля. Ленцер был взбешен, что уже сообщили в его отряд, а Майзель за него не заступился.

— В таком случае он, вероятно, и другим рассказывал?

— Ну, конечно!

— Не очень хорошо его характеризует, — лаконически замечает Ридель.

— Нехорошо характеризует? Сволочь, отъявленный мерзавец! — шипит Дузеншен и, засунув руки в карманы, снова принимается бегать по комнате.

— Позвони-ка! Пусть Майзель придет!

Спустя несколько минут в комнату входит Майзель. Он озирается по сторонам расширенными от волнения и страха глазами. Его землисто-серое лицо позеленело. Губы судорожно сжаты.

Прежде чем задать вопрос, Дузеншен долго смотрит на Майзеля и барабанит пальцами по доске письменного стола. Потом, покачав головой, резко поворачивается к нему спиной.

Майзель чувствует на себе глаза своих врагов — Гармса и Риделя, но сам смотрит мимо.

— ...О ком угодно!.. Если бы мне рассказали это о ком бы то ни было другом, меня бы это не так поразило. Но ты!.. Ты!.. самый сознательный, до мелочей исполнительный. Скажи же мне, несчастный, как это Ленцер подбил тебя на это?

Дузеншен стоит вплотную перед Майзелем, который отвечает на его взгляд тусклым, беспоконным взглядом.

— Я знал о том, что происходит, но прямого участия никогда не принимал.

Дузеншен прислушивается.

— Ты никогда не принимал участия?

— Нет.

— Не принимал заказов? Не проносил их контрабандой в лагерь? Не распределял в общих камерах?

— Нет.

— Ты только знал обо всем этом?

— Да.

— И не хотел выдать Ленцера?

— Да.

Голос Дузеншена приобретает другой оттенок. Он поворачивается к Гармсу и Риделю:

— Значит, дело принимает совсем другой вид.

Ридель изумленно смотрит на Дузеншена, потом переводит взгляд на стоящего у двери Майзеля. На мгновение их глаза встречаются. Во взгляде Майзеля сквозит робкая мольба, но Риделя она не трогает.

Ридель не чувствует к Майзелю никакой жалости и не думает его щадить.

— Майзель не только знал о махинациях Ленцера, — твердо и уверенно заявляет он, — но даже получал половину прибыли.

Дузеншен сражен. Он смотрит на Майзеля.

— Это верно?

— Да, — тихо отвечает тот дрожащими губами.

— Ах, подлец! — шипит Дузеншен в бессильной злобе. — Устроить мне такую пакость!

Он подходит к окну, судорожно хватается за оконную раму и прижимается к ней лицом.

Ридель и Гармс смотрят на Майзеля. Тот стоит с поникшей головой и закрытыми глазами.

Вдруг, не меняя своей позы у окна, Дузеншен кричит:

— Вывести его!

Ридель поднимается и выходит мимо Майзеля из комнаты. Затем возвращается с конвойными из комендатуры.

— Ну, пошли!

Майзель вздрагивает, бросает на Риделя убийственный взгляд и выходит впереди конвойных из комнаты.

Дузеншен хочет доложить о случившемся коменданту, но Эллернгузен уже обо всем подробно осведомлен.

— У нас дела идут все хуже.

Дузеншен отвечает:

— Такие вещи надо беспощадно искоренять.

— Ведь Майзель пользовался, кажется, вашим особым доверием?

Дузеншен ожидал этого вопроса. Он был неизбежен. И все же холодное бешенство сжало ему горло. Он смотрит коменданту прямо в глаза, но ничего не говорит.

Комендант Эллернгузен понял взгляд начальника отряда, и вдруг ему стало жаль этого, преданного своими лучшими друзьями, подчиненного. И он говорит примирительным тоном.

— Командир! Вы плохо разбираетесь в людях. Но постарайтесь преодолеть разочарования. Они дают хороший урок, они закаляют и учат презирать людей.

В лагере быстро распространился слух о том, что во время новогоднего приема у заместителя Кауфмана подвыпивший Гармс бросил Майзеля обвинение в мошенничестве, продажности

и преступлениях по должности, и о том, что Майзель уже арестован.

Все заключенные радуются. Слишком велика ненависть к этому извергу. Никто из заключенных не заступается за него, несмотря на то, что его проделки шли им же на пользу.

Старшего начальника отделения Гармса произвели в старшие взводные. Риделя — во взводные. Дузеншен взял отпуск по болезни. Его замещает Гармс.

Выгнанный студент Гармс — искусный тактик, он заметно приближается к своей цели. Он — доверенное лицо коменданта. Среди охранников ходят слухи, что Дузеншен больше не вернется из отпуска и что его место займет Гармс.

Январь проходит тихо. По ночам уже не слышно криков истязаемых. Гармс любит бесшумную работу. Заключенных уже не бьют тут же в одиночках. Порка происходит теперь только в подвале, за двойной дверью, которая не пропускает ни звуков плети, ни крика.

Среди заключенных в общих камерах отыскивали маляров. Их разбили на бригады и заставили красить коридоры и камеры. Другие рабочие команды моют с помощью веников и пожарных труб все тюремное здание. С раннего утра до позднего вечера во всех отделениях кипит работа.

Не из желания облегчить судьбу заключенных, а из любви к порядку Гармс вводит правила, идущие им на пользу.

Раздаются аккуратные письма. Устанавливаются определенные часы для посещений. Равномернее распределяется свободное время. В опре-

деленные числа меняется постельное белье. Раз в месяц заключенных водят в баню.

В одиночки не заходит. Он знает, что у одинокчиков часто нет посуды и они едят из умывальных мисок. У них обыкновенно нет ни грешка, ни зеркала. Они по нескольку месяцев не бывают в бане, не бреются.

Однажды, в конце января, Торстену велят немедленно собрать вещи. Караульный сообщает ему, что его переводят в подследственную тюрьму.

У Торстена вырывается глубокий вздох облегчения.

Пережить заключение в концентрационном лагере — это много значит. Все остальное будет значительно легче.

Он быстро переодевается, сваливает в кучу все казенные вещи и, развернув одеяло, бросает их туда. В своем собственном платье Торстен сразу почувствовал себя человеком.

Он прощается с одиночкой, в которой прожил столько месяцев. Еще раз осматривает все: щели на потолке, мазки краски на стенах, пятна ржавчины на двери. Сколько раз в эти длинные недели одиночества его взгляд останавливался на всем этом!

Он смотрит в окно и прощается со своим букком, растопырившим голые окоченелые ветви. Часами, бывало, смотрел он, погруженный в мечты, на его разукрашенную осенью листву.

Крейбель... Быть может, его теперь тоже переведут? Ведь скоро год, как он в лагере... Свидятся ли они когда-нибудь? Ведь если вспомнить, то тогда, в темноте, в мрачной каменной могиле,

они жили наиболее напряженной жизнью. Они заставляли говорить немые стены.

Вошел караульный.

— Вы готовы?

— Так точно, господин дежурный.

— Так выходите!

В караульной Торстена принимает ординарец из комендатуры. Они идут через ряд тюремных дворов в средний корпус.

В камере для хранения вещей, находящейся в подвале под комендатурой, Торстену приходится ждать. В прихожей, где выдают тюремную одежду, много вновь прибывших. Он очень удивлен, что среди них много молодых людей в высоких сапогах и коричневых замшевых штанах. Одного из них, штурмовика в полной форме, Торстен принял было за караульного. Но ему дают тюремную одежду — значит он арестант.

По лестнице спускается Тейч, — ему кажется, что выдача одежды идет слишком медленно. Он замечает штурмовика, стоящего перед своим узелком, и подходит к нему.

— Ты штурмовик?

— Так точно!

— А за что тебя сюда отправили?

— На меня донесли... Сболтнул лишнее.

— Что ж ты говорил?

— Против Кауфмана и... и... тех, что повыше.

— Хорош штурмовик!.. А ты давно в отряде?

— С тысяча девятьсот двадцать девятого.

Тейч смотрит на высокие сапоги и коричневые штаны других новичков.

— Ты кто такой? — спрашивает он у крепкого, мускулистого, повидимому спортсмена.

— Мебельщик.

— Штурмовик?

— Так точно!

— А ты что выкинул?

— Я агитировал у нас на предприятии за забастовку.

— Из коммунистов, что ли?

— Нет. Нам хотели снизить расценку.

— Тоже штурмовик? — спрашивает Тейч у третьего, в высоких сапогах и коричневых штанах.

— Нет, я по хозяйственной части.

— А за что тебя арестовали?

— Я забыл дать начальнику подписать талоны на уголь, которые я себе выписал. Я об этом просто забыл, потому что согласие начальника у меня было.

— Врешь, свинья! — и Тейч подходит к нему вплотную. — Из-за простой ошибки люди не попадают в концентрационный лагерь. Ты думал смошенничать?

— Нет.

— Как тебя зовут?

— Бреннингмайер.

— Я запомню твое имя. Можешь быть уверен, что я заставлю тебя сказать правду. Подумай об этом, пока не поздно!

Тейч снова обращается к первым двум штурмовикам:

— Срам!

Тейч подходит к Торстену и спрашивает:

— Ну, теперь переходите на тюремное иждивение? Вы на что рассчитываете?

— Я этого не могу сказать... Я даже не знаю, в чем меня будут обвинять.

— Да уж, должно быть, хорошенькие делишки выплывут!

Несколько часов спустя Торстен вместе с дву



мя сутенерами, которых тоже переводят в тюрьму для подсудимых, выезжает в полицейском автомобиле за ворота лагеря. Из узких окон автомобиля в последний раз окидывает он взглядом молчаливые, мрачные, грязно-красные здания тюрьмы, еще раз вспоминает ужасные ночи, проведенные за этими стенами, думает о Кольтвице и Крейбеле и о многих-многих, томящихся за этими решетками товарищах.

Фельдшер Бретшнейдер входит к Оттену в караульную.

— Ну, Оттен, что нового в отделении?

— Ничего. Вот только Клазен из тридцать восьмой одиночки заявил, что он болен. Он говорит, что у него сифилис. Ну, да эта сволочь хбчет просто в лазарет попасть.

— А Крейбель как себя чувствует?

— Опять очень плох.

— Его жена девять часов простояла у ворот. Ни за что не хотела уйти, не повидав мужа и не поговорив с ним.

— Ну и в конце концов передумала? А?

— У нее ребенок в больнице. Совсем вне себя женщина. Насилу отделались!

— Мне это знакомо,— говорит Оттен.— Я как-то раз стоял на часах во время свиданий. У этих баб не языки, а бритвы. Наглый народец! Подходит ко мне этакая куколка, прямо одной рукой поднять можно, и спрашивает: «Вы тоже принадлежите к тем скотам, которые избивали моего мужа?» — «Позвольте,— говорю,— я вас совсем не знаю!» А она как завизжит: «Меня-то нет! Меня — нет, но зато вы хорошо знаете моего мужа, да?» Ну, знаешь, брат, я поскорее

смылся. Еще бы немножко — и они накиннулись бы на меня, как тогда на Цирбеса.

Фельдшер смеется.

— Понятно, почему все эти бабы истеричны: им мужей нехватает...

Бретшнейдер отворяет одиночку Крейбеля.

— Как себя чувствуете?

— Плохо, господин дежурный.

— Плохо? Чего вам нехватает?

— Работы, господин фельдшер. Дайте мне какую-нибудь работу. От постоянного хождения по камере у меня начинает в голове мутиться.

— Если бы от меня зависело, то вы все с утра до ночи работали бы — ну, хотя бы в пользу комитета помощи безработным. Но у нас просто нет работы.

Фельдшер внимательно смотрит в лицо заключенного: серый, болезненный цвет лица, странный, неподвижный взгляд и нервное подергивание мускула под левым глазом.

— Сколько времени вы в одиночке?

— Почти десять месяцев, господин фельдшер. Из них шесть недель в темной.

— Хм... Я посмотрю, что можно будет сделать, но больших надежд не возлагайте. Может быть, удастся получить для вас работу в саду.

— Я был бы вам бесконечно благодарен!

Фельдшер выходит из камеры и идет обратно в караульную к Оттену.

— Крейбель долго не выдержит. Мне не нравится его взгляд. Это чертовски тяжелое заключение — быть постоянно одному и без всякой работы.

Оттен, что то записывающий в этот момент в журнал, оборачивается.

— Если бы вы у меня спросили, я бы совсем

иначе поступил. Я бы всех выпустил... Но каждого вторично попавшегося на политической работе расстреливал бы на месте. Если уж мы хотим запутать эту братию, то это — лучший способ. А кроме того, это дешевле. Германский патрон стоит всего семь пфеннигов.

— Ты слишком просто все себе представляешь.

После ухода фельдшера Оттен раздумывает, не рассказать ли Крейбелю о том, что его ребенок в больнице. Как только эта мысль приходит ему в голову, у него появляется сильное желание пойти к нему сейчас же. Пусть помучается.

Он выходит в коридор, идет прямо к одиночке Крейбеля и отпирает дверь. Заключенный стоит, согласно правилам, у стены под окном и рапортует:

— Арестованный Крейбель!

— У тебя есть сын?

— Да, господин дежурный.

— Сколько ему лет?

— Три года.

— Его свезли в больницу.

Крейбель поднимает глаза на стоящего у двери и внимательно наблюдающего за ним караульного.

— Господин дежурный, что... что с ним?

— Этого я не знаю. Здесь была ваша жена, хотела говорить с вами.

Лицо Крейбеля будто свело параличом, он тяжело дышит и еле может выговорить:

— Он... он... опасно болен?

— Подробностей не знаю!

И Оттен запирает дверь. Но прежде чем уйти, он смотрит в глазок и видит, что Крейбель, бледный, продолжает неподвижно стоять на том же месте.

На следующее утро Крейбель слышит беспокойную беготню в соседней камере и по коридору. Оттен сыплет проклятиями. Кальфакторы бросили ведра с кофе и бегут вниз по лестнице.

Что случилось рядом? Уж не повесился ли молодой Ганзен? Если да, то это на совести Оттена. Какие отвратительные глаза были у этого человека, когда он ему сообщал о сыне! Губа поднялась, зубы оскалились. Ровные жемчужно-белые зубы. Он ими, видимо, особенно гордится.

С Оттенем идет по коридору фельдшер. Крейбель сейчас же узнает его по голосу.

— А вчера вечером ты ничего не заметил?

— Никакого намека! Он вел себя, как всегда.

Крейбель прижимается ухом к стене. Если в коридоре тихо, то слышно, что говорят в соседней камере.

— Какие ты глупости делаешь, дружище! Так не поступают в восемнадцать лет. Что у тебя — неудачная любовь?

Крейбель не слышит ответ Ганзена.

— Письма от матери? У нее, наверное, нет времени писать письма. Но разве можно убивать себя из-за того, что нет писем? Ведь это же чорт знает что такое!

Кальфакторы приносят носилки. Крейбель слышит, как Ганзена осторожно выносят из камеры. У двери фельдшер говорит:

— Парню повезло! Другой бы на его месте давно окошел.

Это утро имело для Крейбеля большое значение. Ему тоже знакомы вечера и ночи, когда он боролся с мыслью покончить с собой. Уже давно он носит крепкую плетеную веревку на шее под рубашкой, для того чтоб не тратить времени на долгие приготовления, когда станет

ясно, что иного выхода нет. В ночи одиночества и отчаяния она жгла, как раскаленная цепь, а вечером, когда приходил к концу мучительный день и приближалась не менее мучительная бессонная ночь, ему часто казалось, что веревка на шее понукает его: «Решись, решишь!» Тогда, обливаясь холодным потом, он прятал лицо в грубый холст своего соломенного ложа.

В это утро, после того как унесли его юного соседа, Крейбель дает клятву, что никогда не наложит на себя руки, снимает веревку с шеи и опускает ее в клозет. Он просто не имеет права играть своей жизнью. Он обязан выдержать до конца. Ведь Торстен и большинство товарищей выдерживают. Торстен?.. Тот бы в этом случае сказал: «Не хватило большевистской закалки». Нет, он не покончит с собой! Никогда!

Крейбель берет крошечную щепочку и клочок серой бумаги и осторожно, медленно начинает выписывать азбуку для перестукивания — накалывает буквы на бумаге. При первой возможности он передаст эту записочку другому своему соседу. Тот, несмотря на то, что Крейбель стучит уже несколько недель, не понимает.

— Вальтер!

Крейбель бросается к двери. Кальфактор Эрвин шепчет ему в щелочку:

— Ганзен перерезал себе вены. Но кровь запеклась, и он еще жив. Но здорово ослабел. Ты слышишь?.. Это Оттен довел его.

— Да,—шопотом отвечает Крейбель.—Я знаю.

— Его отправили в Бармбекскую больницу. Коли он не дурак, только его и видели.

— Послушай, Эрвин!

— Что?

— Никого нет?

— Нет, Оттен внизу.  
— Можешь просунуть записку Крамеру?  
— Ну, это опасно. Знаешь, чем это для меня может кончиться?

— Ну, тогда не надо.  
— Ладно, попробуй просунуть ее в щель двери. Сложи листок и просунь его над самым замком.

Крейбель с волнением сует записочку между дверью и стеной, но наталкивается на препятствие. В скважине на дверной филенке маленький выступ. Крейбель долго пробует просунуть то в том, то в другом месте.

— Ты не волнуйся. А то ничего не выйдет.

Наконец записка проходит насквозь.

— Взял?— кричит Крейбель.— У тебя?

— Да. Тише, не ори так...

Крейбель слышит, как Эрвин поспешно просовывает записку в дверь соседней камеры и быстро уходит.

Сосед стучит кулаком в стену. Крейбель отвечает.

— Ну, теперь, товарищ, рассмотри шифр, и мы будем с тобой беседовать,— говорит Крейбель, обращаясь к стене, за которой заключенный рассматривает записочку.

30 января, в годовщину перехода власти к Адольфу Гитлеру, в одиночку к Крейбелю входит Оттен в сопровождении «ангела-избавителя» Гардена.

От волнения лицо Крейбеля покрывается красными пятнами, захватывает дыханье. Неужели это освобождение? Он пристально смотрит на Гардена; держащего в руке большой белый лист.

— Собирайте все ваши вещи!

— Слушаюсь, господин караульный!

Вне себя Крейбель бросается к постели и сворачивает все вещи вместе. Вытаскивает из шкапа дощечку для селедки, миску и ложку и кладет все это на стол.

— Есть ли у тебя места в общих камерах?

Крейбель прислушивается. Значит, его не освобождают, а переводят в общую камеру. Ну, и то хорошо. Лишь бы выбраться из этой норы.

Оттен соображает:

— У меня нет места. Обе общие камеры полны.

Крейбель собрал вещи. Свернутые из туалетной бумаги шашки шелестят в кармане брюк. Украдкой он бросает взгляд на стену, за которой сидит Крамер. Конец разговорам, которые так трудно было наладить. Конец и игре в шахматы, заполнявшей последние дни...

«В общей камере! Среди товарищей! Но я буду осторожен,— дает себе обещание Крейбель,— чтобы не обжечься, совсем не буду говорить о политике. А то не успеешь оглянуться, как снова попадешь в одиночку или, еще хуже, в темную».

Общая камера — последний этап перед освобождением, и у него нет ни малейшего желания начинать все сначала.

— У Люринга должны быть свободные койки,— замечает Гарден.— Вы готовы?

— Так точно!

— Тогда идем.

Они спускаются по лестнице в нижнее отделение. По дороге Крейбель узнает от караульного, что по распоряжению гестапо он переводится в общую камеру и получает разрешение на воскресные свидания.

— Подождите здесь!

Гарден входит в караульную.

Крейбель смотрит вдоль длинного коридора. В одной из этих одиночек сидел Торстен. А темная лестница, ведущая в подвал. Неужели заняты все темные? Перестукиваются ли между собой и другие товарищи?..

Сколько ужасов, истязаний происходило за толстыми каменными стенами, холодно и молчаливо хранящими тайны! Сколько горя, сколько отчаяния за тяжелыми железными дверями одиночек! Сколько людей носят веревку под рубашкой!..

Гарден выходит с Люрингом из караульной.

— Идемте!

Люринг отпирает дверь в общую камеру № 2.

Староста кричит:

— Смирно! — и рапортует: — «А—один», камера два, тридцать восемь человек, две койки свободны.

— Получайте! Немедленно побрить, постричь и вымыть, чтоб снова приобрел человеческий вид.

— Слушаюсь, господин дежурный!

Едва успели оба караульные выйти за дверь, как товарищи окружили Крейбеля. Жмут ему руки, хлопают по плечу, предлагают папиросы, масло и белый хлеб из купленных на свои деньги запасов.

Крейбель встречает знакомых товарищей. С Вельзеном они работали в нескольких культ-организациях. Он знаком и с Вилли Креггером, — это один из лучших рабкоров. Человек, протягивающий ему уже вторую самокрутку, — товарищ Клокнер, старый работник революционной профопозиции. Сквозь кольцо окружающих Крейбеля товарищей продирается маленький су-



хощавый человек. Он пожимает Крейбелю руку и спрашивает:

— Не узнаешь?

Крейбелю неловко, — он не может вспомнить.

— Ты доставил меня в больницу, когда я был подстрелен во время октябрьского праздника в Ольсдорфе.

Теперь Крейбель узнал его, и они долго жмут друг другу руки.

— Дайте вы ему притти в себя, — останавливает Вельзен товарищей, — Оскар, соскобли с его щек девственную растительность и остриги волосы. А Али и Альфред могут пока привести в порядок постель.

Вельзен отводит совсем оглушенного Крейбея в сторону и шепчет ему:

— Великолепно, что ты теперь здесь! У нас в камере созданся небольшой кружок. Уже прошли курс политэкономии и диамата. Тебе придется провести курс истории ВКП(б) и русской революции. Я слабоват в этих вопросах, а ты ведь читал доклады в районных партшколах.

— Взгляните-ка на Натана! — кричит товарищам тощий Зибель. — Нам велел оставить Крейбея в покое, а сам не выпускает его из когтей. Вот лиса!

— Мы еще поговорим об этом, — шепчет Вельзен и громко добавляет: — А теперь нужно тебя привести, как сказал караульный, в человеческий вид.

Утро. Вельзен смотрит на часы. Скоро семь. Он берет Крейбея под руку и начинает разгуживать с ним у двери.

Товарищи, дежурные по комнате, метут пол, отодвигают в сторону скамьи, на которых стояли

умывальные чашки, оправляют постели. Одеяла должны так гладко лежать на соломенных тюфяках, чтобы не было ни одной складочки.

— У нас в палате хороший народ, но с некоторыми будь осторожен. Например наци Рудольф Келлер — вон тот длинный, что убирает сейчас свою постель. Вихерс — он сутенер, мы ему тоже не доверяем. И Боргерс, — за ним какие-то проделки с благотворительными лотереями... Наших товарищей здесь всего семнадцать, из них пятнадцать крепкие. Ганнес Кольцен — вон у окна, лысый — тот держится замкнуто. Мне кажется, жена действует на него. После каждого полученного письма и после каждого свидания он особенно угнетен. Другой — Вальдемар Лозе. Тот в последнее время ударился в критику окружного руководства, в особенности товарища Шуберта.

— Который Лозе?

— Вон тот, что стоит у шкапов и курит трубку. Зато уж остальные в огонь и в воду. Здесь есть также два соци. Одного зовут Шнееман...

— Знаю! Знаю! — перебивает Крейбель. — Тот маленький, толстенький, не правда ли? Мне он сразу показался знакомым. А как он держит себя?

— Вполне прилично. В первые дни он все рвался в бой, как молодой петушок, — с нами, конечно. В последнее же время утомился.

— Он сыграл скверную роль!

— Знаю! Дүзеншену хотелось, чтобы мы его вздули. Я тебе при случае расскажу. Другой — рейхсбаннеровец, идет к нам. Немного болтлив, говорит здравые вещи пополам с чепухой, но в общем малый порядочный.

— Где он?

— Вон высокий, за вторым столом, с козлиной бородкой и острым носом. Его зовут Фриц Зеелигер... В нашем кружке восемь человек. Кто не участвует, несет охрану кружка.

Вельзен еще раз проверяет койки, стоящие одна за другой направо и налево вдоль стены, окидывает взглядом четыре стола посредине комнаты, на которых ровно, как по ниточке, выстроились суповые миски и чайные чашки.

Входит караульный Люринг.

Вельзен рапортует:

— «А—один», камера два, на утренней переключке налицо тридцать девять человек. Все здоровы, за исключением Дрекса, который просит направить его к фельдшеру.

Люринг — в прошлом пароходный лакей. Это узкогрудый человек с большим отвислым подбородком и маленькими колючими глазками. Он командует «вольно», проходит вдоль коек и глядит, в порядке ли столы, и, продолжая осматривать камеру, командует:

— Рассчитайсь!

— Один, два, три, четыре, пять...

— Отставить!

— Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь...

— Который тут Дрекс?

— Здесь!

— Что с тобой?

— У меня болит горло.

— Я сказал, чтобы прекратить бегать из-за всякой ерунды к фельдшеру!

Кальфакторы приносят ведро кофе. На стол отсчитывают тридцать девять кусков хлеба. Когда Люринг поворачивается и направляется к двери, к отсчитанным раньше кускам быстро летит еще кусок белого хлеба.

— Смирно!

Заключенные снова вытягиваются. Люринг выходит из камеры.

Крейбель сидит подле Вельзена. В первый раз за много месяцев ест он бутерброд. Его угощают со всех сторон.

— Попробуй-ка ветчины. Жаль только, что так мало осталось!

— Вальтер, хочешь сала? И возьми к нему луку. Сало с луком — замечательно вкусно!

— Вот хороший мармелад. Еще от последнего свидания.

Но Крейбелю не хочется есть. Он почти всю ночь не спая, никак не мог уснуть, несмотря на ужасную усталость. Обрит, пострижен, вымыт, среди товарищей, — слишком много сразу! И все так неожиданно, без всякого перехода. В темном карцере он тосковал по свету, и одиночное заключение в светлой камере уже казалось ему приятным. В могильном уединении одиночки он завидовал товарищам, сидящим вместе с другими. Вот теперь он в обществе, но не испытывает радости; он не может так скоро отрешиться от прошлого, ночные шумы одиночки продолжают звучать в ушах.

— Товарищи, — говорит он вдруг во время еды, — я никогда больше не хотел бы вернуться в одиночку.

Заклученные глядят на него, не зная, что сказать.

— Но раз ты уже здесь, так в одиночку больше не пойдешь, — Кессельклеин первым находит слово утешения, а Вельзен молча обнимает его за плечи.

Крейбель только теперь начинает понимать, как он был оторван от жизни, как, несмотря на

перестукивание и сообщенные шопотом сведения, он был мало осведомлен о том, что творится на воле, а также здесь в лагере, в его ближайшем окружении.

Он узнает, что товарищи Люкс, Эссер, фондер-Рейт, Дрешер, и многие другие жестоким избиением были доведены до самоубийства, что Линдау и Ретслаг казнены...

— Слушай, Вальтер, что ты скажешь? Камперс и Горн в открытом заявлении обругали партию. И в благодарность за это их выпустили.

— Некоторые смалодушничали и пошли на предательство.

— А Цирбес исчез. Говорят, наши женщины отколотили его в одно из воскресений, и гестапо удалила его из лагеря.

— Ленцер и Майзель тоже скрылись с горизонта. Ах, брат, надо рассказать тебе об этом...

Со всех сторон сообщают Крейбелю новости. Он жадно воспринимает их. Сообщают о политических событиях последних месяцев, о подпольной работе партии, о деятельности эмигрировавших и судьбе арестованных товарищей.

Особенно насаждает на него сухопарый маленький Зибель с лысым блестящим черепом и крошечным вздернутым носиком. Он близорук: когда говорит, приближает лицо вплотную и брызжет на Крейбеля слюной.

— У нас здесь в камере был ротмистр. Неглупый парень. Один из сторонников Штрассера. Мы часто спорили. Военная политика — это, как тебе известно, мой конек. Занятно, доложу я тебе. Он считал, что Япония получит здоровую трепку. А какая у него великолепная осведомленность относительно Красной Армии!

Крейбель не может удержаться от улыбки.

вспоминая, что этот маленький человек летом 1919 года был военным руководителем революционных рабочих и солдат в Гамбурге; занял радушью, на вокзале обезоружил корпус добровольцев, организовал сопротивление Леттов-Форбеку. Теперь он — старый хилый человек, с гордостью рассказывающий о своих заслугах перед революцией.

— ...Однажды я спросил ротмистра: «Вы теперь немножко основательнее узнали коммунистов. Скажите мне, у кого выше уровень политического развития — у коммунистов или у национал-социалистов?» И знаешь ли, что он мне ответил? «Как можно делать такое сравнение! Ведь национал-социалисты вообще политически неразвиты». Хорошо, не правда ли?! И все же, когда его освобождали, он нас предал.

Теперь, когда Крейбель постоянно находится среди людей, у него часто появляется потребность быть одному. Бесконечные разговоры, хождение взад и вперед, постоянная суэта вызывают у него головную боль. В первый день он с радостью окунулся в общий шум и сумятицу, но теперь это ему уже в тягость.

Он часто старается отделаться от товарищей, садится в какой-нибудь угол совсем один и мечтает. Он решает, что если его освободят, то он пойдет один пешком через Везерские горы или Гарц, целыми днями будет бродить по лесам. Ему надо забыть! Забыть! Надо, чтобы ничто никогда не напоминало!..

В углу, у окна, вокруг Крейбеля собралось восемь товарищей. Среди них комсомолец Вальтер Кернинг, который все еще жалуется на боль

в ребрах, — его три ночи подряд избивали в подвале, — бледный Гейнрих Эльгенгаген, с постоянно красными, будто от слез, глазами, единственный в камере заключенный, который получал ежедневно по четверти литра молока, потому что у него желудок изранен ржавыми гвоздями, которые он глотал с целью самоубийства. Тут же Отто Зибель и Вельзен. Сегодня Крейбель будет читать в кружке историю братской российской коммунистической партии.

Утром во время раздачи кофе кальфактор шепчет одному из заключенных, что товарищ Гарри Ниус приговорен к смерти.

Об этом говорят за столом во время завтрака. Многие знают товарища Гарри, — он был работником нелегального союза красных фронтовиков.

— А ведь тогда даже никого не убили.

— При столкновении на Гольстенштрассе, кажется, все-таки погиб один наци.

— Ну, что ты! Трое из наших товарищей и двое наци получили ножевые раны, но тогда на это никто и внимания не обратил.

— И несмотря на это — смертный приговор? Да, действительно!

— Гарри такой веселый парень. Я помню, как во время поездки на пароходе в Цолленспикер...

Но он не договорил. Все вскочили. Сидящего за первым столом Фрица Янке вырвало, и он бьется головой о свою кружку. Горячий кофе льется на грудь и колени.

Крейбель вместе с другими помогает ему добраться до его соломенной постели. Янке лежит

неподвижно, глядя перед собой широко открытыми, застывшими глазами.

— Я уж несколько раз говорил, чтоб о таких вещах разговоров не было,— шепчет Вельзен товарищам.— Ведь вы все знаете, что его ожидает!

Товарищи возвращаются на места и молча, с трудом проглатывают свой хлеб. Некоторые уже споласкивают под краном чашки. Все украдкой бросают на больного товарища беспокойные взгляды.

— Что это с ним? — тихо спрашивает Крейбель у Вельзена.

— Ничего удивительного. Он тоже... кандидат...

— Разве? За что?

— Его обвиняют в убийстве,— шепчет Вельзен.— Ты помнишь столкновение на Готенштрассе в прошлом году? Был убит один штурмовик и трое наших тяжело ранены,— один из них Янке. Он пять месяцев пролежал с тяжелой раной в груди в Ломюленской больнице. И теперь его обвиняют в убийстве,— считают, что это его выстрел был смертельным.

— Он сознался?

— Нет. Но так утверждают другие обвиняемые.

— Как же можно, чтобы они давали такое показание?

— Ну, что ты спрашиваешь? Ведь известно, как их допрашивали. Каждую ночь. Можешь себе представить, как за них взялись. А уж нашему Фрицу снимут голову, можно почти наверняка сказать.

— И он об этом знает?

— Ну, конечно!



Вскоре происшествие забыто. Товарищи ходят взад и вперед по камере, разговаривают, смеются, дразнят друг друга. Играют в шахматы и в «шестьдесят шесть». Долговязый штурмовик Келлер во второй раз перечитывает «Лихтенштейна» Гауффа — единственную книгу в камере. Один из заключенных тайком принес ее с собой из следственной тюрьмы. Молодой, всегда веселый комсомолец Вальтер Кернинг сидит у окна; он смотрит через дырочку в матовом стекле на крыши Фульсбюттеля и задумчиво напевает: «Солнце для нас не затмится...»

Крейбель украдкой поглядывает на лежащего Фрица Янке, который молча наблюдает за товарищами. Тяжелое ранение в грудь, долгое одиночное заключение, ночные истязания превратили двадцатипятилетнего человека почти в старика. Темные волосы блестят на висках седой. Кажется, что глаза постоянно чего-то ищут, всегда широко раскрыты, полны ужаса и как-то жутко неподвижны. Он вообще мало говорит, а иногда по целым дням молчит.

Но Вельзен говорит, что бывают дни, когда он весел и беспечен, как никто. Он хороший рассказчик, страстный шахматист и умеет подбадривать товарищей.

Крейбель смотрит на его бледное, с зеленоватым оттенком лицо. Оно ужасно исхудало — кожа да кости. Бескровные, как будто высохшие губы. Под глазами широкие темные тени.

Крейбель вдруг невольно вздрагивает: Янке заметил, что он за ним наблюдает, и манит его рукой. Крейбель колеблется, но Янке улыбается и зовет его. Крейбель медленно подходит к нему.

— Товарищ Крейбель, я, правда, не член партии, но я неплохой товарищ. Как жаль, что

вы меня не принимаете, когда ты что-то рассказываешь товарищам.

— Товарищ Янке, теперь ты всегда будешь вместе с нами.

— Спасибо! Ты был когда-нибудь в Советском союзе?

— Да, в прошлом году я три месяца путешествовал по Украине, Донбассу и Кавказу.

— Расскажи мне, пожалуйста, обо всем, что ты видел. Мне всегда очень хотелось побывать там, да так и не пришлось. Подойди, сядь сюда, ко мне, поближе. Расскажи о рабочих Донбасса, о бакинских товарищах. Пожалуйста!

Крейбель подсаживается к нему. Ему хочется обнять Янке, но как-то неловко. Он рассказывает о гигантской плотине на Днестре, о металлургических заводах в городе Сталино, о рабочих, их клубах и театрах. Он пересказывает слышанные от тамошних товарищей эпизоды гражданской войны и не умалчивает о трудностях, вызванных невероятными темпами социалистического строительства.

Фриц Янке внимательно слушает. Большие глаза устремлены вдаль, как будто все, о чем он слышит, проходит перед ним.

— Добыча нефти в Баку растет не по дням, а по часам. Бакинские нефтяники — молодцы! Когда в Москве, Петрограде и большинстве других городов Октябрьская революция уже победила, на Кавказе еще свирепствовала беспощадная национальная война. На Кавказе много народностей, и при царизме их натравливали друг на друга, чтобы легче было держать в подчинении. Одно время власть захватили меньшевики, которые выдали белым двадцать шесть бакинских комиссаров, и их расстре-

ляли. После долгих боев, стоивших огромных жертв, бакинские рабочие захватили власть в свои руки. Во время гражданской войны нефтяные промыслы были почти совершенно разрушены. Но рабочие поняли, что Россия нуждается в маслах и горючем, и пятилетний план был выполнен в два с половиной года. Теперь в Баку добыча нефти гораздо больше, чем была до войны. Рабочие живут в социалистическом городе, расположенном на плоской возвышенности над Баку, в красивых новых домах. Братоубийственная национальная вражда между отдельными народностями прекратилась. Тюрки, русские, грузины и армяне мирно уживаются рядом друг с другом и совместно строят социалистическое общество. Молодые рабочие учатся в высших школах и техникумах. Это будущие строители социализма. Роскошные виллы, некогда принадлежавшие нефтяным магнатам, превращены в рабочие дома отдыха...

Крейбель умолк. Он взглянул в глаза товарища и не может больше говорить. Но тот схватил его руку и, сжимая ее, прошептал:

— Рассказывай дальше!

Воскресенье. День свиданий. Шесть товарищей из общей камеры ожидают гостей. Крейбель тоже наконец повидается с женой. После шести месяцев ему разрешено говорить с ней несколько минут. Только несколько минут! Нужно заранее обдумать все вопросы. Крейбель уже с утра возбужденно ходит по камере.

Спасла ли она самые важные книги? Он успел заранее унести из дома все, за исключением

библиотеки. Знает ли она что-нибудь о подпольной работе?.. Как работает уличная ячейка?.. Принесет ли она с собой ребенка?.. Нужно точно рассказать, какое заявление надо подать в гестапо. Пусть не робеет и не позволяет себя запугивать. Белье... Пальто пусть тоже пришлет на всякий случай, — на случай, если его выпустят... Ну, и потом — больше писать. Писать подробнее о всяких мелочах жизни. Так хочется, хотя бы мысленно, жить с ними!.. Изменилась ли она?..

Сегодня особенно тщательно бреются и причесываются. Чистят тюремную одежду, наводят блеск на сапоги, приводят в порядок ногти.

Ионни Штювен в возбужденном состоянии — он ожидает невесту. Болтается по камере с несколькими товарищами и безумолку говорит.

У Ганнеса Кольцена тоже свидание. Его лысый, полированный череп блестит, как смазанный жиром. Он не производит впечатления человека, радующегося свиданию с женой. Он робко бежит один по камере, опустив вниз голову, и искоса бросает мрачные взгляды на громко смеющихся товарищей. Его душат ярость и отчаяние от сознания своего бессилия. Выбраться б отсюда! Выбраться! Это его единственная мысль. Другие, повидимому, могут переносить такую жизнь, а он не может, он не рожден мучеником, он хочет вырваться отсюда. Но как? Как?

Ганнес Кольцен кусает ногти. А если б она пошла к Кауфману?.. Писать прошения — бессмысленно. Нужно пойти самой, да еще и не один раз. Ну, и в ратуше пороги обивать надо. День за днем. Да хорошо бы и ребят прихватить... И почему он не остался в стороне? Почему

именно ему надо было распространять газету, когда есть так много молодых товарищей, которые еще не обзавелись семьями? Им гораздо легче отбыть заключение. Пусть еще раз попробуют к нему сунуться,— он им покажет!..

Первым вызывают Ионни Штювена.

— Чисто помылся? — спрашивает караульный, внимательно осматривая его.— Чисто выбрит? А то женщины подумают, что здесь не концлагерь, а цыганский табор.

Ионни Штювен не отвечает. Караульный обращается к Вельзену:

— Староста по камере, вы отвечаете за то, чтоб заключенные, имеющие свидание, были хорошо вымыты и побриты и чтобы обувь была как следует вычищена. В прошлое воскресенье какой-то скот вышел к своей жене в нечищенных ботинках. У нас здесь порядок и чистота, и кто этого не усвоил, тому мы это внушим другим способом!

Двадцать минут спустя Штювен возвращается, нагруженный апельсинами, яблоками и шоколадом.

— Вот, Натан, дели на всех!

С этими словами он вываливает все на стол.

— А себе ничего не оставишь? — спрашивает Вельзен.

— Как же! Мне — мою часть, как и всем.

Потом обернувшись к товарищам:

— Караульный сделал только дурацкие глаза, когда я ее так сжал, что у нее дыхание сперло!

Они смеются и расспрашивают о подробностях.

Вторым вызывают Крейбеля.

— Идите вниз и доложите о себе караульному в Центральной.

Крейбель бежит по лестнице вниз. Еще несколько минут — и он ее увидит. Как она будет себя с ним держать? Сумасшедше бьется сердце. Он должен глубоко-глубоко передохнуть.

— Вы кто такой? — набрасывается на него караульный из Центральной. — Крейбель? Вас еще не звали. Встаньте туда к стене. Возле лестницы. Лицом к стене!

Крейбель стоит у лестницы, ведущей в подвал. Внизу в подвале шум. Он прислушивается и отчетливо слышит голос Гармса:

— Так парень взял, да и просто-напросто вырвал себе волосы?

— Так точно, господин начальник отряда.

Начальник отряда? Гармс получил повышение? Значит, они действительно отстранили Дузеншена? И Крейбель снова прислушивается. Он слышит удары и заглушенные крики. Такое впечатление, будто заключенный пытается защищаться. Дикий топот. Пронзительные вскрики, которые сейчас же заглушаются. Наконец они выходят из камеры. Стоят в подвале у лестницы.

— Ты ведь ему говорил, что хохолок должен остаться? — спрашивает Гармс.

— Ну, конечно.

— Когда же это он вырвал волосы?

— Я заметил это только сегодня утром. Тоже надо иметь крепкие нервы, чтобы вырвать клочок волос из собственной головы.

— Его зовут Леви?

— Так точно.

— Мы еще особо займемся этой сволочью. И если он посмеет защищаться, пристрелим на месте.

Они всходят по лестнице и видят стоящего

здесь Крейбеля. Гармс поднимает брови и сердито морщит лоб.

— Кто тебя сюда поставил?

— Караульный.

— Та-ак! — рычит Гармс. — Он не мог лучшего места выбрать.

Оба медленно уходят к Центральной. Крейбель вспоминает разговоры товарищей по камере. Некоторые думают, что Гармс прекратил избиения. С тех пор как он замещает Дузеншена, в лагере стало тихо. Другие же считают, что это комендант лагеря строго запретил избиения.

Вызывают Крейбеля.

— Живо! — кричит караульный. — Иди сюда!

Крейбель бросается к нему. Там уже стоят друг за другом трое заключенных. Между ними Ганнес Кольцен.

— Становись сзади! — кричит караульный Крейбелю. — Ну! Живо! Или хочешь коленкой под задницу получить?

Крейбель становится в ряд.

— Шагом... марш!

Они идут по коридору. Отпирается большая железная решетка. Снова длинный пустой коридор. В самом конце стоят караульные.

— Стой!

Гарден по списку читает имена:

— Кристоф Кох!

— Здесь!

— Вальтер Крейбель!

— Здесь!

— Ганс Гюльзенбек!

— Здесь!

— Иоганн Кольцен!

— Здесь!

— Ступайте туда, в комнату!

Четыре заключенных входят в пустую комнату, в которой стоит лишь несколько стульев. За ними входят два охранника и останавливаются у двери.

Гармс идет в другое помещение, где ждут жены.

— Прошу вас пройти, сударыни. Не пытайтесь что-нибудь потихоньку передать вашим близким. Этим вы им повредите.

Пять женщин медленно идут через приемную. Одна из них, не переставая, плачет и вытирает глаза. Старая, дряхлая женщина идет, опираясь на более молодую.

— Пройдите, пожалуйста, туда, в смежную дверь.

Быстрый взгляд, и Крейбель видит, что последней входит его жена... Ну да, она такая же, как и была. Почему бы она должна была измениться? Чуть широкий подбородок, маленький рот, светлые миндалевидные глаза и черные блестящие волосы. Ему вдруг кажется, что он ее только вчера видел. Она подходит к мужу, не сводя с него взгляда. Они протягивают друг другу руки.

— Здравствуй, Вальтер!

— Здравствуй, Ильза!

— Теперь тебе стало лучше, не правда ли?

— Да. Как малыш?

— Он все благополучно перенес и уже здоров.

Крейбель смотрит на другие пары в комнате. Женщины плачут, без конца обнимая мужей, и не могут говорить от слез. Старая женщина спрашивает юношу, который крепко держит за руку стоящую тут же жену.

— Они тебя тоже били, мой мальчик?

Заключенный смеется и громко отвечает.



— На это, мама, я не могу тебе ответить.

Старая женщина с ненавистью смотрит на охранников, которые стоят у дверей и отворачиваются от этого взгляда.

— Мы с тобой не виделись столько месяцев, а ты смотришь на других.

— Да, да... — бормочет Крейбель и глядит на жену, в глазах которой сверкает подозрительная влага. — Только не вздумай плакать.

— Нет, — говорит она, улыбаясь.

— Ну как вообще у вас дома? Как тыводишь концы с концами? Что делают друзья? Ты ничего не говоришь.

— Я так рада, что снова тебя вижу... здоровым! — Она понижает голос. — Рассказывают потрясающие вещи. Действительно было так ужасно?

— Ты видишь, я жив и даже здоров. Все проходит. Да и не так уж страшно было. Удалось ли тебе спасти хоть часть книг?

— Нет, они все взяли, и не только политическую литературу, а все, без исключения.

Крейбель смотрит мимо жены.

Они унесли все книги... Он так гордился своей библиотекой! Сколько прекрасных часов было связано с этими книгами! Он собирал их долгие годы. И они унесли, все унесли!..

Крейбель смотрит на Ганнеса Кольцена и его жену, стоящих у окошка. Маленькая женщина, истощенная работой и озлобленная. Она не плачет и говорит, говорит безумолку. Он только кивает.

— Жалко книг, Вальтер, но это ведь не самое худшее. Самое главное, что мы все живы и здоровы. Не надо огорчаться.

— Я вовсе не огорчен, я так счастлив что

вижу тебя. Были моменты, когда я терял уже надежду увидеть тебя когда-нибудь.

— Значит, было..?

Жена смотрит на него полными слез глазами. Проклятье! Он все-таки сказал больше, чем следовало.

В смущении опускает он руку на плечо жены и, видя, что она улыбнулась, нежно гладит ее по лицу.

— Видишь ли, такие настроения иногда находят. Ну, а теперь... теперь мне совсем хорошо, и ты больше не беспокойся.

— Господа, свидание кончается!

— Ах, господин дежурный, уже конец? — жалобно говорит одна из женщин. — Разве прошло десять минут?

— Я исполняю данное мне распоряжение, — караульный пожимает плечами.

— Я тебе принесла кое-какую мелочь. К сожалению, лучшее пришлось оставить там, в контроле.

Крейбель берет маленький пакетик.

— Итак, господа, пора!

Слезы текут ручьями. Объятия и поцелуи. Поцелуи, смешанные со слезами.

Крейбель протягивает жене руку.

— Может быть, снова — через четыре недели.

— Да...

Крейбель видит, каких усилий стоит ей держать себя в руках, быть спокойной и не рыдаться. Он обнимает ее и прижимает к себе.

— Будь молодцом и не падай духом.

— Через четыре недели я снова приду!

— Привет друзьям! Всем привет!

Четверо заключенных должны выстроиться

в коридоре. Их ведут обратно в тюрьму, без громкой команды, без брани.

Только после того как за ними закрылась железная решетка, женщинам разрешают выйти из комнаты. Ординарец-охранник провожает их через тюремный двор к выходу...

Каждый день приводят новых арестантов. Каждый день переводят товарищей в дом предварительного заключения. Иногда также заходит «ангел-избавитель» и приносит освобождения.

Каждый день после обеда товарищи собираются в углу у окна. Крейбель рассказывает о первых съездах русской социал-демократии, о теоретических разногласиях, о расколе. Рассказывает об исторической роли Ленина, о первых массовых выступлениях русского рабочего класса и о революции 1905 года.

Все опаснее становится работать в кружке. Среди вновь прибывающих все чаще попадают люди неизвестные, очень часто члены национал-социалистской партии и провинившиеся в чем-нибудь штурмовики. Уголовников-рецидивистов тоже сажают сюда как антиобщественный элемент. Политические воспринимают их общество как болезненный гнойник. Крейбель с удовольствием прервал бы занятия. Риск становится слишком велик. Но товарищи настаивают и даже слышать не хотят о прекращении курса.

Крейбелю тяжело приходится в вечерние часы. Уголовники вносят в тихие вечерние беседы новый тон. Они часто до поздней ночи рассказывают сальные анекдоты и непристойности. Крейбель в такие ночи не может уснуть.

Но вот однажды в это печальное арестантское прозябание ворвалась новость, которая сразу взбудоражила всех и вселила в каждого новые надежды.

Подходит кальфактор и тихонько стучит.

Вельзен призывает к тишине и слушает у двери.

— Натан!

— Да! Что тебе?

— Послушай, совсем невероятная вещь: в Париже и в Австрии революция.

— Ну, что за вздор, Эрни!

— Нет, серьезно! В Вене отчаянная стрельба. Сотни убитых. Рабочие захватили целые кварталы,

— Ну, а... а австрийская социал-демократия?

— Она так — ни то, ни се. Шуцбундовцы заварили кашу.

— Я этому не верю.

— Не болтай глупостей! Во всех газетах только об этом и говорят. Если удастся, я утащу одну из караульной и просуну вам.

— Да, пожалуйста, только не забудь!

Вельзен задумчиво отходит от двери. Он все еще не верит тому, что только что услышал. Революция в Париже и в Австрии. Что же, в самом деле, происходит на свете, там, за этими стенами? События совершаются быстрее, чем можно было ожидать. И как раз в Австрии. Социал-демократический шуцбунд решился на вооруженное восстание? В чем тут дело? Что из этого может выйти?

Он поворачивается к стоящим вокруг него товарищам, на лицах которых написан вопрос.

— Послушайте! То, что сейчас рассказывал

Эрни, так необычайно, что даже не верится! Как будто в Австрии вспыхнула революция. Будто идут ожесточенные бои. Насчитываются уже сотни убитых. И в Париже тоже все вверх дном.

На мгновение у всех захватило дыхание. И потом вдруг прорвалось: взрыв радости, вопросы, предсказания, надежды — все смешалось и вихрем пронеслось по камере.

— Если уж так далеко зашло, должно и сюда перекинуться.

— Теперь все по боку! Нужно объявить забастовку, чтобы парализовать хозяйство. Германские рабочие должны выступить на поддержку венских товарищей.

— Если этого не случится, то дело провалится.

— Ты думаешь, что остальные государства будут спокойно смотреть, если в Австрии вспыхнет рабочая революция? От этого теперь все зависит.

— Если все так, как говорит Натан, то рабочие повсюду зашевелиятся.

— Если в Австрии победят рабочие, Муссолини перейдет границу. Он только и выжидает подходящего случая.

— Ну, мой милый, и австрийские рабочие и рабочие других стран сумеют этому помешать.

— Сотни убитых, говоришь ты? Вот, черт возьми, как сразу здорово схватились! Кто бы мог подумать, что венцы на это способны?

Шахматы и карты заброшены. Даже угрюмый Кольцен ходит от одной группы к другой и внимательно прислушивается.

Длинный Келлер, бывший фланговый 14-го штурмового отряда, вставляет свое слово:

— Там, в Австрии, и наци пойдут вместе с рабочими. Они тоже хотят прогнать Дольфуса.

— Вот неисправимый! — кричит ему Эльгенгаген. — И ты до сих пор еще веришь, что наци когда-нибудь и где-нибудь пойдут вместе с рабочими? Ведь это же защитные отряды капитализма, которые выполняют требования предпринимателей, а не рабочих. Пойми же ты это наконец!

— Вот посмотришь! — упрямо настаивает наци на своем. — События покажут.

Крейбель, Вельзен, Вальтер Кернинг и Шнееман собрались вместе. Шнееман, который вначале скорее испугался, чем обрадовался, теперь ораторствует:

— ...Венская социал-демократия — самая организованная в мире. Стоит только сказать одно слово — и рабочие во главе с шуцбундовцами берутся за оружие. Нам, немцам, тоже не мешало бы у них кое-чему поучиться.

— ...Социал-демократы всегда заявляли, что если буржуазия принудит нас к вооруженной борьбе, мы не испугаемся, не пойдем на попятный.

— Нет, Шнееман, вооруженное восстание австрийских рабочих — это решительный отказ от социал-демократической политики.

К группе спорящих своей раскачивающейся походкой приближается Кессельклеин. Он сияет.

— Послушай, Натан! Отто уже носки укладывает. Он думает, что сегодня ночью они придут нас всех освободить.

— Так скоро дело не выйдет, — смеясь, говорит Вельзен. — Но что же делать, Гейнц, дух захватывает, когда слышишь подобные вещи!

Всех охватило страшное волнение, нервы

напряжены. После сигнала ко сну споры продолжают шопотом до поздней ночи. Каждому не терпится узнать дальнейшие новости. Строятся планы получения газет и известий. Вальтер Кернинг объявляет, что он завтра утром спросит у Люринга, как дела в Австрии, даже рискуя заработать пощечину.

Шесть часов утра. В камере вспыхивает электрический свет. На дворе еще темная ночь. Маленький Зибель, как и всегда, первый вскакивает со своего соломенного тюфяка и распакивает окна, которые на ночь должны закрываться. В камеру врывается холодный морозный воздух.

Большинство не могут сегодня подняться сразу, потягиваются, зевают и снова потягиваются. До поздней ночи шептались, и сейчас кости ноют от усталости.

Каждый нехотя напяливает брюки и рубашку, берет таз для умывания и становится в очередь перед краном. Моются друг подле друга у длинной скамьи, на которую ставят тазы.

— Вставай! Вставай! Слезай с перины! — поднимает Вельзен тех, кто заспался.

— Хороша перина! — ворчит кто-то. — Солома так кололась и царапалась, точно живая.

— Зибель совсем спятил: ни свет, ни заря окна открывает! зуб на зуб не попадает.

Кессельклеин моет татуированные руки и бормочет:

— Как подумаешь, что, быть может, они сейчас палят по фашистам, а ты тут сидишь и покрываешься плесенью, — можно лопнуть от злости.

Никто не отвечает. Но каждый думает: «Австрия! Там идет борьба. И мы наверное узнаем сегодня что-нибудь новое». Но никому не хочется возобновлять с самого раннего утра вчерашние споры.

А Кессельклеин продолжает, ни к кому не обращаясь, сам с собой:

— Вы можете мне поверить, что не за горами то время, когда и у нас то же будет. Германский пролетарий — шляпа, а все-таки к тому идет и придет. Чертовски медленно, но придет.

Эльгенгаген и Крейбель, моющиеся поблизости, поглядывают на моряка и смеются.

Столы и скамейки сдвигаются в одну сторону, к стене, дежурные по камере подметают, таскают ведра с водой и моют пол. Остальные складывают одеяла и приводят в порядок койки.

— Живо! живо! — торопит Вельзен. — Скоро семь часов. Что это вы сегодня с места не двигаетесь?

Он сам принимается за дело, выжимает тряпку и вытирает насухо пол.

Без двух минут семь заключенные общей камеры № 2 выстроились для утренней переклички.

Они ждут до четверти восьмого. Караульный не приходит.

Ждут до восьми. Никто из караульных не появляется. Тогда Вельзен велит разойтись.

— Что случилось? Почему никто из них не показывается? Почему не дают кофе?

Высказываются самые нелепые предположения..

— Это несомненно связано с австрийской революцией. Кто знает, что сейчас там, на воле, происходит?



— Я не поручусь за то, что наци уже не спрятались в кусты. Когда дело всерьез, они трусливы, как зайцы.

Вельзен напоминает, что ведь это не в первый раз караульный заставляет так долго ждать себя. Но никто слышать об этом не хочет. Каждый убеждает себя, что необычайная тишина в тюремном здании имеет особый смысл.

Возбуждение и волнение все усиливаются. Некоторые совсем расхрабрились. Они складывают в кучу свои вещи и в шутливом тоне, за которым таится плохо скрытая надежда, говорят:

— Собирай вещи! Выходи получать оружие!

И вдруг все стихло. В коридоре послышался стук ведер. Шаги приближаются. Люринг открывает дверь.

По команде Вельзена заключенные поднимаются.

Крейбель незаметно шепчет кальфактору:

— Что это вы сегодня так поздно?

— Да караульные у радио сидели,— шопотом отвечает тот.

— После кофе приготовиться к прогулке!

— Слушаюсь, господин дежурный!

Люринг выходит из камеры. Оба кальфактора тащат ведра в соседнюю камеру.

— Чорт возьми, точно его подменили! — восклицает кто-то с удивлением.— Сама любезность!

— Что сказал Тео? Почему они так поздно пришли сегодня?

— Караульные сидели у радио.

— Ага! Повидимому, дела неплохи. Иначе Люринг не был бы так чертовски приветлив.

Входит Люринг. Вельзен командует:

— В две колонны стройся! Шагом марш!  
Они еще не успели выйти в коридор, чтобы спуститься во двор, как Вальтер Кернинг выходит из ряда и подходит к Люрингу.

— Господин дежурный, разрешите мне задать вопрос?

— Ну, в чем дело?

— Не можете ли вы сказать нам что-нибудь о положении в Австрии?

Люринг удивленно смотрит на молодого заключенного, который отвечает ему открытым простодушным взглядом.

Сначала он не знает, что ответить, но потом усмехается и спрашивает:

— А кто это вам рассказал про Австрию?

— Мы совершенно случайно узнали, господин дежурный.

— Ах, так! Случайно?.. Странно! Австрия — прискорбный случай. Немцы, которые убивают друг друга, как будто у нас нехватает врагов. Эти марксистские бонзы взваливают на свою голову все большую вину.

— А какую позицию занимают в Австрии национал-социалисты?

Люринг отвечает и Вельзену:

— Национал-социалисты в братоубийстве не участвуют.

Во дворе Люринг разговаривает с часовым, а заключенные свободно маршируют. Сегодня не бегать, не приседать, не прыгать.

На следующий день кальфактору удастся забросить в камеру газету.

Как голодные волки на кусок мяса, набрасываются на нее заключенные. Всем хочется читать. Кричат:

— Пусть Вельзен читает вслух!

Но те, что захватили газету, не отдают ее. Первые строки выкрикиваются во всеуслышание:

— Уже свыше тысячи убитых! Шуцбундовцы заняли Фаворитен и Земмеринг! Кровавый бой в Карл-Марксгофе!

— Кровонийцы! Проклятые негодяи!

Маленький Зибель судорожно вцепился в газету дрожащими руками, читает и ругается:

— Вот скоты! Вы только послушайте, они стреляют из пушек по рабочим кварталам! Пушки на улицах Вены. Дальше уж ехать некуда!

— Товарищи! — сердито говорит кто-то. — Что это за манера? Побольше солидарности и чувства товарищества. Мы все хотим слушать. Читайте, пожалуйста, вслух!

— Да, да! Читайте вслух, читайте вслух!

— Пусть Вельзен читает.

Зибель со вздохом передает газету Вельзену. Тот садится за средний стол. Он читает очень тихо, но в камере такая тишина, что слышно каждое слово.

«12 февраля после полудня шуцбундовцы Маргретена взяли за оружие. Они заняли Рейманигоф и начали обстреливать полицейских из установленных в окнах винтовок и пулеметов. Военные подкрепления были отброшены; только ценой огромных жертв войскам удалось взять штурмом всю эту гигантскую группу зданий. В проходах и на лестницах домов происходили ожесточенные рукопашные бои, дрались прикладами, револьверами, бросали ручные гранаты...»

— Проклятье! Их, значит, разбили!  
Тише!

— Заткнись!

— Читай дальше!.. Вальтер, читай дальше!

«...Мимо Либкнехтгофа, занятого вооруженными шуцбундовцами, промчался санитарный автомобиль. Рабочие пропустили его, думая, что он прибыл за ранеными. Оттуда внезапно выскочили полицейские и открыли огонь. Ответный огонь шуцбундовцев вынудил полицейских отступить. В автомобиле был найден пулемет и множество патронов...»

— Вот это молодцы! Пулемет им, наверное, здорово пригодился! — крикнул кто-то с восторгом.

— Вот ведь сволочи! Полиция в санитарном автомобиле!

— Да ну, молчите! Дайте ему дочитать!

— Ну, вот уж и слова нельзя сказать!..

«...Союзное правительство высылает против восставших шуцбундовцев бронированные автомобили и поезда. В Винерберге шуцбундовцев, занявших дома общины, обстреляли с бронированного поезда. Шуцбундовцы потерпели большой урон. В распоряжении, отданном по войскам, правительство заявило о своем намерении беспощадно расправиться с восставшими. Происходит усиленное стягивание военных сил к Вене».

— Что-о?! А ну-ка, прочти это сообщение. Тут говорится, что социал-демократическое руководство союза печатников призывает своих членов к возобновлению работы.

— Враки! — кричит Шнееман. — Не поддавайтесь на удочку буржуазной прессы. Они ведь только хотят запугать рабочих.

Конечно, им это только и нужно. Надо

читать между строк,— соглашается кто-то.— Тут даже написано, что призывали ко всеобщей забастовке только коммунисты, а профсоюзы теперь, как и раньше, опасаются увеличить хаос.

— Вот какая чушь! — возмущенно кричит Кессельклеин. — Они нас совсем за дураков считают. Там идет настоящая гражданская война, а они хотят нас уверить, что рабочие даже не бастуют. Как можно писать что-либо подобное? Это не редактор, а коровье ботало.

— От этих профсоюзных бонз можно ждать чего угодно, — говорит Зибель. — Нет такой подлости, на какую бы они не были способны.

Крейбель отводит Вельзена в сторону.

— Замечаешь? Дело дрянь. Все идет так, как я тебе говорил. Пролетарии ударили, а бонзы тормозят и саботируют.

— Если бы можно было узнать подробнее!

Каждая заметка читается вслух, а потом газета переходит из рук в руки. Сообщения много раз перечитываются и обсуждаются.

Все возбужденно спорят. Раздаются горячие речи. Кессельклеин наступает на маленького Зибея и называет его «балаболкой» и «генералом от канцелярии».

Внезапно в камере появляется Люринг.

— Вы что, с ума сошли? Гвалт, как в еврейской школе. Вам, повидимому, слишком хорошо живется! Еще раз такой шум подымете — так каждому пропишу в отдельности.

Он идет к двери, уж берется за ручку, но внезапно оборачивается и, издевательски скаля зубы, спрашивает:

— Уж не Австрия ли вам в голову ударила? Смеется и выходит из камеры.

Заклученные переглядываются: все стараются

просить ответ в лице другого. Все думают: дело что-то неладно. Но молчат.

На следующий день приводят новичка. Молодой металлист, которому вменяется в вину печатанье и распространение листовок. Он подтверждает невысказанные предположения. Восстание венских рабочих подавлено.

В камере стало тихо. Умолкли громкие возбужденные споры. Шахматисты снова часами сидят друг против друга, молча уставившись на поля и фигуры. Фриц Янке, бледный, с неестественно расширенными глазами, сидит весь день один у окна. Шнееман притих и стал серьезен. Он часто украдкой наблюдает за Крейбелем. Тот моложе его почти на двадцать лет, а как уверенно и безошибочно защищал он свою точку зрения на события! Неужели он окажется прав? Разве между демократией и диктатурой рабочих нет ничего третьего? Разве путь коммунистов единственно возможный?..

Кессельклеин и Шгювен тоже приумолкли. Оба часами шагают по камере, не говоря ни слова. Кессельклеин время от времени с уважением поглядывает на «генерала от канцелярии», который рассказывает нескольким молодым коммунистам о гамбургских вооруженных столкновениях в 1919 году.

Только Вальтер Кернинг жизнерадостен и весел, как всегда. Он сидит на своей койке, пришивает к куртке пуговицу и поет:

Солище для нас  
не затмится...

Крейбель снова ведет кружок. Теперь и Фриц Янке принимает в нем участие, хотя он и не член партии. Крейбель рассказывает об уроках

русской революции 1905 года и о Парижской коммуне.

— Главной ошибкой парижских коммунаров было то, что они, как говорит Маркс, вместо немедленного наступления на Версаль и окончательного уничтожения войск реакции ограничились обороной. И этой своей оборонительной тактикой они дали противнику время перестроиться, вызвать новые подкрепления из провинций и договориться с Пруссией...

Крейбель рассказывает, как Ленин и русские рабочие учились на ошибках Коммуны и революции 1905 года.

— Во время Октябрьской революции они уже не повторили этих ошибок. Петроградские рабочие не ограничились защитой города от подступавшей армии контрреволюционного генерала Юденича, а выступили навстречу и разбили его наголову у самых ворот тогдашнего Петрограда.

Крейбель заметил, что Шнееман постоянно посматривал в их сторону и даже несколько раз подходил ближе, но в нерешительности поворачивал обратно. И когда в конце концов Шнееман подошел к их кружку, Крейбель не так удивился, как все остальные, окружавшие его товарищи.

Шнееман посмотрел на Крейбеля, потом на товарищей, потом снова на Крейбеля и тихонько, почти шопотом спросил:

— Товарищи, у вас тут учеба, не так ли? Нельзя ли... нельзя ли и мне принять в ней участие?

Все удивленно переглянулись.

— Это, знаешь ли, собственно, для членов партии, — ответил Вельзен.

Но встает Крейбель. Его глаза сияют.

— Товарищи, я считаю, что не может быть никаких соображений против.

— Ну, конечно! Пусть присоединяется. — Эльгенгаген подвигает свою табуретку немного в сторону.

— Мы тебя, товарищ Шнееман, с удовольствием принимаем!

Кернинг вскакивает и приносит еще одну табуретку.

## О С В О Б О Ж Д Е Н И Е

Снег растаял. Тюремный двор покрылся огромными лужами грязи. С моря дует сильный ветер, он свистит в телеграфных проводах, с треском обламывает сучки на голых деревьях, неистово проносится между домами. Как стремительные парусники, плывут по небу, опережая ветер, нависшие дымно-серые тучи. Хлещут потоки дождя и разгулявшийся ветер мечет их по полям, разбивает о стены домов.

Суровы и мрачны дни, когда изгоняется зима и расчищается путь весне.

В тюрьме тихо, как на корабле во время бури. Во дворе ни живой души, кроме вооруженных часовых, шагающих взад и вперед вдоль стены с высоко поднятыми воротниками. Караульные сидят в своем помещении за стаканом горячего грога. Продрогшие одиночники жмутся по углам голых камер, в том месте, где проходит тонкая труба отопления. Заключение в общих камерах молча и угрюмо бродят взад и вперед, дымя трубками и сигаретами. Некоторые лежат на койках и следят за проносящими-



ся обрывками туч. Один непрерывно сам себе гадает на картах. Едва установив, что его выпустят еще на этой неделе, он тут же узнает, что из этого ничего не выйдет. В отчаянии он снова и снова раскладывает карты. Вальтер Кернинг бездумно напевает себе под нос: «Пусть даже брат родной предаст...» и вдруг он испуганно замолкает,—Фред Кольберг, тучный портовый рабочий мрачно рывкнул на него:

— Перестань скулить!

В камере мрачно и тоскливо. Кажется, будто серые, извергающие дождь тучи придавили людей, будто буря развеяла их жизнерадостность.

Крейбель сидит на конце среднего стола и перелистывает «Лихтенштейна»,— он хочет еще раз перечитать исповедь флейтиста фон-Гардта, которая, судя по предисловию, так понравилась кайзеру Вильгельму. За его спиной ходят взад и вперед Вельзен и Шнесман. Когда они медленно проходят мимо, до него доносятся отрывки разговора. Вельзен говорит:

— ...Материалистическое понимание истории вовсе не отрицает роли личности. Люди сами делают свою историю, говорит Маркс, но...

Крейбель читает о неудачной любви дочери флейтиста к блестящему юнкеру. Затем снова прислушивается к словам за спиной. Шнееман говорит тихо, но внушительно подчеркивая каждое слово:

— ...Нельзя исключить роль случая. Кто может сказать, как бы повернулось колесо истории, если бы, к примеру, битва под Садовой решилась в пользу австрийцев, если бы при Ватерлоо Наполеон победил Веллингтона, если бы немцы в битве на Марне...

Мрачно и беспокойно вертится возле двери

Ганнес Кольцен. За последние дни выпустили трех заключенных; среди них — Вальдемара Лозе с соседней койки, с которым он подружился. Других перевели в следственную тюрьму. Только он остался здесь. Только он не знает, предстоит ли ему суд, или его скоро освободят. Лозе написал письмо. Он обставил это очень таинственно, и, повидимому, между его освобождением и этим письмом есть связь. Вот если бы догадаться, что нужно написать, чтобы выпустили! Не будь его жена такой растяпой... Обычно у нее ни на одну минуту не закрывается рот, но стоит ей очутиться перед начальством, как у нее отнимается язык, и она молчит, как рыба... Другие жены... да, другие умудряются как-то вытащить своих мужей на волю.

Крейбель поднимает голову от книги. Он видит, что Фриц Янке читает письма. Его глаза подолгу останавливаются на одной и той же странице, и Крейбелю кажется, что он не читает, а грезит. Не только письма, — он тщательно рассматривает конверты, штемпеля, марки, надписи — буквально каждую букву.

К Крейбелю тихонько подходит Эрих Боргерс, нагибается к нему и таинственным шопотом спрашивает:

— Можешь ли ты мне ответить на один вопрос, который я уже давно хочу задать кому-нибудь из вас?

Крейбель отодвигает книгу в сторону. Боргерс — дрянной парень, объектом его мошеннических проделок является мелкий люд. Как-то вечером он рассказывал кому-то из заключенных о некоторых своих похождениях. Крейбелю об этом передали. С тех пор он не доверяет этому близорукому, всегда бесшумно двигаю-

щемуся человеку с острым носом и длинными, гладко причесанными на пробор волосами. Крейбель поворачивается к нему, смотрит в маленькие влажные, всегда немного прищуренные глаза и спрашивает:

— Ну, валяй! Что тебе?

— «Валяй» — легко сказать, — хихикает он и еще ближе придвигается к Крейбелю, осторожно оглядываясь по сторонам. — Нас ведь никто не услышит?

— Разве то, что ты собираешься спросить, так опасно?

— Ш-ш... Ради бога, не так громко!

Крейбель теряет терпение:

— Говори сейчас же — или оставь меня в покое!

— Что ты волнуешься? Вы, коммунисты, всегда хотите нас учить, а когда к вам подходишь с вопросом, вам не нравится.

— Ну, да уж спрашивай, — примирительным тоном говорит Крейбель.

— Дело, знаешь, вот в чем, — Боргерс еще ниже склоняется над ухом Крейбеля. — Вы ведь приносите себя в жертву ради коммунизма, не так ли? И многие при этом идут на верную смерть. Теперь я тебя хочу спросить по строжайшему секрету, почему ни один из вас не покушался еще... на Гитлера или Геринга? — и он шепчет чуть слышно: — ... просто пристрелить. Долой этих кровопийц! И была бы расчищена дорога коммунизму. Как ты думаешь?

Крейбель долго смотрит в маленькое птичье личико, в крошечные прищуренные глазки. «Будь на-чеку! — говорит ему какой-то внутренний голос: — Остерегайся этого человека!» Крейбель чувствует теплое дыхание спрашиваю-

него, который все еще стоит, наклонившись вплотную к его лицу. Он отстраняется несколько назад и спокойно отвечает, тихо, но не шопотом:

— О таких вещах я не разговариваю. Кроме того, коммунисты против индивидуального террора, — это ничего не изменит в политическом и экономическом господстве капиталистов.

— Но в России были ведь раньше покушения? И с течением времени удалось все перевернуть.

— Я еще раз повторяю, что не могу говорить об этом. Но и в России марксисты не принимали участия в организации террористических актов. Мы стремимся организовать массовую борьбу рабочего класса, а не единичные выступления.

— Да, но нельзя отрицать...

— Довольно! — говорит Крейбель. — Я не хочу больше ничего слышать на эту тему.

Боргерс тихо отходит. Крейбель смотрит ему вслед, не поворачивая головы. Отвратительный тип! Чорт его знает, как он набрел на этот вопрос, какую цель он преследует, задавая его!

Боргерс подходит к дальнему столу и смотрит, как играют в шахматы. Теперь у Крейбеля начинаются угрызения совести. «Надо было поговорить с ним по-товарищески. Такие политически неразвитые люди иногда задают рискованные вопросы просто по незнанию и наивности. Возможно, у него не было никакой задней мысли, просто так, взбрело в голову. Но осторожность с такими субъектами никогда не мешает, в особенности в наше время, да еще в концентрационном лагере. Чорт бы его подрал! Нужно было его еще решительнее оборвать. С таким уголовным сбродом незачем говорить в тюрьме о политике, — это просто самоубийство. Вот ювелирный вор в сборной камере в рату-

ше — тот был совсем молодец и вел себя солидарно. Он не был ни доносчиком, ни пронырой, ни трусом... А Боргерсу я не доверяю. Мелкие жулики — обыкновенно самые подлые...»

Все еще занятый этими мыслями, Крейбель снова слышит у себя за спиной голос Натана: — ...Вспомни Чан Кай-ши. Он...

Крейбель улыбается про себя. Они уже дошли до Чан Кай-ши. От Садовой и Ватерлоо через битву на Марне — к китайской революции... Он думает: что же, однако, ответил ему Натан на его теорию о роли случая? — но незаметно снова погружается в созерцание семейной идиллии кающегося флейтиста Гардта.

Незадолго до обеда в камеру входят Люринг и «ангел избавитель» — Гарден.

Снова освобождение! Глаза заключенных полны ожидания. В каждом вспыхивает надежда. Слышно неровное дыхание.

Гарден закладывает за спину руку, в которой он держит записку об освобождении, и медленно выходит на середину камеры. Он останавливается перед Крейбелем.

— Ну, Крейбель, догадываешься?

Крейбель краснеет, как рак. Вот неожиданность! Это застигло его так внезапно. Он не может выговорить ни слова. Долгие месяцы, день за днем, он все надеялся — и не сбывалось. А теперь, когда он уже не смел надеяться, вдруг... свободен! Он будет свободен! Все закружилось. Лицо пылает.

— Итак, приготовьтесь; вы освобождены.

Стоящий у двери Люринг кричит Крейбелю:

— Вот уж, действительно, повезло молодчику! Поди сам себе не веришь?

Караульный уходит.

Крейбель стоит несколько секунд, как пригвожденный к месту. Он все еще красен и не смеет взглянуть на товарищей: он может уйти домой, а они останутся здесь. Он, один из главарей, свободен, а у них впереди суд, долгие годы тюрьмы и каторги, даже смерть, как у Фрица Янке. Он растерянно смотрит на всех. Некоторые подходят к нему, берут за руки, трясут, поздравляют.

— Ах, Вальтер, вот великолепно! Они тебя освобождают. Себе на шею.

— Это только потому,— замечает кто-то другой,— что ты был арестован еще при Шенфельдере. Еще не успел провиниться перед Третьей империей.

— Превосходно! — Вельзен дружески хлопает Крейбеля по спине и шепчет так, что могут слышать лишь Крейбель и Шнесман: — Коммунист на воле полезнее, чем в тюрьме.

— Вальтер! — взволнованно кричит маленький лысый Зибель. — Я соберу твои вещи.

И тотчас же принимается за дело. Выдвигает бумажную картонку, укладывает вещи Крейбеля и вынимает из его ящика бритвенные принадлежности, зубную щетку и пасту.

— Все... все, что у меня есть, останется в камере.

Это первые слова, которые удастся выдать из себя Крейбелю.

Эльгенгаген отводит его в сторону.

— Зайдешь к моей жене?

— Конечно, Гейнрих!

— Расскажи ей, что здесь делается, и скажи, что нужно предупредить Фрица Вольфа. С ним—

дело дрянн. Эрнст Дрезель все выложил. Вольфу нужно смыться. Запомнишь?

— Я-то запомню, но мне кажется, что это несколько щекотливое дело. На твою жею можно положиться?

— Ее тебе нечего бояться.

— Где живешь?

— Маршнерштрассе, семнадцать, второй этаж.

— Ладно!

Заключенные снова обступают Крейбеля и рассматривают его, как будто видят в первый раз. Они видят его в последний раз. Еще несколько минут — и он уйдет. Закроются за ним ворота лагеря, и он снова очутится на воле, будет свободен. Будет свободно двигаться. Поедет домой, к своей жене... К своему ребенку. Свободен! Они смотрят на него унылыми глазами.

— Как выйдешь, так поскорей сматывайся, чтоб они тебя снова не засадили, — советует Кессельклеин, опуская свою тяжелую руку моряка на плечо Крейбеля.

— Только первое время береги себя, Вальтер! — Шнееман проталкивается к нему. — Одно неосторожное слово — и все муки начнутся сызнова.

Крейбель молча принимает все советы и поздравления. Он рассеянно улыбается. Он иначе представлял себе освобождение. Ему стыдно, словно он провинился перед товарищами. При этом он не замечает завистливых взглядов, которые на него бросает Ганнес Кольцен. Тот стоит один у окна, усиленно обкусывает ногти и, не отрываясь, смотрит на Крейбеля. Но Крейбель встречает взгляд Фрица Янке, взгляд, полный горечи, и его сердце болезненно сжимается. Какие мысли мучают этого человека? Он идет на волю, а гот — на плаху. Перед ним жизнь, а

перед тем — смерть. Нет, Крейбель иначе, легче представлял себе свое освобождение.

— Ты, вероятно, совсем растерялся? — Вельзен подходит к нему. — Но ведь ты счастлив? Главное то, что вся мерзость уже позади, а остальное приложится.

— Ш-ш, Люринг идет!.. — кричит прислушивающийся у двери Кернинг.

Товарищи суют Крейбелю в руки картонку, пододвигают к нему казенные вещи и еще раз протягивают руки.

— Товарищи! — у Крейбеля перехватывает горло.

— Товарищи... все пришло так неожиданно... право, я еще не могу всего охватить... но вы понимаете, что я вам сказал бы, если бы можно было говорить в этих условиях.

Он ищет глазами Фрица Янке. Тот стоит в последнем ряду и смотрит на него через плечи товарищей.

Крейбелю хочется подойти к нему, обнять, но у него нехватает сил. Он видит желтоватое худое лицо с подергивающимися губами и, запинаясь, говорит:

— Товарищи... я... мы все... кто на свободе... вас никогда не забудем... никогда!

Люринг уже у двери. Отпирает.

— Готов?

— Так точно!

Крейбель поворачивается к заключенным и кричит:

— Будьте здоровы, товарищи! — и выходит из камеры.

— «Товарищи» можно было бы оставить при себе, — ворчит Люринг. — Спустись по лестнице и отметись в Центральной.



Крейбель идет по коридору к лестнице. Люринг еще раз иронически окликает его:  
— До свиданья, «товарищ»! — и Крейбель слышит за собой его смех.

В Центральной дежурит Оттен. Он сидит за маленьким столом, на котором стоят телефон, чернильница, и на листе белой бумаги отмечает крестом фамилии.

— Ну, Крейбель, собираешься домой? — спрашивает он вполоборота.

— Так точно, господин дежурный!

— Встань туда, к стене... Нет, не надо, — лицом... Стой только смирно.

Крейбелю виден весь тюремный корпус. Три этажа: камера на камере. В первом этаже заключенные в серых балахонах красят стены. Потолки уже выбелены. Коридоры завалены мелом и мусором.

— Оттен, что с Крейбелем?

Крейбель смотрит вверх. Через перила второго отделения перегнулся Тейч.

— Освобождают, — отвечает Оттен, не поднимая глаз от бумаги.

— Освобождают? Это, наверное, ошибка. — Тейч в недоумении качает головой. — Освобождают? Ну, я думаю, мы его скоро опять здесь увидим.

— Вряд ли! — Оттен поворачивается на стуле, смотрит вверх на Тейча, потом на Крейбе-  
ля. — Но если случится — пусть его господь бог милует.

Идет Нусбек. Он замечает Крейбе-  
ля и подходит к нему.

— Вас освобождают?

— Так точно!

— Это меня радует. Только теперь будьте

благоразумны и не суйтесь больше в политику. Если вы сюда еще раз попадете, то наверняка не выйдете. Что будете делать на воле?

— Ятокарь. Думаю, что работа скоро найдется.

Нусбек уходит вверх по лестнице в свое отделение. Из помещения комендатуры выходит фельдшер. Оттен отворяет большую решетчатую дверь. Бретшнейдер тихо спрашивает:

— Что с Крейбелем?

— Его освобождают.

Фельдшер медленно подходит. В руке у него пузырек с желтоватой жидкостью.

— Итак, свободны?

— Так точно!

— Надеюсь, что здесь мы с вами больше не увидимся?

— Нет, господин фельдшер.

Бретшнейдер подходит совсем вплотную к Крейбелю и шепчет:

— Будь особенно осторожен в первые недели. За тобой будет усиленная слежка.

Крейбель быстро делает знак глазами и кивает.

Фельдшер задумчиво идет по коридору. «А я все еще арестант,— думает он.— Я не могу снять этого халата. И коричневая рубашка сидит на нас крепче, чем на них арестантская куртка».

Через полчаса Вальтер Крейбель с тремя другими заключенными стоит перед комнатой комендатуры. В камере хранения они сдали казенные вещи и получили свои. Сейчас нужно выполнить последние формальности.

Ридель приносит Крейбелю вечное перо, которое у него отобрали, когда он сидел в одиночке, и при этом говорит, обращаясь ко всем:

Можно не стоять навытяжку. Станьте волно. И если трудно, прислонитесь к стене.

Но ни один из четырех не следует этому предложению.

Гармс выходит из комнаты и осматривает четырех заключенных, стоящих в ожидании рядом со своими картонками. Он берет Крейбеля за плечо и спрашивает:

— Тебя ведь били, не правда ли?

— Нет, господин начальник!

— Но ведь тебя держали в темной?

— Нет, господин начальник!

Гармс, ухмыляясь, проходит в комнату коменданта и возвращается вместе с ним. За зимние месяцы комендант совсем разжирел. Коричневая замшевая форма натянута на его могучее тело, как перчатка. На воротник свисают двойной подбородок и шея.

— Ну, Крейбель, хочешь к маме?

— Так точно, господин комендант!

— Я охотно тебя освобождаю, но не хотел бы еще раз приветствовать здесь. Это было бы для тебя очень плохо.

Крейбель ничего не отвечает. Он смотрит на полное самодовольное лицо и невольно вспоминает, как этот человек стоял с револьвером в руке тогда, когда его, Крейбеля, избивали. В то время у него еще была молодцеватая военная выправка.

— Советую тебе забыть то, что осталось позади. В этом заключается высшее искусство жизни — забыть все плохое и помнить только хорошее. Держи язык за зубами, мы шутить с собой не позволим. Это было испытание, а теперь ты должен принять решение. Помни всегда, что мы боремся за каждого соотечествен-

ника, даже и за тех, в отношении кого нам пришлось принять серьезные меры. Теперь ступай!

Гарден провожает четырех освобожденных через тюремный двор. Комендант и начальник отряда следуют за ними.

Большие тяжелые ворота открываются.

## РЕШЕНИЕ

Обливаясь потом, несется Крейбель вниз по Фульсбюттельскому шоссе. Дующий ему навстречу суровый мартовский ветер так набрасывается на деревья, что сухие ветки с треском ломаются и падают на землю. Крейбель не смотрит ни направо, ни налево, — он бежит вперед. Его гонит безумный страх: что, если все это лишь ошибка и они снова его вернут? С порога домов и лавочек на него поглядывают женщины. Люди на улице оборачиваются ему вслед, — всякий знает, что он вышел из концентрационного лагеря. Каждый день проходят здесь освобожденные со своими картонками. Крейбель ничего не замечает. Все плывет перед глазами. В мозгу бьется лишь одна мысль: «Свободен! Спасен! Домой!»

У Альстерского шлюза он оборачивается на грязно-красные строения за высокой стеной, видит безобразную башню у входа в каторжную тюрьму, — в этой башне висит колокол с отвратительным, резким звуком. Он еще раз смотрит на гладкие стены тюрьмы с квадратными зарешеченными дырами. О, никогда больше! Никогда больше сюда не возвращаться!

Он свободно идет по улице. Может пойти, куда

захочет. Жизнь снова приняла его в свои объятия. Вон трамвай... Еще несколько минут — и он будет дома. С женой, с ребенком! Он идет, шатаясь от головокружения.

Ну, а если действительно все это лишь ошибка? Если они уже гонятся за ним, чтобы его вернуть? Если завтра его снова арестуют? Не лучше ли сразу перейти на нелегальное положение? Правильно ли прямо ехать домой?

От этих мыслей Крейбеля бросает в жар и холод. В нем все смешалось: и радость, и страх. Он не верит в свое счастье. Ему все кажется неправдоподобным. Если уж надо вернуться — лучше сразу. Лучше не привыкать снова к свободе. Лучше даже как следует не осознавать всего, чего там недоставало. Но... лучше вообще не возвращаться. Никогда! Уж он-то во всяком случае не сунется больше в политику. У него теперь отпуск. На первое время он должен выйти из строя. Он имеет на это право, так как только что выкарабкался из могилы.

Конечно, он поедет домой. Почему бы им вернуть его? Почему его освобождение может быть ошибкой? Когда они увидят, что он покончил счеты с политикой, его оставят в покое. Вообще они наверное и сейчас за ним наблюдают, и если он не поедет прямо домой, то это сразу покажется подозрительным. Он будет жить, как отшельник, не будет встречаться с людьми. Он хочет покоя. Будет наслаждаться вновь обретенной жизнью. Будет бродить. В первое же воскресенье поедет с Ильзой и мальчиком на берег Эльбы.

Мимо проносится трамвай. Шестой номер, доходит до самой двери дома. Крейбель бежит за ним и вскакивает на ходу.

Ах, как хорошо пробежаться! Он стоит на задней площадке. Кондуктор бросает взгляд на его картонку и улыбается ему. Неужели все догадываются, откуда он вышел?

Ужасно медленно идет трамвай, останавливается на каждом перекрестке! Ильза и не думает. Какие сделает она глаза, когда он неожиданно появится перед ней? И что это трамвай так плетется?..

Крейбель в нетерпении высовывается и видит, что сейчас опять будет остановка.

...Да и соседи тоже удивятся. В особенности эта свинья, Газенбергер, который тогда так цинично заявил: «Ну, в ближайшие-десять лет Крейбелю из каталажки не выбраться». Вот будет глазеть! Ну, а товарищи?.. От товарищей он будет держаться подальше. Не такие же они идиоты, чтобы сразу к нему сбежаться. И вообще он на первых порах выключится. Обойдутся и без него. Если бы его забили до смерти или если бы он тогда все-таки потянулся к веревке, пришлось бы обойтись. Он в конце концов тоже человек и тоже имеет право на жизнь.

Трамвай так плетется, что можно с ума сойти! Вон стоянка такси. Не раздумывая, Крейбель соскакивает и бежит к машине:

— Бахштрассе, два... Как можно скорее!

Уже на ближайшем углу автомобиль обогнал трамвай. Еще две... еще одна минута — и он дома.

Вечер. Прошли первые минуты волнения. Мальчик уже в постельке, спит. Ильза спешно делает покупки к ужину. Крейбель лежит на диване и слушает радио.

Все как было. Но как будто бы еще уютнее, роднее. Длинный зеленый стол попрежнему стоит у стены. Над ним попрежнему висит «Убийство Марата». Наци были сбиты с толку этой картиной. Зато книжные полки пусты. На одной из них рабочая корзиночка и пустая ваза для цветов. На другой — маленький высохший кактус. Совсем внизу лежат уцелевшие от обыска пожелтевшие тоненькие брошюры.

Неужели у Ильзы еще есть деньги? Ведь получка послезавтра, а она делает столько покупок. Он не знает, что она забирает в долг, не знает, что сегодня, по случаю выхода ее мужа из тюрьмы, мелкие лавочники охотно дают ей в долг.

Она все-таки замечательная женщина! Может быть, слишком добрая, слишком мягкая, но прямой, честный человек... Странный у них брак. Когда он пришел, они пожали друг другу руки, как добрые старые друзья. Никаких излияний восторга, слез, поцелуев, а ведь он почти что из могилы вышел. У них чувство скрыто слишком глубоко, и нужно время, чтобы оно проявилось наружу.

По радио передают модную песенку: «Умеешь ли ты целовать Иоганна? Конечно, да. Тра-ля-ля...» Крейбель прислушивается к мотиву, но его мысли с товарищами, которые сейчас, наверное, лежат на койках и говорят о том, что он лежит с женой. Ах, не надо сейчас об этом думать! Зачем это? К чему? Ближайшие дни принадлежат ему. Только ему! «И, видит бог, я заслужил это», — говорит он самому себе.

Входит Ильза. У нее от возбуждения лицо покрылось красными пятнами, движения беспокойные и рассеянные.

Сейчас будем кушать, — говорит она и идет на кухню, как будто еда — самое главное.

Радио передает чью-то речь. Крейбель слышит отдельные слова, не вникая в смысл. «Вот чего мне не хватало. Человек один — и не один. Теперь покончено с одиночеством и тишиной».

Может быть, Торстен лежит сейчас на своей койке и думает о нем, беспокоится за него. Было ли действительно так тяжело в подвале? Да и сидел ли он вообще в темном карцере? Трудно себе представить все, что было. А сейчас все позади. Все снова попрежнему, как будто никогда и не менялось.

Ильза очень старательно накрывает на стол. Она покрывает его новой белой скатертью. Приносит хлеб, колбасу, сыр, ставит чайник и нарезает желтые ломтики лимона.

Почему она придает так много значения этому ужину? Ему не хочется ни есть, ни пить. Ему хотелось бы сидеть рядом с ней, лежать рядом, положить голову ей на плечо и забыться, ни о чем не думать.

Она наливает ему чашку чая, делает бутерброд с сыром, заставляет есть и ни на минуту не спускает с него ласковых глаз.

И он ест и пьет.

И вдруг говорит:

— Даю тебе слово, если они казнят Фрица Янке, я застрелю Кауфмана на месте!

— Забудь хоть на сегодня товарищей.

— Забыть? Забыть товарищей, которых я должен был там оставить? Ну, знаешь ли, у меня нехватает слов...

— Я не то думала, Вальтер.

— Ты не то думала? А что ты думала?



— Прежде всего успокойся! Потом расскажешь, теперь не надо.

— Жаль, Ильза, что ты его не знаешь,—чудесный человек! Тонкое бледное лицо с большими мягкими глазами. Тревога, страх перед самым ужасным убивали его уже сотни, тысячи раз. Но если они его казнят, тогда... тогда... я не знаю. Тогда что-то должно случиться. Тогда что-то неминуемо случится!

— Ну, ну, Вальтер, выпей немножко чаю.

— Я не хочу.

— Ты не ешь ничего,—говорит ему жена не то с болью, не то с упреком.

— Не могу я есть.

Ночью оба лежат в темноте с открытыми глазами. Крейбель говорит, как во сне:

— Тогда я застрелю Кауфмана!

Жена нежно гладит его пылающее лицо, уговаривает, как больного.

Так долго лежат они, молча, рядом. Он положил ей голову на грудь, а она гладит его горячий лоб.

— Я напишу Кауфману письмо... Неужели хорошо составленное письмо не подействует? Янке нельзя казнить. Надо спасти юношу...

И Крейбель снова смотрит широко открытыми глазами в потолок, как смотрел долгие недели в темной, долгие месяцы в одиночке.

— Товарищи устроили голосование. Я тогда был еще в одиночке. И только один был за истязания, все остальные — за немедленный расстрел. Это разве не изумительно? Ты должна помнить, что их почти всех истязали. Но никто не хочет мстить. Уничтожение, но не месть, разве это не изумительно, а?

Жена не понимает, о чем он говорит. Ее глаза полны слез, она гладит его волосы. И на его настойчивый вопрос отвечает:

— Да, Вальтер, ты прав.

Уже забрезжил рассвет нового дня, когда Крейбель наконец уснул. Но и во сне он не находил покоя. Он ворочается с боку на бок, стонет, вздыхает, бормочет что-то бессвязно и тихо всхлипывает, как будто его мучает какая-то боль.

Жена лежит рядом, держит его влажные руки и покрывает лицо поцелуями, смешанными со слезами.

Первый выход Крейбеля на следующий день— в ратушу.

— Вы освобожденный Крейбель? Лично вы?— недоверчиво спрашивает чиновник.

Крейбеля охватывает ужас. Что значит этот вопрос? Что, если они его сейчас опять арестуют и пошлют обратно в Фульсбюттель? Им достаточно будет заявить: «Случилась ошибка,— не вы, а другой должен быть освобожден».

Чиновник выходит из комнаты. У Крейбеля появляется легкая дрожь. Ему кажется, что он попал в ловушку. Он не спускает глаз с двери.

Чиновник снова возвращается.

— Итак, вы действительно Крейбель собственной персоной?

— Да.

— У вас, по крайней мере, есть мужество. Обыкновенно посылают жен или родственников. Вот вам свидетельство об освобождении.

Крейбель с облегченным сердцем бежит по полутемному коридору ратуши назад, в светлые улицы.

У матери, занимающей небольшую квартирку под самой крышей, Крейбель встречает ее брата, дядю Артура.

Дядя Артур — политический флюгер. Он примыкает к партии или союзу только тогда, когда рассчитывает что-нибудь на этом выгадать. Он долгие годы был членом социал-демократической партии. Однажды ему пришлось принять участие в забастовке, хотя союз и отказался выдавать пособия. Так как заботу о стачечниках взял на себя Межрабпом, дядя Артур вступил в члены этого общества. Когда выдача пособий прекратилась, он оттуда выбыл. Узнав от соседей, что «Христианская миссия» помогает многодетным семьям, он обратился в миссию и притащил домой всякой снеди и платья. В начале 1933 года он перекрасился одним из первых и вместо черно-красно-желтого вывесил флаг со свастикой. Сыновей послал в трудовые лагеря.

Дядя Артур сердечно приветствует племянника, подсаживается к нему поближе и спрашивает:

— Ну-ка, расскажи мне, каково там в действительности в этом концентрационном лагере. Болтают многое и очень уж сгущают краски.

Крейбелю не терпится нагрубить этому человеку, но из уважения к матери он только холодно и пренебрежительно отвечает:

— Прости, пожалуйста, но об этом я могу говорить лишь с самыми близкими друзьями.

Дядя Артур больше не спрашивает, и разговор, несмотря на все старания матери, никак не клеится.

Под вечер в дверь квартиры Крейбеля раздается стук. Ильза открывает. Перед ней стоит молодой человек и протягивает ей пакет.

— Велено передать! — и тотчас же сбегает вниз по лестнице.

В комнате они разворачивают пакет. В нем масло, колбаса, сыр, стакан меда, пакетик кофе и бутылка токайского. Крейбель находит маленькую записочку, в которой каракулями написано: «Мы все очень рады! Кушай на здоровье!»

Привет от товарищей. Как скоро они узнали, что он на свободе! Он предпочел бы, чтобы они не напоминали о себе. «Я ведь вышел из строя. У меня отпуск. Длительный отпуск».

— Как это мило с их стороны. Не правда ли?

В этот вечер и в эту ночь Крейбель уже спокойнее; он начинает привыкать к новой жизни.

Дни текут. Крейбель гуляет по городу, ходит в читальню для безработных, часами бродит по гавани и страшно скучает. Он часто встречается старых знакомых, товарищей. Узнав его, они обычно отворачиваются, не здороваются и проходят мимо. Крейбель никогда не знает, почему: стыдятся ли они его, потому что стали ренегатами, или же делают это из предосторожности, так как работают в подпольи.

В первое же воскресенье, рано утром, он выходит из дому, ведя за руку мальчика.

— Куда вы думаете? — Ильза провожает их до самого подъезда.

— Мы поедем на Эльбское шоссе.

— Возвращайтесь во-время к обеду.

Крейбель покупает билеты до Фульсбюттеля. Два раза он на большом расстоянии обходит вокруг мрачное здание тюрьмы. Кажется, что

за высокой красной стеной жизнь совсем вымерла. Но он знает, что творится за этими холодными камнями. Сколько тихих воскресений просидел он, скорчившись, в углу, на асфальтовом полу... Тогда казалось непонятным, что жизнь спокойно идет своим чередом, что солнце светит, что на свете есть женщины, что люди могут радоваться. Теперь он снова вернулся к жизни. Теперь другие похоронены в этих темных норах: Другие в отчаянии бегают целыми днями по одиночке. Семь маленьких шажков от окна до двери и столько же обратно.

Никогда больше не попасть туда! Умереть, если это нужно, но никогда не оказаться снова в этих медленно убивающих, душных камерах-могилах.

Крейбель берет мальчика на руки и бежит, как будто бы за ним погоня.

Ильза из кожи лезет вон: на ничтожные гроши пособия старается украсить квартиру. Покупает краску и красит кухонную мебель, окна и двери. Стащила у домовладельца немного воска и натирает пол. Ей хочется создать мужу возможно больший уют.

Крейбель сидит за своим длинным столом и читает. Перед ним целая пачка газет. Он хочет узнать все, что произошло за время его ареста.

Он читает об убийстве Иона Шеера и трех других членов ЦК. Тогда эту новость принес в камеру один уголовник, но никто ему не поверил. А Натан Вельзен даже упрямо настаивал на том, что Ион Шеер вовсе не был арестован.

Сколько товарищей погибло! Только в одном Гамбурге! Обезглавлены. Повешены. Расстре-

ляны. Засечены до смерти. Фриц Янке еще жив, но они хотят и его убить. Кто знает, сколько еще их, тех, кого ждет эта участь?

Они бродят сейчас у двери общей камеры. Возможно, говорят о нем. Они не могут, конечно, сказать о нем ничего плохого.

В одиночке они смотрят через оконные решетки на небо.

В воздухе уже чувствуется весна. Погода становится мягче. Кожа ощущает легкое покалывание.

А в подвале? В темной? Они сидят там среди постоянной ночи и мечтают о свете, о жизни, о людях, о женщинах.

Спокойнее ли теперь по ночам? Продолжаются ли избиения в подвале?..

Крейбель думает о мучительных пытках и ужасах, перенесенных большим, сильным Ширманом. Они страшно истязали его, но ничего не добились. Тогда его стащили в подвал. В ванной комнате лежал труп товарища, повесившегося несколько часов тому назад. Они связали с ним Ширмана лицом к лицу.

Через час Ширман выдал двоих.

Крейбель вспоминает рассказы комсомольца Вальтера Кернинга. С тремя другими комсомольцами среди ночи, под конвоем охранников в стальных шлемах и с винтовками вывели его на тюремный двор. Была светлая, лунная ночь. Сияли звезды. Охранники и четверо заключенных проковыляли через глинистый, топкий двор и остановились у полуразрушенной внутренней стены. Начальник взвода Тейч вышел вперед и прочел по списку имена четырех заключенных. Потом спросил, нет ли у них предсмертных желаний. Когда все четверо ответили, что нет, на

них направили ружья. В этот момент Кернинг закричал: «Да здравствует коммунизм!»

Их не расстреляли, но снова отвели в камеры, а Кернинга стащили в подвал и били до утра.

Кого они сейчас мучают?

Кто теперь в отчаянии тянется к веревке?

Кто лежит на койке с перебитыми членами и стонет?..

Крейбель отбрасывает газеты. Он не может ни о чем читать без того, чтобы из бездонной глубины не поднимались ужасные воспоминания.

Проходит неделя за неделей. Крейбель ходит отмечаться, получает в установленные дни пособие, а все прочее время болтается по улицам, заглядывает в библиотеки, посещает музеи и художественные галереи. Бессистемно, по желанию и настроению, без всякой определенной цели.

Все больше и больше теряют над ним власть воспоминания о недавнем прошлом. Они бледнеют и тускнеют. Уже не стоят перед глазами лица товарищей. Уже не звучат в ушах их голоса. Собственное заключение кажется ему ужасным сном.

Ему начинает доставлять удовольствие ходить с женой за покупками. С деньгами туго. Нужно уметь купить как можно выгоднее. Женщины бранятся. Торговцы жалуются. Крейбель прислушивается ко всему молча.

Вечером он сидит в своей маленькой комнатке над газетами, стараясь читать между строк; включает радио, если передают музыку, или читает взятые из библиотеки книги.

Ильза сидит рядом, чинит платье или просматривает «Журнал для хозяйки», который в некоторых магазинах раздается клиентам бесплатно.

И все же Крейбель чувствует себя нехорошо.

Ему часто кажется, будто его кто-то тормошит. Грязет; кажется, что знакомые голоса говорят ему что-то, указывают на него пальцами. Тогда на него нападает какой-то ужас. Во рту появляется противный вкус.

Как-то вечером Крейбель мечется по улицам Бармбека. В голове сверлит одна и та же мысль «Не хочу! Не пойду! Пусть оставят меня в покое!»

Его только что остановил на Гамбургерштрассе партийный уполномоченный Адольф Расмус и шепотом сказал:

— Будь завтра в одиннадцать часов утра в бане на Дитрихштрассе. В бассейне для плаванья.

Это — партия. Снова хотят его запрячь. Все начнется сызнова.

Но Крейбель не хочет. Нет, нет и еще раз нет! «Я туда не пойду. Кто меня может заставить?» Пусть видят, что на первых порах не приходится на него рассчитывать. Он уж давно ожидал этого. Пусть говорят, что хотят. Пусть сначала испытуют на собственной шкуре... «Я туда не пойду. Надо было сразу так и сказать Расмусу».

В этот вечер Крейбель вернулся домой поздно. Жена не спрашивает, где он был, а молча ставит обратно уже убранный со стола ужин. Во время еды она поглядывает на него. Он старается избежать ее взгляда. Она хорошо знает своего мужа и чувствует, что он скрывает что-то серьезное.

— Случилось с тобой сегодня что-нибудь?

Крейбель сначала промолчал. Потом взглянул на озабоченное лицо жены и снова опустил глаза в тарелку.



— Что же со мной могло случиться? Откуда ты это взяла?

Жена видит, как муж торопливо ест, как он опускает глаза, чтобы они его не выдали.

— Тебя снова зовут товарищи?

Крейбель удивленно поднимает голову:

— Ты что, не в себе? Они должны оставить меня в покое, хотя бы ради собственной безопасности. Ведь за мной потащится целая свора шпииков.

Как будто не понимая его, она тихо говорит:

— Не давай себя снова втянуть.

На следующее утро Крейбель идет в бассейн на Бармбекштрассе. Несколько безработных и кучка школьников со своим учителем барахтаются в воде.

Крейбель намыливается, берет душ и уже хочет войти в бассейн, как с ним кто-то здоровается.

— Здравствуй, Вальтер! Ты меня не узнаешь?

— Ах, Отто! Здорово, брат, я тебя в самом деле не узнал в костюме Адама.

Они пожимают друг другу руки.

— Я как раз в воду.

— Подожди минутку, мне надо сказать тебе пару слов.

Крейбель поражен. Неужели Отто Регерс уполномочен говорить с ним? Когда они виделись в последний раз, тот еще был социал-демократом.

Они стоят под душем. Вокруг шумят школьники. Отто Регерс говорит шопотом:

— Мне поручено установить с тобой связь. Сначала не хотели посылать меня, но когда я рассказал, что мы знаем друг друга по Союзу рабочей молодежи, они согласились.

— Ты, значит, теперь с нами?

— Да, конечно. Почти год. Сейчас же после прошлогодних майских событий. Ну, так слушай!

Регерс еще ближе подвигается к Крейбелю, но держит руки высоко, как будто старается направить струю горячей воды на спину.

— У нас хотят знать, сколько еще времени ты намерен не возвращаться к работе. Партия нуждается в людях. Есть какие-то виды на тебя.

Крейбель ни в каком случае не может заявить этому бывшему социал-демократу, что он еще надолго намерен воздержаться от партийной работы. Он чувствует легкое замешательство и уклончиво отвечает:

— Я должен раньше узнать, для какой работы меня наметили.

— Этого я сам не знаю. Значит, в принципе ты согласен?

— Само собой разумеется!

— Конечно, Вальтер, от тебя другого и не ожидали. А все же приходится иногда переживать сюрпризы. Есть люди, которые считались раньше крепкими членами партии, а сейчас самым категорическим образом от нее отмежевываются.

Крейбель удивлен. Отто Регерс говорит так, как будто он уже добрый десяток лет в партии. При этом у него развязность и апломб, каких Крейбелю ввек не приобрести. За год его ареста, повидимому, кое-что изменилось.

— Видишь,— снова шепчет Регерс,— наконец-то и я нашел правильный путь! Ты, наверно, думаешь, что для этого понадобилось чертовски много времени, да?

Крейбель, смеясь, трясет головой.

— Я перешел со всей группой. Один-един-

ственный только не присоединился. И тот тоже не из-за политических разногласий, а просто-напросто от страха. Мы очень хорошо работаем. Я принес тебе кое-что, чтобы ты видел, что делается. Эти вещи у нас прямо нарасхват.

В последующий вечер Крейбель бежит до поздней ночи по пустынным, тихим улицам. Ему не сидится дома. Радио его раздражает. Он недостаточно спокоен, чтобы читать, и это сиденье в комнате становится ему невмоготу.

Апрельские ночи светлы и прохладны. Он часами просиживает на скамьях и, как часто делал это в одиночке, мечтает, глядя на мерцающие в небе звезды. Но, даже размышляя над числами и сопоставлениями, когда-то вычитанными у Бюргеля, и стараясь ясно представить себе загадочную неизмеримость мироздания, он не может справиться со своими мыслями и чувствами. Ему хочется, сидя на одинокой скамье, восхищаться сиянием вечерних звезд, а мысли упорно возвращаются к Торстену.

Торстен... Он, вероятно, до сих пор еще сидит в четырех стенах голой камеры. По-прежнему ободряет своих соседей и советует: «Обтирайся утром и вечером холодной водой! Делай гимнастику! Первая обязанность коммуниста в заключении — здоровье, стальные нервы...» Да! Торстен... Но не все коммунисты похожи на Гейнриха Торстена. Не все носят в своем сердце такую любовь к партии. Не все обладают такой непоколебимой уверенностью в победе рабочего класса. Не все так тверды, так самоотверженны. Что бы сказал Торстен о нем? Фашисты сломили Крейбеля. Они добились от Крейбеля, чего хо-

тели. Они запугали его, нагнали на него страху.

Но Торстен сказал бы тоже: «Вы, товарищи, живущие на свободе, не знающие темного карцера, не знающие одиночного заключения, не осуждайте Крейбеля с такой легкостью и поспешностью. Не у каждого коммуниста твердокаменная воля».

Он сказал бы им: «Не все, проявившие слабость, стали нашими врагами».

Торстен умен. Это человек, умеющий глубоко смотреть на вещи. Он не будет делать поспешных выводов. Он поймет его, поймет его состояние. Что одобрит ли он его?

Нет! Конечно, нет! Для этого он слишком требователен и к себе и к другим. Для этого он слишком активен как революционер. Он никогда не одобрит такое поведение.

В подобные вечера Крейбель возвращается домой разбитый, подавленный, в разладе с самим собой.

Ильза замечает, что муж снова постепенно от нее ускользает. Беспокойство, охватившее его, передается и ей. Она догадывается что его снова влечет к партии. И она борется за своего мужа, борется за сохранение своей маленькой семьи, старается оградить ее от новых забот и несчастий.

Как-то Крейбель снова поздно пришел домой мрачный. Раздевшись, он, не говоря ни слова, лег рядом с женой. Она обняла его голову руками и, покрывая ее слезами и поцелуями, стала упрашивать, умолять его не подвергать себя и свою семью новой опасности, не связываться

снова с товарищами, всегда помнить о том, что он пережил.

— Если ты снова туда попадешь, я не выдержу... Я лишу жизни... и себя и ребенка! Во второй раз тебе оттуда не выбраться.

Крейбель обнимает дрожащую, плачущую жену. Он ничего не говорит, откидывает ей волосы с мокрого лица и прижимает к себе.

— Почему ты скрываешь от меня свою тревогу?

— Тебе нечего бояться, Ильза, я останусь в стороне. Я уже раз обжегся.— В этот момент Крейбель действительно верит тому, что говорит.— Зачем ты себя мучаешь? Зачем создаешь напрасные заботы?

— Ты... ты стал такой странный. Всегда угрюмый, не разговариваешь. Приходишь поздно ночью домой. Ты думаешь, что я не замечаю, как ты изменился?

— Это верно! Я слишком много думаю о товарищах.

— Подумай хоть раз о себе. Один раз! И точку — о нас. Так ведь нельзя жить!

Крейбель бредет по берегу Остербек-канала. Навстречу идет человек, фигура и походка которого ему кажутся знакомыми. Человек смотрит на него удивленно, затем направляется к нему быстрыми шагами.

— Здорово, товарищ Крейбель! — протягивает он руку.— Я все надеялся встретиться с тобой. Я уже давно знаю, что ты на воле, но— сам понимаешь — не хотел к тебе заходить.

Теперь Крейбель узнает его и от изумления не может вымолвить ни слова. Это Боллерт, из союза металлистов. Такое восторженное при-

ветствие?.. Еще два года тому назад на каком-то собрании он поносил Крейбеля, называл его «безответственным подстрекателем».

Боллерт — рабочий, крепкий, среднего роста — идет рядом с Крейбелем и шопотом сообщает новости.

— Ты слыхал о листовках у Кальмана?

Крейбель отрицательно качает головой.

— Нет? Потрясающая вещь! Замечательно проделано. Наши товарищи здорово на-чеку, доложу я тебе!

Крейбель молчит.

— И все из-за анекдота. Там у Кальмана работает упаковщик Карл Эндруш, я его хорошо знаю. Он был раньше членом социал-демократической партии. После гитлеровской истории он воды не замутит. И вот он как-то сбстрил насчет Рема. Ты понимаешь, конечно, в каком духе. Об этом стало известно национал-социалистской заводской ячейке, и человека уволили за оскорбление члена правительства. Это произошло вчера. А сегодня утром — обрати внимание! — сегодня же все рабочие предприятия получили маленький листочек с подписью RGO. Ни одна душа не знает, каким путем эти листки попали на завод. В листовках спрашивается, стоит ли из-за такого гнусного развратника, как Рем, лишать куска хлеба старого рабочего. проработавшего на предприятии одиннадцать лет? Листовка-призывает коллектив добиваться всеми мерами возвращения уволенного на работу. Ну, я тебе доложу, подействовало, как взрыв. В особенности скандалили женщины-работницы. Сегодня после работы было общее собрание. Коллектив рабочих требует возвращения уволенного на работу. Наци вне себя.

— Значит, на предприятии работают еще товарищи из RGO?

— Еще бы! И отлично работают. Листовки вышли на следующий же день. Весь Бармбек говорит об этом.

— А как ты вообще расцениваешь работу коммунистов в Бармбеке?

— Прошлой осенью, как тебе известно, партии пришлось скверно. После этого на несколько недель работа совсем стала. Но с тех пор партия оправилась. Наши товарищи хорошо работают. Активно, насколько мне известно работает небольшой круг лиц, но это отборная, крепко спаянная группа.

На Гольдбекплац Боллерт прощается. Крейбель один идет домой по Бахштрассе.

Крейбель медленно бредет по улицам Бармбека. Он несколько раз останавливается у витрин, чтобы проверить, не наблюдают ли за ним. К восьми часам он сворачивает в Гейтманштрассе.

Пока он входит в подъезд дома № 63, его неотступно преследует мысль, что если здесь соборание и их накроют, то ему не миновать снова попасть в Фульсбюттель.

На медной дощечке надпись: «Фриц Кречмер». Он стучит у двери. Сгорбленная старуха открывает, не снимая цепочки.

— Вы хотите говорить с моим сыном? Сейчас минутку!

Она захлопывает дверь, но через некоторое время снова открывает.

— Входите, пожалуйста!

В маленькой комнате сидят три человека.

То прежней партийной работе Крейбель знает только одного из них.

Тот подходит к нему, здоровается и говорит:

— Хорошо, что ты во-время пришел. Мы постараемся изложить дело покороче. Садись. Итак, это — товарищ Вальтер, а это — товарищ Гуго и товарищ Вильгельм.

Крейбель здоровается. Он удивляется их бесцеремонности и спрашивает:

— Неужели вы не боитесь, что я могу прихватить за собой шпиика?

Один из них смеется и берет его за руку:

— Если бы это было так, мы бы об этом узнали еще до твоего прихода. Все в порядке.

— Я не понимаю, как вы могли бы об этом раньше узнать?

— Товарищ Крейбель, мы тоже следим за тобой.

Во время этой встречи Крейбель узнает, что его намечают во Франкфурт в качестве редактора.

У него перехватывает дыхание, но внешне он спокоен и сдержан.

— Само собой разумеется, что ты не можешь больше работать в Гамбурге. Это было бы чистейшим самоубийством. Да и во Франкфурте первое время ты ничего не будешь делать. Должен сначала привыкнуть к нелегальному положению. Но мы думаем, что это у тебя не займет особенно много времени. Документы, билет, адреса — все это ты получишь позже.

— А... а моя жена?

— Твоя жена? Она, конечно, останется здесь.

Крейбель краснеет. Он даже не знает, почему. Что это на него так странно смотрят? Ведь...



в конце концов, у него может же быть жена. судьба которой ему не безразлична.

— Да ведь у нас у всех есть жены. Как тебе лучше и удобнее ее обеспечить, об этом ты договоришься с товарищами во Франкфурте. Пока подыщешь здесь какой-нибудь нейтральный адрес и так далее. Ну, ведь это все просто и ясно...

Для Крейбеля это все далеко не так просто и ясно.

У него появляется сильное желание осадить этих равнодушных людей, сказать, что он отказывается от партийного поручения, что у него вообще нет намерения переходить на нелегальную работу. Но он колеблется и молчит.

Тогда поднимается самый старший, высокий плотный человек с грубым лицом, большой лысиной и необычайно густыми бровями. Он до сих пор не произнес ни слова. Теперь он спокойно обращается к Крейбелю:

— Товарищ, ты еще не совсем пришел в себя. Мы не хотим спешить. Обдумай все еще раз хорошенько и через неделю скажешь свое решение. И тогда, если будешь согласен, можешь сразу получить документы и билет. Это тебя лучше устроит, правда?

— Да, спасибо... Я еще подумаю.

Крейбель снова краснеет.

— Слыхал ли ты в лагере о некоем товарище Торстене?

— Слыхал ли я о нем? В подвале мы сидели в соседних камерах. Я бы очень хотел узнать, где он сейчас?

— Торстен сейчас в доме предварительного заключения. Через несколько недель начнется его процесс.

— Он в предварилке?— радостно вскрикивает Крейбель.— Вот это хорошо! Торстен — замечательный товарищ!

— В партии много Торстенов.

Крейбель лежит на диване и читает речь Геринга в «Анцейгере». Ильза сидит у него в ногах и выводит пятна на выходном костюме мальчика.

Вдруг Крейбель откладывает газету в сторону и спрашивает:

— Так ты бы наложила на себя руки, если бы я снова взялся за политическую работу?

— Нет, я бы этого не сделала.

— Нет? Ведь ты еще недавно говорила.

— Теперь я думаю иначе.

— Та-ак?— Крейбель изумлен, даже несколько разочарован.— Что же изменило твое мнение?

Не поднимая головы от своей работы, она отвечает:

— Жены других товарищей.

— Других товарищей? Каких других товарищей?

— Тех, которые еще долго будут сидеть, и тех, которые убиты.

— Во всяком случае благоразумная точка зрения.

Крейбель читает. Ильза занята своей работой. К этому разговору они больше не возвращаются.

Позже, в постели, она говорит:

— Поступай, как считаешь правильным. Не нужно поддаваться влиянию семьи. Только хорошо обдумай свой шаг.

Крейбель ничего не отвечает и бурно прижимает ее к себе.

Тогда она перестает владеть собой и плачет безудержно, как ребенок.

Вальтера Крейбеля не узнать: он счастлив, весел, жизнерадостность бьет из него ключом. Словно тяжесть с плеч свалилась, и он снова может расправить крылья. Он носится по комнате с сыном, шутит с женой, дурачится.

Его радостное настроение портит маленькая заметка. Газета сообщает: Фриц Янке приговорен к смертной казни.

Значит, все-таки...

Он видит перед собой узкое лицо с впалыми щеками. В глазах последний привет, последнее «прости». Они приговорили его к смерти. Ведь тогда они его почти убили, но снова вылечили. Месяцы держали в одиночном заключении. Ночь за ночью избивали и мучили, а теперь хотят трубить голову.

Крейбеля начинает мутить, он бледнеет, не спит, не ест.

Поздно вечером он очутился перед зданием дома предварительного заключения, крадучись, идет вдоль кладбища, прячется между могилами и смотрит на жутко-спокойный темный каменный колосс. Весь горит и дрожит, как в лихорадке. Вспоминает слух, ходивший по лагерю, что Фолька, первого казненного в Гамбурге коммуниста, обезглавили над ванной во дворе дома предварительного заключения.

По ту сторону стены, как тень, движется часовая.

Вокруг ночная тишина. Только с Гольстен-

злаца доносится шум трамваев. У тюрьмы, как жандарм-великан, стоит маленькая приземистая церковь «Божьей милости».

И вдруг он почувствовал твердую уверенность. Приговор не будет приведен в исполнение.

Прежде чем лечь в постель, он шепчет жеме — Они не приведут приговор в исполнение..

Посреди небольшого двора, обнесенного высокими стенами, Крейбель видит ослепительно белую ванну. Вокруг ванны стоят темные фигуры в черных цилиндрах и белых перчатках.

Одна из них выходит вперед, сухо кланяется и глухим, замогильным голосом заявляет:

— Мы, к сожалению, не были подготовлены и должны прибегнуть к помощи ванны.

Медленно приближается колонна штурмовиков. Перед ними шагает человек во фраке с белой повязкой и в белых перчатках. В правой руке он держит продолговатый ящик.

Штурмовики выстраиваются в два ряда по бокам ванны. Их начальник в черном склоняется перед темными фигурами и делает знак рукой в белой перчатке.

Одновременно подходит изможденный человек в сером балахоне. Над плечами длинная худая шея. Руки связаны за спиной. Склонив голову, становится он подле ванны.

Человек во фраке открывает свой ящик и вынимает широкий блестящий топор.

Из строя выходит штурмовик и заставляет стоящего у ванны человека опуститься на колени.

Блестящий топор на мгновение взлетает над белой ванной и со свистом опускается. Голова

падает, из шеи бьет широкая струя светлой крови.

Человек во фраке аккуратно вытирает с топора кровь и укладывает его в ящик.

В это время два штурмовика поднимают обезглавленный труп и опускают в ванну. Голову они кладут на грудь казненного.

Только сейчас Крейбель видит его лицо: Фриц Янке...

— Ради бога, Вальтер, что с тобой?

Крейбель сидит на постели, сжимая голову руками, глаза неестественно расширены.

— Что с тобой? Кричишь во сне, машешь руками и вскакиваешь...

— Они казнили Фрица Янке!

— Глупости, это тебе приснилось!

— Неужели? Это был только сон. О, ужасный сон! Ужасный!

Крейбель снова откидывается на подушки и, как ребенок, дает жене укутать себя до подбородка одеялом. Она гладит его по лицу.

— Ильза, как ты думаешь, они его казнят?

— Нет, они не приведут приговор в исполнение.

У Крейбеля вырывается вздох облегчения.

Прошла неделя. Сегодня Крейбель должен встретиться с тройкой. Он принял решение.

Теперь он даже не понимает, как у него могли быть колебания. Партия зовет, как может он мешкать? Пролетарской революции нужен каждый человек.

И все же... В нем еще шевелится остаток ужаса. Воспоминания утратили свою остроту, поблекли, а между тем, нет-нет, да и вспыхнут ярко.

Темный карцер. Ночные избиения. Одиночка. Воскресный октябрьский день. Убитый заключенный и игра на органе. Мучительная смерть. Кольтвица.

И все же... Он принял решение. Не может быть ни колебаний, ни отступлений.

Крейбель идет по Гейтманштрассе.

По дороге он покупает вечернюю газету и читает.

Вдруг ему показалось, что рушатся дома, что с шумом несутся по воздуху деревья и фонари. Он ищет опоры, хватается за низенькую решетку на лисадника.

— Неужели это возможно?!

Он шатается и прикрывает рукой глаза.

Они все-таки привели приговор в исполнение.

Он видит залитую кровью белую ванну... Черные фигуры вокруг... Штурмовиков... Видит, как человек во фраке снимает белые, испачканные кровью перчатки...

Крейбель берет себя в руки, до боли сжимает зубы и, выпрямившись, идет твердым быстрым шагом вдоль Гейтманштрассе.

Те трое уже ждут его...

---

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . . . . .	3
Арест . . . . .	7
Допрос . . . . .	24
«Концентрационный лагерь» . . . .	64
Освобождение . . . . .	297
Решение . . . . .	304

---

Редактор *А. Савельева*

Подписано в печать 20/XI 1941 г.  
А-65033. Формат 70 × 92<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. 10,5 п. л.  
13,3 уч.-авт. л, Тираж 30 тыс. экз  
Цена 4 руб. Зак. № 8303

Свердловск, газетно-журнальная  
типография изд-ва «Уральский  
рабочий», ул. Ленина, 47